

ПЕРЕСЕ- ЧЕНИЕ

Все, о чем рассказано в этой книге, случилось в действительности. События, которые легли в основу романа, конечно, происходили в других местах, с другими людьми и, конечно, в иное время.

Сегодня политический климат на нашей планете стал теплее. Но и сейчас еще дуют на ней холодные ветры. Бывают люди, которые не всегда могут выбрать хоть и трудный, но правильный жизненный путь. Бывают такие, кто становится на этот путь сразу. Иногда их пути пересекаются. Что же происходит тогда?

Вот об этом роман.



АЛЕКСАНДР
КУЛЕШОВ

ПЕРЕСЕ- ЧЕНИЕ

Роман



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1989

Глава I

СИЛУЭТЫ ДЕТСТВА

Я прихожу в себя. Выплываю из белого тумана. Как-то неясные тени едва проступают сквозь него. Они то гуще, то бледней. Туман становится плотней, строже формами. Теперь ясно, что это белые стены, белый потолок, белая с матовым стеклом дверь, молочным стеклом.

Туман снова стирает геометрические формы, надвигается, опутывает своими белоснежными чистыми клубами. И тогда четко и уверенно возникает прямо передо мной собачья морда.

Это Борец, умнейшая и красивейшая на свете овчарка. Уши торчком, язык розовеет, дыхание прерывистое, а в глазах, мудрых собачьих глазах, такая печаль... Они прощаются со мной, я понимаю.

Но как я это вижу? Мои-то глаза закрыты. И весь тот белый туман, и печальная морда Борца, и на миг возникшие стены — откуда все это? Ведь я лежу с закрытыми глазами. И кругом тишина.

Где я? И зачем? На мгновение какая-то мысль, словно бритвой, обжигает мозг — операция! Ну да, через час (или два, три, четыре?..) операция. Но мысль исчезает так же мгновенно, как возникла. Я снова погружаюсь в невидимый расслабляющий белый туман. Далеко-далеко слышен гул тишины. Вновь набегают, мелькают, кувыркаются неясные тени.

И наползает прошлое. Давнее. Почти забытое, а сейчас пронзительно реальное. То, что было год, десять лет, двадцать лет назад. А может быть, двести...

...Я иду с отцом. Иду гордый. Ревниво слежу, смотрят ли прохожие на его погоны. Он только что получил вторую звезду — подполковничью, мне двенадцать лет, но я хорошо разбираюсь в военной иерархии. Ведь и я буду военным, и обязательно пограничником, как отец, как дед...

Я иду с отцом и с Акбаром. Это наша молодая овчарка. Акбар — кличка не очень-то оригинальная, тогда была она в моде, но звучная. Овчарки красивые собаки, а Акбар самая красивая и самая умная. Это уже третья на моей памяти в нашей семье, и, удивительно, все они были самыми красивыми и самыми умными. Мы оставляли овчарок на заставах и в отрядах, а сколько застав и отрядов сменили за мою двенадцатилетнюю жизнь — не сосчитать. Я же менял детские сады и школы, учителей и товарищей, менялись го-

рода, поселки, заставы, были жаркие степи, снежные горы, хвойные леса.

Меня это не беспокоило. Мама и папа были рядом, а товарищей я находил быстро. И дел хватало — там охотились за ящерицами, а тут за ежами, где-то заводили голубей, а где-то черепаху. Играли в футбол, плавали, удили, бегали на коньках, на лошадях и то ездили. Чему только не научился я под разными небесами одной страны. Моей.

— Учись, учись, сынок, — говорил отец, — военному человеку нужно все уметь. А уж пограничнику сам бог велел.

Вот я и учился. Порой расшибая нос, царапая колени, паживая синяки и шишки. Научился многому, отучился от одного — плакать. Эдакий маленький вояка.

Иду с отцом и Акбаром. На нас смотрят. Больше на Акбара. Это было, когда отец работал в управлении и мы надолго осели в Москве. Жили у деда. Он уже тогда был в отставке. И, много поколесив по границам, отвоевав войну, вернулся в столицу. Он «коренной москвич». Дед любит так себя называть, хотя наверняка на Москву пришлось меньшая половина его жизни. Так можно сказать — меньшая половина? Ведь половины должны быть одинаковыми. Но это в математике, в жизни по-другому. Дед говорит, что первая половина жизни у человека огромная, а вторая малюсенькая.

— Сколько бы ни длилась? — спрашиваю.

— Сколько бы ни длилась, — отвечает, — просто бывает, что у человека только первая половина жизни и есть, а то и четверть. Когда война, например, — вздыхает. — Мне вот повезло — вторую доживаю, а сколько моих товарищей и первую не прожили...

У деда была большая квартира, а жил одиноко, бабушка еще до моего рождения умерла. Так что нам всем хватило места, у меня — своя комната.

— Будущему генералу, — говорил дед, — нужен оперативный простор. Мы потеснимся, а ему — отдельную.

Тесниться не приходилось, говорю же — здоровенная квартира.

Мы идем с отцом и Акбаром по Кропоткинской улице. Здесь, в одном из переулков, в высоком сером доме мы жили. И по воскресеньям со мной гулял отец. Когда бывал свободен. Но это случалось редко. Зато тогда мы уж так загуливались, что мама была готова нас убить. Так она говорила, когда мы возвращались, — у нее что-то пережаривалось, перегревалось, переохлаждалось... Но мы набрасывались на еду, как «троглодиты» (это уже выражение отца), и мгновенно все съедали (Акбар у своей мисочки и то за нами не поспевал). Дед хвалил:

— Правильно, солдату некогда за столом расслаиваться.

С отцом мы гуляли, как говорил дед, без ориентира. Про-

сто ходили по улицам, иногда задерживались в сквериках, чтобы дать порезвиться Акбару. Тогда еще повсюду в городе не висели дощечки: «Выгул собак запрещен. Штраф».

В остальные воскресенья, когда отец был занят, мы гуляли с дедом, да и в будни тоже. Тут уж ничего нельзя было поделать — здесь свои законы диктовал Акбар.

Мне казалось, что я больше любил гулять с отцом, чем с дедом. Но с дедом было интересней. Это потом я понял, что просто больше всех на свете люблю отца, и потому так радовался редким, в общем-то, нашим прогулкам. Потому что эти часы принадлежали только нам трем — отцу, мне и Акбару, но Акбар в наши беседы не вмешивался. Беседы эти напоминали вечер вопросов и ответов. Правда, чем старше я становился, тем меньше задавал вопросов. Но когда учился в четвертом, пятом, шестом, спрашивал без конца и обо всем. Меня интересовало, сколько будет весить Акбар, когда вырастет, и как дрессируют пограничных собак, и почему фуражки у пограничников зеленые, отчего застава называется заставой, и чему учат в пограничном училище... Но я спрашивал и о другом — какие мировые рекорды в стрельбе, какой пистолет «самый меткий», чем мне лучше заняться — бегом, боксом, борьбой самбо? Потом-то я уже не спрашивал — мне было тринадцать лет, когда я начал заниматься самбо, и с этого момента другие виды спорта для меня не существовали. (До самой армии, когда я понял, что одного самбо для пограничника маловато, даже если он кандидат в мастера.)

Об одном только я отца не спрашивал — о городе, в котором жил. Это был заповедник деда. Вот уж кто знал Москву! И не то, что вычитывал я в учебниках истории, а свое — «москвичовское», как он говорил. Какую же интересную страну открывал мне дед во время наших прогулок!

Он водил меня по улицам и переулкам, где прошло его детство, где он гулял, учился, дрался с мальчишками, ходил «на протырку» в кино. Вот уж беседы с дедом неизменно превращались в монологи. Я и сейчас в этом белом тумане вижу деда таким, как тогда, десять-пятнадцать лет назад: высокий, худой, серебристо-седой, в хорошо сшитом костюме с орденскими планками (у него было восемь орденов и шестнадцать медалей — я их знал наизусть). Мне-то дед казался очень старым, но все говорили, что ему никак не дашь его тогдашних, шестидесяти—шестидесяти пяти лет.

Только вот хромал дед. И опирался на палку. У него было одно тяжелое и три легких ранения. Я знал это по одной золотой и трем красным полоскам, которые он упрямо носил на лацкане пиджака. Когда отец, или мама, или еще

кто-нибудь говорили, что уже никто их теперь не носит, дед сердился:

— Ну и пусть не носят! Мне стыдиться нечего. Я свою кровь не в кулачной драке проливал. И инвалид — не потому, что с пьяных глаз под трамвай попал. А какой я инвалид — пусть проверят молодые.

И действительно, дед был жутко сильный. У самых здоровых парней во дворе руку к столу припечатывал. Если ехали куда — не дай бог ему предложить чемодан поднести, он самый тяжелый, словно пушинку, поднимал. Идет, ковыляет со своей палкой и хоть бы что — любая тяжесть ему нипочем.

— Мы же пограничники! — смеется довольный. — Нам на плечах сорок тыщ километров границы держать! Попробуй одолей!

...Мы шагаем с дедом и Акбаром. Мне четырнадцать лет. Я знаю мой кусочек Москвы теперь не хуже деда. Здесь все — достопримечательности. Когда выходишь из нашего дома — а в нем жил знаменитый актер Вахтангов, — перейдя дорогу, упираешься в дом, где жил Луначарский, а чуть левей очень красивый дом, не дом — дворец, Итальянское посольство, а за углом — улица Щукина, там дом, где живут артисты Вахтанговского театра, и на нем тоже мемориальные доски — Щукина, Симонова, Веснина... Район великих людей. Может, когда-нибудь и на нашем доме будет мемориальная доска: «Здесь жил маршал Жуков», не Георгий Константинович, а Андрей Андреевич, то есть я. Кто знает... Между прочим, Андреем Андреевичем зовут и моего отца и деда тоже. Такая вот в нашей семье традиция: всех первых сыновей называть Андреями. Так что мы три Андрея Андреевича. Братьев ни у меня, ни у отца нет. А глубже в династию я не заглядывал, кто был прадед — не знаю. Хоть и династия, но все-таки не графы или князья.

Великих людей по соседству жило немало. Ведь рядом Арбат, не тот, новый, с высоченными домами, а старый, но обновленный. Теперь дед ворчит:

— Мало им одного Вахтанговского театра, всю улицу в театральные декорации превратили, так и чудится — пальцем ткнешь в какой-нибудь фасад и проткнешь насквозь, папье-маше. Ну а фонари эти — колясок только да кринолинов не хватает.

Дед вспоминает «настоящий старый Арбат», когда по нему трамваи ходили, когда кино «Арс» и «Карнавал» работали, еще чего-то.

Теперь здесь сооружают Пушкинскую тропу.

А в переулках чего только нет — и разные посольства, и Московская пожарная часть, и дом патриарха всяя Руси, и Дом ученых, и разные старинные особнячки, сохранив-

шиеся небось еще со времен наполеоновского нашествия, и тихие дворики и маленькие скверики.

Если из нашего дома выйти налево, то, пройдя два квартала, выходишь на Кропоткинскую улицу. Тоже знаменитую, уж не помню чем. С нее попадаешь на Зубовскую площадь. Правда, теперь она называется площадью Шолохова, но об этом не знает ни один человек, даже почтальонша.

— Надо же, — сердится дед, — такой писатель, такая голова! А вот у наших отцов города голова пустая, чтоб Зубовскую площадь в Шолоховскую переименовать! Ну кто ж из москвичей это примет? Мало у нас новых проспектов, площадей, улиц, чтобы им названия давать!

Показал мне дед один примечательный дом на Садовом кольце, на нем тоже мемориальная доска, памяти генерала Карбышева. Постояли мы возле.

— Да, великий был человек, — вздыхает дед, — с большой буквы. Помню, слушал однажды в МГУ его лекцию «Линия Зигфрид — Линия Мажино». Жил как ученый, погиб как солдат. Его подвиг не забудется.

И, помню, спросил я тогда:

— Дед, а подвиг — что это?

Глупый вопрос — словно в пятом классе не читали мы Островского, Фадеева, не слышали про Корчагина, про красноподонцев. Так вот спросил, по инерции. Но дед отвечает очень серьезно, как цитату из энциклопедии приводит.

— Видишь ли, внук (он по имени меня никогда не зовет, может, чтобы со своим сыном, а моим отцом, не путать, только внуком кличет), видишь ли, подвиг — это такое умение нести солдатскую службу, когда отметка «отлично» уже недостаточна.

— А за подвиг всегда награду дают? Орден? (Про себя думаю, вырасту, уж я подвиг совершу, а лучше несколько, вон у деда сколько наград — двадцать четыре целых, значит, двадцать четыре подвига.)

— Не всегда, — он неожиданно говорит, — не всегда, внук.

— Почему? — спрашиваю.

— Ну, как тебе сказать, почему. Иной раз и сам солдат не знает, что подвиг совершил, а иной раз начальство о том не ведает. Да всех и не наградишь — орденов не хватит. На войне каждый день каждый наш солдат совершал подвиг, то есть службу нес как положено. За что ж награждать? Он свое дело делал как положено, и все.

— А ты? Тебе за что дали?

— Ну, мало ли, сейчас и не припомню... — смущается дед. (Здорово я его поймал — пусть-ка объяснит, за что награды.)

— А помнишь, ты рассказывал...

Дед действительно много рассказывал про войну. Уж кто-кто, а он, за вычетом госпиталей, прошел ее от начала до конца.

...Тридцать один год был начальнику заставы Андрею Жукову, когда 22 июня 1941 года первый снаряд разорвался во дворе. И сразу пошли танки, с гулом куда-то в глубь страны проплыли бомбардировщики.

Пограничники отбивались. Почти день. Одни, без связи, не зная, что происходит у соседей, что впереди, что позади, что кругом. Они, конечно, понимали, что к чему, ждали чего-то, готовились. Но как могла подготовиться маленькая застава, меньше роты, к атаке многомиллионной армии? Смешно!

И все же они держались почти день. Немцам было некогда, они рвались туда, вглубь. Танки, грузовики с пехотой, артиллерия, мотоциклисты налетали, удивленно упирались в эту крохотную крепость, яростно пытались смять и, не смяв, раздраженно отбежали и уходили вперед, туда, в туманную даль, затянутую дымом пожарищ. А тут оставались какие-то части, чтобы вынуть занозу, вогнать в землю эту непонятную горстку людей, неизвестно на что надеявшуюся и уж совсем непонятно, зачем сопротивлявшуюся. Застава была прилично укреплена, Андрей Жуков был вездливый и предусмотрительный начальник, обеспечена боеприпасами. Пограничники знали свое дело, то были люди решительные, смелые, даже отчаянные, и воевали они с умом, без истерик и ненужного риска. И прекрасно знали, что их ждет. Иллюзий не строили.

Когда стемнело и в живых осталось трое, в том числе раненный начальник заставы, они сумели прокрасться в лес, миновать кольцо окружения и спрятаться в какой-то чащобе.

— Вот тогда, внук, я впервой узнал, что такое военное счастье. И что такое случай на войне, — дед помолчал.

Мы сидели с ним в сквере, есть такой напротив Военной академии имени Фрунзе. Мы частенько там гуляли, понятно с Акбаром, и я знал имена всех военачальников, что высечены на мраморных плитах на фасаде академии.

— Понимаешь, — продолжал дед, — Игорек был у меня, такой бедовый пограничник, весь день с нами отбивался, и, когда из окружения выползали, трех немцев снял, а бежали — он, как заяц, петлял. Пулемет строчит, а он бежит! И пробежал-таки, я потом смеялся: «Даешь, Игорек, — шучу, — небось между пуль бежал». И он смеется: «Да нет, товарищ командир, просто пули той не отлили, что для меня намечена». Это вообще чудо, что мы уйти сумели и в этот лес схоронились. Ну чудо! Сидим, к деревьям прислонились, отдышаться стараемся. Какие-то жучки вечерние

гудят, птицы в ветвях щелкают, щебечут, кузнечики, что ли, звенят, а от войны только далекий гул слышен. Словно мы за тысячи верст от нее. И вдруг смотрю, Игорек тихо-тихо набок клонится и в мох. Подбегаю, у него во лбу крохотная дырочка красная — пуля вошла! Вот тебе и кузнечики звенят, вот тебе и птички щелкают. Откуда эти шальные пули по лесу без толку плялись — так я тогда понять и не смог. Зато понял, что отдыхать и расслабляться на войне нельзя никогда... И все четыре года, внук, я потом не отдыхал. Все сражался. Даже в госпиталях и то сражался. С болячками, чтоб скорей снова к ребятам.

Дед рассказывал, как с товарищем прошли они к своим не одну сотню километров, как однажды встретили партизан и некоторое время вместе с ними воевали, пока не разгромили немцы их отряд, как прятались у крестьян. Многие прятали их, кормили чем могли, а один старик, угодливый и болтливый, выдал их. Неделию гнали деда с другими пленными, пока он сумел бежать — в те времена немцы за беглецами еще так упорно не гонялись, все равно всю страну захватят, тогда и подчистят, наверное, рассуждали. Но все же однажды чуть не попался. С собаками за ним шли.

— С такими же вот акбарами. — Дед на нашего кивнул. — Видишь, внук, собаки, что люди, как воспитаешь. Этот за нас с тобой жизнь отдаст и хвостом не вильнет. А те страшней волков были, я с горки видел, как они двух наших терзали в клочья. Страшней волков, да не страшней тех, кто их пауськивал. Вот те — да, те хуже любых овчарок были. Спасибо тогда ручей встретился, ушел я по нему. Уж не знаю, сколько километров отмахал. Ох, здоровый был! У тебя что последний раз по физкультуре, а? Не смотрел дневник.

— Пятерка! — хваюсь. — Дед, у меня по физкультуре всегда пятерка, ты что, не знаешь?

— Знаю, знаю, — дед доволен, — это я так, для порядка.

Вышел он к своим. Ранение у него хоть и легкое, но в лесах не залечишь, рука распухла, оружия нет, сапоги развалились. Линию фронта две ночи переползал, днем в воронке, в луже дремал. Да какая линия фронта! Одно название. Когда к своим вышел, его взяли проверять. Об этом дед рассказывать не любит.

— Самое последнее дело своим не верить. Понимаю, конечно, время такое, что бдительность десятикратная пужна, уж мне ли, пограничнику, не знать. И все же больно было, когда смотрят на тебя твои же советские и прикидывают, просто ты шпион или, может, обершпион?

Но ему тогда повезло, встретился большой смершевский начальник, а он у них начальником отряда был на границе,

деда знал хорошо. Тут же приказал вернуть форму, знаки и в строй.

— И началась для меня тогда другая война. Двинулся я на Берлин.

— Дед, — возражал я, уже знакомый, и по его в том числе рассказам (которые мог сто раз слушать), с отступлением, сдачей городов, с первыми нашими военными неудачами, — ну как на Берлин, как на Берлин? Они же на Москву наступали, чуть не взяли, а ты — на Берлин!

— Эх, внук, — дед смотрит на меня как на несмышлёныша, — мы с самого начала, от самой границы на Берлин шли. А то, что сначала маленько отошли, ну, что ж, война ведь, не все сразу делалось. Разные маневры были.

— Уж и маневры, — говорю недоверчиво, — чуть полземли не отдали, а ты говоришь — маневры.

— Ну и что, война ведь. Ты учти, внук, сражение в войне можно проиграть, важно саму войну выиграть. Это, знаешь ли, истина древняя, не я придумал. Словом, как надел я белый полушубок, погоны к тому времени подоспели, валенки тоже новые, так стал себя уверенней чувствовать — командир!

И дед продолжает свой рассказ.

Он много мне рассказал о войне. И много я о ней читал. Я даже библиотеку собрал — мемуары знаменитых полководцев, не всех, конечно, попробуй достань-ка! Но многих. И романы, повести о войне, особенно о пограничниках. А все же с рассказами деда ничего не сравнится. Словно сам там побывал. Я эти рассказы часто вспоминаю.

А по физкультуре я действительно здорово учился. Мне через «коня» летать, кувырки делать — раз плюнуть. Хуже стало, когда стал заниматься самбо. Еще бы, чемпион! Ну, пусть не сегодняшний, завтрашний, разрядник, победитель, районного первенства. Ну что мне какая-то там жалкая физкультура? Это пусть Борька Рогачев — кореш был в те годы закадычный (мы с ним всю школу за одной партой просидели) — там на брусках валяется или со скалкой прыгает, как девочки. Но, смотрю, в кроссе он меня уделал.

— Если трое нападут, — смеется, — еще посмотрим, как ты с ними со своей самбой управишься, а я, будь здоров, только мои пятки и видели.

— Во-во, — говорю, — ты же храбрец великий, ты не то что от хулиганья, ты и от девочек готов на край света драпать.

— Э, нет, — подмигивает, — от девочек не драпаю, наоборот, за ними. Ты кто? Солдафон с детских лет, оловянный солдатик, у тебя в башке, кроме нагана, следовой полосы, или как она там называется, да портянок, ничего нет,

а я, брат, интеллектуал. Ты иди со своим Акбаром гуляй, а я уж с Ленкой Царновой из восьмого «А» погуляю.

Это мы так пикируемся, такой стиль у нас, а вообще-то дружили крепко.

С Ленкой же у них великий роман, вся школа знает, даже классная руководительница Галина Крониговна. И меры принимает. Но Борьке все нипочем, учится он на пятерки, с дисциплиной все в порядке, металлолома на целый крейсер небось собрал (не удивлюсь, если он для этого целый крейсер или на худой конец соседский «Запорожец» разобрал).

Галина Крониговна его вызывает (он мне потом рассказывал) и говорит, надев очки:

— Рогачев, ты ведь дружишь с Царновой из восьмого «А». Значит, хорошо к ней относишься, уважаешь. Друзей надо уважать. Так не ставь ее в неловкое положение в глазах класса. Говорят, вы с ней вчера после уроков шли домой и... и...

— И целовались, — он врезается, — правильно, Галина Крониговна. Потому что у меня с Ленкой не дружба, а роман и...

— Рогачев, — Галина Крониговна всплескивает руками и округляет глаза, — ты думаешь, что ты говоришь?

— А что такого, Галина Крониговна, что я сделал плохого? Мы уже взрослые. Все знаем. Надо в школе преподавать сексологию, об этом в газетах пишут...

— Рогачев! Немедленно выйди из учительской! Мы еще поговорим с тобой.

— Пожалуйста, — он пожимает плечами, выходит и мчится ко мне рассказать о разговоре. Хохоchet как дурак и закуривает. (Мы спрятались в уборной.) Я-то не курю — я ведь спортсмен. И горжусь этим не меньше, чем он гордится своим курением. Между прочим, дымить не умеет, кашляет, давится, плюется. (Впрочем, к десятому классу он курительную науку освоил в совершенстве.)

Я, конечно, смех его поддерживал, заливался вовсю, но хотите честно? Внутренне был на стороне Галины Крониговны. Нет, серьезно. Ну что ты? Эта Царнова — длинноножка, косички, бантики, мамзель-финтифля. Идут, целуются у народа на виду. К чему это? Вообще, рассуждал я тогда, девочки — это нас унижает. Прямо диву даешься — какой-нибудь верзила десятиклассник тащится за девочкой, портфельчик ее несет, мешок с туфлями. Как собачонка, только что не в зубах. Апорт! Не понимаю! Нет, дружить надо на равных. Как мы с Тоськой Баклановой. Как мальчишки. На каток вместе мотались. Она ко мне на самбо болеть приходила. Уроки тоже друг у друга готовили. Но при чем тут поцелуй? Все открыто. Представляю, что бы

было, если б я вздумал ее поцеловать. У нее мышцы будь здоров (за сборную школы в волейбол играет). Она б меня небось повыше любой свечи запустила.

Вот так я тогда думал. До самого девятого класса. Пока, вспоминая эти мои мысли, однажды со смехом не рассказал ей об этом.

Посмотрела она на меня с жалостью, вздохнула и сказала:

— Ох, и дурак же ты, Жуков, сколько времени потеряли.

А потом так деловито сумочку с туфлями отставила (по улице ведь шли), обняла своими волейбольными руками — не вырвешься да так поцеловала, что я потом неделю со звоном в голове ходил.

Простой я был в школе парень, бесхитростный и наивный в таких делах до идиотизма.

Но только в таких делах. В других о-го-го соображал. Вот в самбо, например.

Я увлекся этим видом спорта по-настоящему. По причине, рассказанной в десятках повестей, очерков, популярных агиткнижонки, но, главное, действительно весьма типичной. Где-то в пятом классе при очередной школьной потасовке мне крепко попало. Еще бы — их было трое, я — один, да и старше они были класса на два. Ну и, конечно, я стал мечтать о карате, боксе, самбо, дзюдо и тому подобном, что позволило бы мне, владей я ими, побеждать всех обидчиков до десятого класса включительно.

Нашел разные книжки, попробовал заниматься самостоятельно, с другими ребятами из класса. В конце концов записался в секцию, удалось попасть в «Динамо». Ездить, правда, далеко, зато престижно.

Тренер наш, Владлен Андреев, был мастер своего дела, а я энтузиаст, упрямец и здоровяк. Так что успех пришел сразу. К восьмому классу имел первый юношеский разряд.

Любил похвастаться, на переменках демонстрировал ребятам приемы, пока не повредил кому-то руку. Попало мне здорово от всех — от отца, от деда, от тренера, от Галины Крониовны и, как ни странно, больше всего от Тоси.

Весь побитый морально пришел к ней готовить сочинение. С того дня, ну, с того поцелуя, я хоть дежурно и упрямствовал, мол, друзья мы только, но, кроме подковырок со стороны Борьки, да и других ребят, ничего не слышал. Что касается Тоси, то романтическую сторону наших отношений она полностью взяла в свои руки. А поскольку, как я уже говорил, были они у нее крепкие, деваться мне было некуда.

И вот пришел к ней тогда заниматься, а она говорит:

— Тебе не стыдно? Ну кому чего хочешь доказать? Ну, самбист, ну, разрядник, и что? Пойди в первый класс, там ты с десятью справишься. Позор.

— Так я ж нечаянно, — говорю.

— Еще б не хватало, чтоб нарочно! Силу девать некуда, иди вагоны грузи, вон ребята из десятого «Б» грузят, а на вырубку моторку хотят купить. А ты...

— Ну нечаянно я, — повторяю как попугай.

— Нечаянно, нечаянно, ты себе руку никогда нечаянно не вывихивал? Нет? А ему, значит, можно?

— И себе зашибал, было несколько раз. Но ему-то я нечаянно, понимаешь?..

— Знаешь что, Андрей, чтоб я от тебя это слово больше не слышала. Ничего не бывает нечаянно. За все надо отвечать.

Седи готовить сочинение.

Но ведь что интересно. Она чуть не слово в слово повторила слова отца.

Я когда стал оправдываться и чертово это «нечаянно» скал, он мне говорит спокойно, тихо (он никогда не кричит):

— Запомни, сынок, человек отвечает за все, что сделал, и за то, что не сделал, а должен был сделать — тоже. Это запомни, а вот слово «нечаянно» забудь.

Они что, сговорились, что ли?

А самбо — штука хитрая. В каждом спорте идет борьба силы, ловкости, быстроты и ума, конечно. Всего. Это я уже тогда понимал. Но в самбо встречается ситуация, которой нет ни в одном виде спорта: провожу болевой прием, дожимаю руку противника или ногу, а он не сдается! Не стучит ладонью по коврику. Хоть ты тресни, не стучит, и все! Что делать? Ведь еще сантиметр, и сломаю ему к черту руку. Болевой прием в самбо — это нажим против естественного сгиба локтя, например. Жму, а он не сдается. Вот тут вступают в силу особые категории: невероятная сила воли, стремление устоять, стремление победить, гуманность, умение сдерживать себя... Конечно, есть судья, он обычно и решает вопрос. Судьи — люди опытные, они точно улавливают момент, но сама постановка вопроса интересная. И мне кажется, что она моделирует службу милиционера, пограничника. Мы задерживаем правонарушителей, разных, конечно, диверсанта с вором не сравнишь (хотя милиционерам и с убийцами и бандитами дело иметь приходится). Задерживаем, а не казним. Что проще — увидел его и стреляй! Всего и делов. Нет, иной раз часами преследуем, окружаем, он отстреливается, с ножом на тебя лезет. А ты изворачивайся, бери живым, не убивай. Как в самбо — ломай руку, но не сломай.

Впрочем, эти философские мысли забредали мне в голову много позже. Тогда я об этом не думал. Один раз только поспорил на эту тему с Борькой.

Прибегает ко мне запыхавшийся, возбужденный, посылает.

— Что случилось, — спрашиваю, — кеды адидасовские у фарцовщиков купил?

— Да какие кеды, — вопит, — я ему, знаешь, как врезал!

— Тихо, не вопи. Кому врезал?

И он рассказывает. Пристали к нему двое, когда в школу шел. Рубль отняли. Не наши. Какие-то пришлые бродяги. Он, чтоб не били, лапки кверху, рубль свой отдать поторопился. А только они его отпустили, проходными пробежал — мы-то тут каждый двор знали — и, когда те с подворотней поравнялись, камнем в них и засадили.

— Наверняка в десятку, — радуется, — один так взвыл, дом чуть не обвалился. Во, брат!

— Чего «во», — говорю, — чего «во». Нашел, чем хвалиться: из-за угла...

— А что ж, — недоволен, — цветы в него кидать? Он меня грабит, а я ему — букет?

— Не цветы, конечно, но камнем...

— Слушай, — говорит, — ты, Жуков, какой-то Иисус или Толстой, что ли. Тебе по морде, а ты другую щеку, да? Хорошо, ты «гений самбо», а я, между прочим, легкоатлет, бегун, а не толкатель ядра, что ж, прикажешь всем рубли раздавать, может, еще носки им отдать? Как могу, так и воюю...

Молчу. А что я могу ему сказать? Чувствую, что не прав он, но в чем? Только камень из подворотни швырять — это как-то, не знаю... Думаю, Тоська не одобрила бы.

Мы были в десятом, когда с ней расстались. Кончилась наша «дружба». Дружба, ха, ха, не могу! А кончилась она так. Родители ее уехали в дом отдыха, уж не знаю, почему они октябрь выбрали, может, по работе раньше не могли. Вся квартира — ее, классные кассеты. Мы чуть не каждый день там собирались. Девчонки жратву несли, ребята — кое-чего покрепче. Тапцевали до упаду. Тут, конечно, Борис со своей Царновой высший класс выдавали. Замечу, что к десятому эта фитилька Ленка, ну прямо Лоллобриджида стала, красотища небывалая, из других школ экскурсии приходили на нее смотреть. Но она Борьке верность хранила железную. Прямо Пенелопа. Вот на последней такой сходке — через день Тоськины родители возвращались — чувствую, она какая-то сама не своя. И смеется, и острит, и болтает — не по ее, искусственная какая-то, будто спектакль играет. И шепчет мне:

— Ты со всеми уходи и сразу обратно, поговорить надо. Повеселились, потанцевали. Ухожу со всеми. Возвращаюсь один. Она уже в халате, тащит в комнату. Глаза бле-

стят, дышит, как после пятой партии. И, чувствую, выпила лишнего. Так-то она, как и я, ничего не пьет — спортсменка. Но я совсем в рот не беру, а Тоська, как она выражается, «позволяет себе иногда побаловаться». И вот я вижу, что она на этот раз хорошо побаловалась. Крепко. Тянет меня в комнату. А там света нет, в углу какая-то тускляга еле мерцает. Обняла так, что чуть не задушила, валится со мной на диван, бормочет, не пойму что.

Я в общем-то нормальный индивидум, не деревяшка и не бетонная стена. Передается мне ее настроение. Растерялся. Она свой халатик скидывает, а он не скидывается... И вдруг мне становится удивительно противно, сразу как-то, внезапно. Нет, я повторяю, я взрослый человек, десятиклассник ведь, все понимаю, что к чему. Но, честно говоря, я представлял себе это как-то иначе. Ну, нежней, что ли, ласковей, не знаю... Словом, по-человечески, не по-обезьяньи. Вся эта посуда грязная на столе, обеды, запахи, и Тоська пьяная, жаркая, с этим винным духом, с этой торопливостью, вороватостью какой-то. Будто мы у кого-то что-то крадем, в кармап кому-то лезем. Может, к себе же...

Прямо ничего не смог с собой сделать. Вырвался от нее, выскочил в переднюю, пальто в охапку и кубарем по лестнице.

Назавтра в школе подхожу к ней как ни в чем не бывало. Она вынимает из кармашка записку, заранее приготовила и сует мне. А глаза пустые.

Читаю записку: «Пожалуйста, не приходи больше, не звони, не подходи. Если у меня пройдет, сама скажу. Рассчитываю на твою порядочность».

Раз прочел, два, три. Записку порвал и ничего никому, даже Борьке, не сказал. Она ведь рассчитывала на мою порядочность. И правильно делала.

Я не подходил, не звонил. Ждал, что у нее «пройдет». Не прошло. А я, честно говоря, ждал. Да вот не дождался. Кончили мы школу, разбредились кто куда. Больше я Тоську не встречал. Знаю, что вышла замуж и куда-то уехала, а за кого и куда — не ведаю.

Но я еще долго переживал эту свою первую романтическую любовь.

Ну, а Рогачев, он, конечно, обо всем догадался (хотя и не знал, из-за чего). Думал, будет острить. Нет, отнесся серьезно. Даже утешать пытался:

— Ничего, Андрей, всякое бывает. Не переживай. Может, так лучше. Встретишь настоящую. Сравнишь. Тогда поймешь, что встретил лучше.

Хорошо сказал, я чуть было не расчувствовался, а он как ни в чем не бывало добавляет:

— Ничто так не способствует укреплению любви, как

сравнение. Я почему так с Ленкой моей прочно. Потому что все время ей с другими изменяю и с ней сравниваю. Она лучше.

— Погоди, — говорю, — как это изменяешь? Ты что, с Ленкой... это... ну, живешь?

— Ну, ты даешь, Жуков, тебе в садик ходить. Что ж, ты думаешь, я с ней, как ты с Тоськой, домашние задания готовлю? Мы с девятого класса!

— А эти, с которыми изменяешь? Они тоже из класса?

— Нет, там разные, — неопределенно машет рукой, — студентки есть, киношница одна...

Вот таков мой друг, Борис Рогачев, султан в гареме! Мне, оказывается, в садик еще ходить было следовало...

А детство между тем кончалось.

Все меньше гулял я с Акбаром. Да и постарел он. Меня берегли в семье — приближались выпускные экзамены. И теперь моей жизнью распоряжалась мама. Мама у меня человек примечательный. Я никогда в жизни не встречал женщину, которая бы так мало говорила. И так много делала. Двадцать ей было, когда они с отцом поженились. Училась в институте, ей прочили всякие блестящие перспективы по части физики. А она все бросила и помчалась за отцом по бесчисленным его местам службы. Жила на заставах, куда иной раз на вертолетах только и доберешься, где ни одной женщины, кроме нее...

Обхаживала его, меня растила, «обеспечивала тыл», как говорил отец. И все молча, спокойно, без суеты. Мне помню случаи, чтобы они с отцом ссорились, но, если надо, она настоять на своем умела. И любила она меня спокойно, уверенно, как-то нешумно. Казалось, она знала мою жизнь наперед со всеми деталями. И не собиралась допускать каких-либо отклонений от этого плана. Кончаю школу, иду в армию (разумеется, в пограничники), потом в училище (конечно, пограничное), а затем, как отец, как дед — службу. Ну, же-нюсь, конечно, когда подойдет срок. Когда родится сын (а кто же еще!), то и у него будет такая же жизнь. Правда, для него она будет уже бабушкой, а не матерью, но какая разница? Пока хватит сил, будет «обеспечивать тыл».

Сейчас шел подвоз боеприпасов, накопление резервов, отдых перед решающей атакой — сдачей экзаменов за десятилетку. И никто, даже дед и отец, не должны были мешать. Я готовился, а все ходили на цыпочках. Я углубленно и сосредоточенно готовился.

Так, по крайней мере, они думали.

А я занимался совсем другим. Нет, я, конечно, готовился, но не это было главным. Главным было первенство городского совета «Динамо». Я должен был выполнить второй взрослый разряд. Во что бы то ни стало. Железно!

И я его выполнил.

Когда потом, на следующий день, наш тренер Владлен Андреев еще раз поздравил меня, он сказал:

— Ты, Жуков, в самбо мог бы далеко пойти. Но не пой-дешь. Да, да, чего рот раскрыл. Ты ведь пограничником хочешь стать, верно? Так вот, для чемпионских занятий самбо там условий нет, на границе. Не вообще, подчеркиваю, а для чемпионских. Чтоб большим чемпионом стать, надо каждый день не по одному и не по два часа тренироваться, надо участвовать в крупных соревнованиях, держать режим, иметь очень хорошего тренера. Ничего этого на границе не будет...

И смотрит на меня. Я на него. Грустно мне стало. Когда занимался, об этой стороне дела я как-то не думал. Так зачем занимался? А Андреев помолчал и продолжает:

— Чего нос повесил? Не ожидал? Разочарован? А напрасно. Ты запомни, Жуков — весь смысл нашего вида спорта для таких, как ты. Для пограничников, десантников, оперативников. Это теннис для удовольствия существует и то мышцы развивает. А самбо — вид спорта прикладной. И если тебе там на границе оно поможет хоть одного нарушителя задержать, считай, что ты большего добился, чем если звание чемпиона выиграл. Не для пьедестала почета этим занятием занимаемся, а чтоб врагов бить. Так что не огорчайся и, пока можешь, совершенствуйся. Постарайся мастера получить.

Вот такую он правоучительную и довольно казенную речь произнес, но я ее запомнил и позже на службе не раз вспоминал. Я потому вспоминал, что мы иногда путаем, где дело, а где хобби, где главное, а где вспомогательное. Все-таки занятия мои спортом, самбо, стрельбой, школа, библиотека военная, которую собирал, да и пограничное училище — это все вспомогательное. Главное — служба на границе. Так что, хотя тренер Владлен Андреев и не Демосфен (был такой знаменитый оратор, в школе проходили), но сказал-то он правильно.

А школьная жизнь продолжалась.

За неимением Тоськи к экзаменам готовился вместе с Борькой. Замена была неравноценная. Нет, не в том смысле. Просто он все время отвлекался. Рогачев парень очень способный — так все учителя говорили, даже Галина Крониг-на, а она редко кого хвалила. У Бориса — все пятерки. На «золото» тянул. Но особенно здорово он знал язык — английский. Говорит — от англичанина не отличишь. Так что вы думаете — недоволен.

— У меня, — говорит, — плохо с акцентом получается. Понимаешь, я американский акцент вырабатываю. Ему отец привез из-за границы какой-то сверхмощный приемник, и Борис часами слушал американцев — дикто-

ров, ораторов, актеров — все равно, лишь бы «речь американская», как он говорил. Сидит, слушает, наслаждается — будто Антонов поет или там «Песняры». Это он акцент изучает.

— Зачем тебе этот акцент дался? — спрашиваю. — А если ты на хорошем английском будешь шпарить, вон Вера Григорьевна говорит, что у тебя произношение прямо оксфордское.

— Ерунда, — отмахивается, — кто теперь в мире на английском разговаривает? Все — на американском. Даже детективы их когда на другие языки переводят, пишут: «Перевод с американского». Не с английского, понял? С американского, сам видел. Я ведь потихоньку теперь еще французским занялся. — Потом смеется и говорит: — Знаешь, мне хороший анекдот рассказали: спрашивают лингвиста-знатока, как научиться американскому произношению? Он отвечает: «Очень просто — засуньте в рот горячую картошку и говорите на любом языке». Ха-ха! Здорово, да? Это про меня.

В общем он решил идти в иняз. Его после школы в армию не берут — года не хватает, он с опережением у нас идет — вундеркинд. Так я его иногда называю.

— Копчу иняз, — мечтает, — преподавателем не пойду, с ума не сошел. Переводчиком буду. Поезжу, свет погляжу, как отец. (У него отец где-то во Внешторге или вроде этого работает.) Интересно!

— А что там интересного за границей? — спрашиваю.

— Да уж поинтересней, чем на границе! — это он лезет в бутылку, защищает престиж будущей профессии.

Кроме того, от наших совместных занятий его все время отвлекают девушки. Ох, и бабник этот Рогачев! Марчелло Мастройни по сравнению с ним затворник, схимник. То и дело звонки:

— Да. А, это ты, Люська! Нет, сегодня весь день забит. Сидим, математику постигаем. Звони в субботу. Чао!

— Да. Привет, Танек. Сейчас не получится. Нет, не уговаривай. Давай в субботу. Чао!

— Да. Тоська, ну, не соблазний. Не уговаривай, Тоська! Иначе провалюсь по мату, в смысле, математике. Давай в субботу, всего два дня осталось. Чао!

— Да. Алло. Кто? Ирен! Ну куда ты пропала? Когда? Сейчас? Бегу! Бегу, бегу! Через две секунды! Слушай, давай прервемся (это уже мне). А? Андрей? Вот как необходимо повидаться (он проводит ребром ладони по горлу). Я быстро.

Вздыхаю, собираю учебники, тетради. Знаю я его «быстро». Это до вечера. Дон-Жуан!

Но думаю о нем со снисхождением. Дело в том, что у

меня самого наметился роман. Интересно, почему в школе, в институте, вообще, в учебных заведениях романы совпадают с самой напряженной порой — с экзаменами? Борис утверждает, что то и другое происходит весной, а весна, как известно, пора любви, пора экзаменов, и смеется: «Разница в том, говорит, что всякая любовь — экзамен, но не каждый экзамен вызывает любовь: ха, ха!» Шутник.

Пока он мчится на свидание к своей Ирен (или Люське, или Таньке, я в них давно запутался), я неуверенно звоню Зое. Неуверенно потому, что она тоже готовится к экзаменам. Интересно мы с ней познакомились. Пришла к нам в «Динамо», хочет, видите ли, записаться в секцию самбо. Ей толкуют, что нет у нас девчат, она свое талдычит. У нее отец был работником уголовного розыска, погиб от руки преступника. И она вбила себе в голову мстить преступному миру! Ох, ох. Но упрямая, жуть. Хочет в школу милиции, в УГРО, в Академию, уж не знаю, куда еще. Приводит примеры, действительно девушки в милиции служат. Не хотят ее брать в секцию. Я ее уважаю, она вроде меня, хочет, как говорится, по стопам отца. И правильно. А что девчонка — ничего не поделаешь, не повезло. В конце концов, у всех свои недостатки...

И вот Владимир Андреев сдается, организует небольшую подсекцию, что ли, для девчат. Штук пятнадцать набирается. Оп их в свободное время тренирует и берет себе в помощники меня. Это честь, но и работка, скажу я вам! Лучшее с двадцатью парнями иметь дело, чем с одной девчонкой. У них эмоции через край. Чуть что не получается — иные в слезы. Постепенно пикетные отсеиваются, упорные остаются. И Зоя во главе. Ее все интересует. Она основательная. Читает про самбо, изучает. Когда домой провожаю, вопросы задает. (А я не сказал, что домой ее провожаю? Нет? Как-то так получилось, в общем, сам не знаю как...)

Я ей звоню и предлагаю сделать перерыв в занятиях. Она соглашается, и мы идем в наше любимое место — Парк Горького, благо живем оба недалеко — три-четыре троллейбусные остановки (ее дом на Плющихе).

Я, естественно, приезжаю первым и болтаюсь возле входа в ожидании. Она опаздывает ненамного — аккуратная. Выпрыгивает из троллейбуса в своих джинсовых брючках, в клетчатой рубашке, уже загорелая, волосы по плечам. Красивая. По мне — самая красивая. Здравствуемся за руку, входим в парк и рвем таким темпом, словно хотим установить рекорд в ходьбе на десять километров. Пока не доходим до острова. Есть там такой. Вокруг на лодках катаются, лебеди плавают, шашлыком пахнет, из репродуктора музыка гремит. Мы ничего не замечаем. Садимся на скамейку, сидим,

болтаем, я ее руку держу (или она мою?). Болтаем о чем хочешь, только не о главном. Когда на аллее никого нет, я ее целую по-быстрому. Она делает вид, что не замечает. Вот в такую дурацкую игру играем.

На следующий день Борис закатывает мне сцену у фонтана — где я был, куда сбежал, почему его бросил! Ох, ах. Он почти сразу вернулся. Еле от этой Ирен отделился. Хотя и не просто — привязалась к нему... (Это она к нему! Тогда он, не успев позвонить, как заяц помчался.) И опять садимся заниматься до очередной Ирен.

Экзамены обладают поразительным свойством: до — они кажутся прямо-таки Джомолунгмой, непреодолимым препятствием, после — кротовым холмиком, и удивляешься, стояло столько читать, запоминать, выучивать из-за двух-трех ерундовых вопросов. Смешно! Словно набираешь в легкие воздуха, чуть не лопаешься, а сдал — как выдохнул.

Остается пустота — все ушло во вчерашний день. А может, и дальше, в прошлое, в детство.

Ушли экзамены, школа, друзья детства. А скоро уйдут мои московские переулки, мой старый дом на улице Веснина, пруд в Парке культуры, высокий зал под Восточной трибуной стадиона «Динамо». Станет сладкой доброй памятью. Уйдет детство.

А впереди иная дорога, широкая, и конца ей не видно. Через два-три месяца я приду в военкомат и уеду служить на границу (куда ж еще? Мысль о другой службе мне просто в голову не приходит). Кончу службу, кончу пограничье и начну новую службу, на этот раз пожизненную.

Такая мне предстоит дорога, и другой быть не может. Я ясно вижу ее, она четко вырисовывается из белого мерцающего тумана, что наплывает на меня. Дорога, на которую я ступил десять лет назад. Или вчера?.. Я ясно вижу ее, хотя глаза у меня закрыты. А в ушах слабо шелестит тишина.

Глава II

ЗОЛОТАЯ ПОРА

Сплю я? Или не сплю? Я в каком-то тупом забытьи, а вокруг — серый холодный туман, даже черный, какие-то темные тоскливые облака. Они обретают черты, отступают, теперь я вижу и низкий потолок, и серые бетонные стены, и черную железную дверь с глазком. Мне хочется вскочить, броситься к этой двери, разбить ее, расшвырять, растолкать стены... Но я продолжаю лежать неподвижно. К чему все это? Эти бесполезные усилия, эти несбыточные желания? Мне холодно, я поплотней закутываюсь в грубое серое

одеяло, пахнущее чем-то неприятным, мокрой шерстью, что ли, или дезинфекцией. Мне холодно. Холодно в камере, и еще холодней внутри, в душе, в сердце, в мозгу? Тоска не бывает теплой, она всегда холодна.

Я закрываю глаза. Веки захлопываются как трапы — тяжело и плотно.

Я ничего не хочу видеть. Слышать. Говорить. Так бы вот лежать и лежать в забытьи. Долго. До самого конца. И чтоб пришел он побыстрей, этот конец. Нет! Не хочу! Не хочу никакого конца! Пусть этот серый туман! Эти бетонные стены! Эта могильная тишина. Только не конец!

И не воспоминания. Я гоню их прочь. Я весь напрягаюсь под своим грубым одеялом, на своей жесткой койке. Но это не помогает — воспоминания смеются над моими желаниями или нежеланиями, над моим страхом, над моей тоской. Они властно и презрительно раздвигают серый туман и входят в камеру. И заполняют ее. Они черные.

А ведь когда-то было и светло в моей жизни. Было же счастливое детство! Была золотая пора.

Был дом — полная чаша, мать-клуба вечно возилась со мной, как курица с цыплятами, отец — внешторговый спец — вечно по заграницам мотался, чего только не навозил. То, на что ребята копил годами, у меня с пеленок имелось. И, между прочим, экстерьер. Ребеночком я был лорд Фаунтлерой, а попозже — эдакий супермен из «Великолепной семерки», не лысый, конечно, не Юл Бринер. Девки от меня без ума, все подряд.

Но маменькиным сынком, между прочим, никогда не был. Извините. Наоборот, вполне самостоятельная личность и вполне работоспособная. В школе — одни пятерки, по легкой атлетике — разрядик, язык выучил лучше любого американского аборигена. Ценой личных трудов. Не курил, не пил, не ругался, не дрался, в бога не верил. Верил только в себя и только себе. Это-то меня в конечном счете и подвело.

У меня в школе было мало друзей. Приятелей — да, вагон с тележкой, так называемых корешей. А вот друзей мало. Только Жуков Андрей, пожалуй. Его уважал. Жаль, рано я с этим уважением расстался.

Я заметил, между прочим, что в жизни мы, если о чем-нибудь жалеем, то всегда слишком поздно. Удивительно! Нет того, чтобы пожалеть вовремя. Обязательно с опозданием. А как было бы здорово, если б перед тем, как сделать очередную глупость, мы испытывали сожаление — эх, мол, за чем я это сделаю. И не делал бы. Так нет, все приходит с опозданием. Все мы задним умом крепки. А я больше всех. Умом. Было б чем.

Любопытно, что в школу я ходить любил. Интересно мне

там было. Нет, серьезно. Я с удовольствием слушал учителей, если толковые. Но нам на толковых везло. А уж всякие там опыты по физике, химии — сплошное удовольствие. Стихов я знал наизусть множество (и, признаюсь по секрету, сам пописывал), книги проглатывал. А уж когда выучил английский прилично, то потребовал от отца, чтоб он мне детективы привозил. Он и рад стараться — мешками приволакивал. И, пожалуй, детективы эти мне в познании языка здорово помогли. Я тогда читал их запоем. И вот что я заметил: когда без конца читаешь Чейза, Спилейна, Чандлера, Флеминга, Мейсона, Брауна, Гарднера — еще могу сотню назвать, — начинаешь, в тогдашнем моем возрасте, во всяком случае, жить в особом мире. Не все время, конечно, но как бы полосами. Скажем, вечером возвращаешься из кино и все время оборачиваешься — не следит ли кто-нибудь, или сам какого-нибудь прохожего выбираешь и ловко наблюдаешь за ним, до самого дома провожаешь. В комнату своюходишь и проверяешь — под кроватью никого нет? В шкафу? За занавесками? Интересно. И уж, конечно, на девочек смотришь по-особому, эдак таинственно, загадочно, многозначительно. Они от этого дохнут как мухи. Посмотришь на нее, и все, она твоя. Я на одноклассниц еще в пятом заглядывался, ну, а уж в восьмом... И заарканил-таки самую красивую — Ленку Царнову. Между прочим, еще тогда, когда она гадким утенком была. Но я угадал, предвидел. И не ошибся — к восьмому классу без дымчатых очков смотреть на нее не полагалось. Красоты — ослепительной! Где-нибудь в Майами — первое место на конкурсе «Мисс Америка» гарантировано. Она, правда, мне нравилась, жутко, эдакая детская увлеченность, переросшая в любовь, точнее, детская любовь, переросшая во взрослую, вполне мужскую увлеченность. Во всяком случае, в девятом классе она мне в благодарность за мою верность подарила то, что обычно жены дарят мужьям в первую брачную ночь. Кстати, верности-то особой не было, я ей в самый пылкий период нашего романа изменял направо и налево. Тут уж я ничего не мог поделать. Не мог противиться своей натуре. И настоящим девиц тоже. Когда я Жукову рассказал, он чуть со стула не упал.

Вообще он парень мировой. Люблю с ним дружить. И стараюсь его перевоспитывать, уж очень он какой-то прямой, как линейка, весь правильный. Еще бы — военная косточка. Дед — ветеран, полковник, отец — полковник, все пограничники, и сам он спит и видит диверсантов ловить, даже собака у них — овчарка Акбар.

Мы еще в пятом-шестом классе обретались, а товарищ Жуков, Андрей Андреевич, уже твердо знал свою жизнь наперед. Скучища. А почему скучища? Я тоже свою знаю наперед. Как-то сидим мы с моей Ленкой в кафе-мороженом

(я любил с ней в публичных местах возникать — все хмыри на нее заглядываются, мне завидуют), сидим, и я ей излагаю свою жизненную программу пятилеток на десять вперед.

— Значит, так, — рассуждаю, — кончаю школу, с медалью желателью (мы только-только в десятый перешли, до занятий еще все лето), и в институт.

— В армию не возьмут? — спрашивает.

— Не возьмут, — отвечаю со злорадством, — представь, не возьмут. Мне года не хватает, я же вундеркинд, прямо из яслей — и в школу.

Понимаю ее — ревнучка она жуткая, ей бы хотелось, чтобы я в армии после школы пару лет проторчал, вроде карантина — какие там романы, там «Раз-два!», «Налево!», «Направо!» Не до девок. Вернусь, как раз готовый жених, она тут как тут. А в институте, да еще в инязе, да еще столичном! Тью-тью! Там есть на кого глаз положить. Так что причины для волнений у нее, конечно, есть.

Я продолжаю:

— Кончу институт, с двумя, а то и тремя языками. Пойду переводчиком. Между прочим, с английским я и синхронистом могу работать. А может, еще курсы ООН кончу. Словом, года на три-четыре мне загранка обеспечена, — и честно добавляю, — скучать только буду по отцу, матери, — она отводит глаза, я беру ее за руку, — по тебе...

Она молча пожимает плечами.

— Нет, серьезно, — и я говорю серьезно, — мне трудно будет без тебя.

— Тебе сколько лет будет, когда кончишь институт? — спрашивает.

Смысл ее вопроса мне понятен, но мне не нравится, что она задает его так откровенно, в лоб.

— Двадцать с хвостиком, — отвечаю, начиная злиться, — для начала служебной карьеры достаточно, для обзаведения семьей, пожалуй, рановато.

— «Карьерой» — слово какое-то старомодное. Коллежский ассессор четырнадцатого класса Рогачев, из мещан! — она невесело смеется.

— Чего зубы скалишь? — злюсь, а потому становлюсь грубым. — «Карьера» — теперь вполне принятое слово, спортивная карьера, например. Делающий карьеру — не обязательно карьерист.

— Не обязательно, — соглашается она, — но иногда сопадает.

Я понимаю, кого она имеет в виду, но обострять разговор не хочу. В конце концов, до окончания института еще миллион световых лет, надо сначала кончить школу, поступить, проучиться и т. д. И потом, почему не жениться на Ленке — красивая, толковая, любит меня, и я ее, по-своему, конечно,

но все-таки. Между прочим, я слышал, что в некоторые загранкомандировки неженатых не посылают. Надо справиться у отца.

— Ладно, Ленка, — говорю примирительно, — ну что мы за пять лет до события цапаемся? Давай доживем.

Обнимаю ее, целую, она прижимается ко мне, все-таки она любит меня. И я...

Мы идем в тот вечер в дискотеку и там забываем обо всем на свете. Я люблю дискотеки, их полутьму, грохочущую музыку, пляску цветных огней. Люблю эту толпу, которая в том же ритме, что и я, движется, молча, сосредоточенно, словно мы совершаем трудную работу. Сколько здесь красивых девчонок! И все же моя Ленка всем сто очков вперед даст, а уж танцует — обалдеть можно. Впрочем, я тоже. Красивая мы пара!

Между прочим, смотрю я разные журнальчики оттуда — отец привозит, у ребят бывают, — чем они там лучше? И одеты как оборванцы, а уж прически... Терпеть не могу разных там хиппи. Я всегда одет фирменно, в «Леви страус», в разных «адидасах» — дорого, модно, красиво. Но надеть какие-нибудь паршивые джинсы, абы джинсы, да еще бахрому на них чесать — нет уж, извините. А ребята готовы по сто раз за такие платить, а то и больше. Я сам двоим толкнул: отец привез, мне малы оказались.

В дискотеке я размокаю. Ленка это знает, и, чуть что, поцапаемся, например, как в тот вечер, тянет меня туда. И все налаживается. Я отдаюсь этим ритмам, этому океану шума, этим движениям, бывали случаи, начисто забывал, где я, с кем я. Музыка оборвалась, оглядываюсь, как чумной — где Ленка? Вон она, в десяти метрах от меня.

Потом взмокнувшие идем домой. Еле ноги тащим, лучше для бегуна тренировка не придумаешь. Ох!

Дискотека дискотекой, но главное все-таки экзамены. Готовлюсь один, изредка с Ленкой, иногда с Жуковым. Он неплохо учился, но все-таки науки постигал не так, как я. Я же Эйнштейн, помноженный на Ломоносова. Мне все дается легко и изящно. На лету. Что поделывать, такой уж я способный. Жукову такое не дано. Нет, парень он, конечно, способный, но все же берет трудом, хорошо, что он такой упорный. Как его Акбар — вгрызется, не отпустит! Зато помнит долго.

Иногда у нас с ним возникают высокопринципиальные споры. Я, например, говорю, чего ты придрался к Толстому (Чехову, Гоголю, Тургеневу)? Не согласен, видите ли, с классиком! Имеем свое, товарища Жукова, мнение. Ну, какая тебе разница? Отбарабанил, и привет — тини дневник для пятерки. Нет, он готов вступить в дискуссию с учителем! Чудак. И вообще, какое значение имеет, что там дума-

ли классики, разные мудрецы и мыслители? Мы живем в двадцатом веке, а не в восемнадцатом, тем более третьем до нашей эры, кивни башкой, шаркни ножкой и поднимайся на следующую ступеньку. «Ты, — говорит мне Жуков, — приспособленец — нет у тебя своего мнения».

— Есть, — отвечаю, — просто я не всегда с ним согласен.

Он таких шуток не понимает. Для него сомнений не бывает. Но со мной спорить нелегко — в демагогии, будь здоров, подковался. И тогда он прибегает к высшей неотразимой аргументации: «А вот дед (отец) говорит...» Тут я умоляю, потому что опровергать утверждения его предков — это то же самое, что сомневаться в таблице умножения. Так, во всяком случае, считает мой лучший друг Андрей. Ну и черт с ним.

Впрочем, есть вопросы, в которых он признает меня бесспорным авторитетом: в английском языке, например, в физике, математике, в рок-музыке. Хотя сам он относится к ней критически. Не все ему там нравится. Метр имеет свои предпочтения. Он вообще любит наши песни. А тут предпочтения есть у меня. Музыка-то некоторых я принимаю, даже многих, но слова... Не слова, а издевательство над поэзией! А может, это такие тонкие пародии, что никто их за пародии не считает, включая композитора, который музыку пишет.

Да, еще он считает меня крупным авторитетом по части женского пола (в чем не ошибается). Не то что б одобрял мою, скажем так, широту диапазона и стремление к разнообразию, но его впечатляет число моих сердечных побед, а главное, легкость, с какой я их одерживаю.

— Знаешь, почему я для девчонок неотразим? — учу его. — Да потому, что я к таким, кто меня отразит, не подкачиваюсь. Сразу вижу — эту в два счета. Такой, понимаешь, телепатический контакт устанавливается. А не устанавливается — стороной обхожу.

— Ну а если нравится? — это он, подумав, говорит.

— Мне, — отвечаю, — не нравятся такие, кому я могу не понравиться.

Он пожимает плечами, я его не убедил. И я понимаю, что, если ему какая-нибудь понравится, он будет за нее сражаться, даже с ней самой, да еще как! А что сражаться он умеет, это я знаю. Сам видел. Между прочим, и за меня, если нужно. Да, друг он надежный, только больно уж серьезный. Нас вместе сложить и разделить пополам — идеальный бы человек получился.

Экзамены мы сдали прекрасно. Оба. Я, естественно, на все пятерки. У Жукова две четверки, но аттестат тоже неплохой. У меня золотая медаль. Это уже вторая — первая

была серебряная, правда, я получил ее на городских соревнованиях по легкой атлетике.

Выпускной бал проходил на высшем уровне — девчонки в белых платьях, мы в черных фраках. Цветы, шампанское (которое, давась, торопливо лакаем в уборной), речи, песни, прогулка по ночной Москве, с шумом, смехом, на глазах у снисходительных милиционеров.

А под утро, как принято говорить, «усталые, но довольные» возвращаемся до дому и валимся в койку.

Итак, кусок жизни позади. Первый, обязательный, почти у всех одинаковый — школа. Там от тебя мало что зависит. Конечно, кто-то кончил ПТУ, кто-то спецшколу с каким-нибудь там уклоном или техникум. Но в общем все мы через это прошли, особенного выбора нет. А вот теперь, теперь уже все в твоих руках, уже сам намечаешь дорожку. Впрочем, Андрей прав: есть еще один этап, который от нас не зависит, — армия. В ней все должны отслужить. Кроме больных, дохлых, девчонок и малолетних гениев, вроде меня. Надо же — повезло! И опять-таки возникает парадокс! Оказывается, то, что для одного (с моей точки зрения нормального) хорошо, то для другого (с приветом) плохо. Оказывается, если б Жукова моего не взяли в армию, он бы повесился. Я ему говорю:

— Но ведь ты и сейчас можешь подать заявление в училище, зачем два года терять?

— Какие два года? — спрашивает (он даже не понимает, о чем идет речь).

— Как какие! А служба? Ты же два года служить будешь и потом только в училище, а так сразу.

— Какая же это потеря, — смеется, — что я за офицер, если солдатом не был. Ты соображаешь, что говоришь!

— Я-то соображаю, а вот ты...

Ну чего с таким спорить!

Лето у нас выдалось свободное — мне с моей медалью экзаменов в иняз не сдавать, только первый, а это мне раз плюнуть, у Андрея призыв осенью, так что — гуляй вволю. Мои родители после шумных дебатов решают отправить меня на море, неизвестно пока, куда — в Прибалтику, Крым, Сочи? Наконец останавливаются на Мисхоре, это где-то недалеко от Ялты.

Может показаться странным, даже невероятным, но я впервые еду к морю. Да, да! Ничего смешного нет. Так вот получилось. Маленький был — проводили лето на даче под Москвой, потом в пионерлагере, как-то ездили к папиным друзьям под Киев, другой раз под Тамбов, был еще в Кисловодске, в Бакуриани. Однажды, правда, попал в Ленинград, но уж очень суматошная была поездка. Родители так спешили показать мне все достопримечательности, что даже в Пет-

родворце до конца канала не дошли, ну? Так что моря я практически в своей жизни и не видел, в кино только и «Клубе путешественников».

— Это безобразия, Боря, форменное безобразие. Здоровенный балбес, полиглот, золотой медалист, мастер спорта, а на море не был! — Отец говорит это так, словно во всем виноват я, словно вот я такой заслуженный, а украл у соседа из почтового ящика утренние газеты.

— Я не мастер спорта, — возражаю. Я люблю точность, со всеми остальными оценками отца я согласен, хотя два языка для полиглота маловато.

Короче говоря, меня собирают, снаряжают и напутствуют, как если б я отправлялся с Туром Хейердалом на остров Пасхи. Всей семьей провожают в аэропорт. Ленка тоже. Меня немного удивляет ее невозмутимость — все-таки еду на юг, на курорт. Там полно соблазнов, прекрасных женщин... А она хоть бы что. Только загадочно улыбается. Меня это настораживает.

— Пиши, — говорю, — каждый день по письму. Ты мне будешь сниться, — шепчу нежно.

Вопреки обыкновению она не тает, а как-то многозначительно говорит:

— Постараюсь тебе сниться почаще.

Меня зовут к самолету.

Надо сказать, роскошью жизни меня удивить нелегко. Хотя лет немного, я красивого навидался. И квартира у нас будь здоров, и шмутки отец всю жизнь привозил, так что, и мать, и я всю жизнь в фирме, и система у меня, и кассеты, и видео, и телевизор японский, машина тоже есть. Правда, на ней никто не ездит — мать не умеет, у отца служебная, а мне рано. Да я как-то к технике равнодушен — все эти авто-мото мне до лампочки, лучше такси, тем более мне его отец оплачивает.

Словом, жизнь у меня роскошная. О нет, я не из тех пижончиков, которые все от предков требуют, а сами по коктейль-барам дрейфуют. Знаю таких, даже бываю у них, и они у меня. Но меня это не увлекает. Я намерен сам всего добиться, своим горбом. Конечно, пока я на шее у отца, было время, он небось сидел на шее у своего, а мой сынок, если бог даст, к чему я не спешу, у меня посидит.

Но теперь стоп! Школа кончилась. Начинается институт. Придется и в институтские годы к предкам в карман залезать, по все-таки я намерен оказывать им в этом плане материальную помощь. Причем уже сделал важный шаг — завел роман с Наташкой, пардон, с Натальей Ильиничной Кузнецовой, литсотрудником редакции спортивного журнала, помещенной на художественной гимнастике. Мы с ней познакомились на стадионе. У них там группа таких же

фрайерш занимается, все красотки, все расфуфыренные, по Натали выше всех па три головы. Фигура — невозможно описать! Лицо красоты уникальной. (А когда у меня бывали просто красивые?) По-моему, даже красивей Ленки. А главное, как одевается! Два раза в одном купальнике на свою гимнастику не является, это уж точно. А после того, как журнал их вышел с изображением Натали во всю обложку, да еще в цвете, с ней просто стало невозможно разговаривать.

— Ты зачем художественной гимнастикой занимаешься? — спрашиваю.

— А ты это видел! — отвечает и сует мне в нос журнал.

— Чего ты все время туалеты меняешь, не макекенница, — упрекаю.

— Ты только посмотри! — опять журналом размахивает и ничего не желает слушать.

При всем при том она очень деловая девка и, как я понимаю, хоть и молодая (она всего на пять лет старше меня, что ее в наших отношениях не пугает. «Ты выглядишь намного старше своих лет», — утешает меня), и должность у нее скромная, но журналом командует вовсю. Там вообще, по-моему, одни сонные мухи работают, все им до лампочки, и, если б не напор авторов, разных энтузиастов спорта, журнал бы этот вообще не выходил.

Так вот, эта Натали имеет обязанность отдавать на перевод статьи из разных спортивных научных изданий, которые поступают в журнал. Узнав, что я первоурядник да еще спец в английском, она теперь снабжает меня этими переводами. И не так-то плохо за них платят.

Первый самостоятельный заработок! Надо отметить, и мы идем с ней в коктейль-бар. Тут выясняется, что мы одинаково не любим пить (что мне очень мешает в компаниях). Ладно. Пьем весь вечер один коктейль. В какой-то момент к нам за столик подсаживаются два иностранца, как потом выяснилось, австралийца (надо же!). Натали, между прочим, знает английский не очень чтоб, по знает. И когда она слышит, как я шпарю с этими кенгуру и как они чуть не принимают меня за переодетого американца, она приходит в восторг. Сначала я надувался от важности, но потом мне это вышло боком. Натали поведилась меня таскать по разным «шикарным местам», где бываю иностранцы, прицепляется к ним, а потом млеет от гордости, слушая, как ее Боб (это я) поражает их своим американским языком. И, конечно, знакомит со всеми своими приятелями, которые хоть два слова знают по-английски, чтобы они тоже восхищались.

Теперь у меня серьезные трудности — мне надо ублажать и Ленку и Натали, ходить с ними в разные места, в

разное время, следить, чтобы они, не дай бог, не встретились, не узнали друг о друге и т. д. А Москва пижонов, стилистов и бездельников вопреки видимости не так уж велика. Просто они заметней, как прыщи на носу. Так что круг наш мал, и мне приходится проявлять величайшую бдительность, все время быть в заботе.

— Как ты только не запутываешься со всеми своими девками, — удивляется Андрей.

— Думаешь, легко, — жалуюсь, — попробовал бы, узнал.

— Зачем мне пробовать, мне с моей Зойкой хорошо. А тебе впору компьютер заводить. Иначе не справишься.

— Не справлюсь, — сокрушаюсь (но сам-то доволен). — Ладно, вернусь с моря, все решу!

— Вот, вот, проведи инвентаризацию или конкурс, знаешь, как в научных институтах на замещение должностей, которая на звание академика потянет, ту и оставляй.

Андрей посмеивается над моими романчиками, но значения им не придает. А вот его Зойка имеет на этот счет иное мнение и чуть не сажает меня в лужу величиной с Каспийское море.

Мне приходит в голову злосчастная мысль устроить эдакие проводы — я впервые еду на море! Эдакий праздник Нептуну в тихом кафе и узком кругу. Приглашаю, естественно, Ленку, Андрея с Зоей (мы не раз бывали вчетвером). Выбираю «Метрополь». Кафе, где всегда, конечно, на двери вывеска: «Закрыто на спецобслуживание», а войдешь — все столики свободные. Просто надо знать секрет: войти в гостиницу и сразу налево через внутреннюю дверь. И уже говорю — питоки мы липовые, по все-таки бутылку шампанского я заказываю (в те времена таких, как мы, в кафе пускали и паспорт, чтоб посмотреть, исполнилось ли нам двадцать один, не спрашивали, бедняжки нынешние школьники, тяжко им живется!). Хорошо посидели, душевно. Вот и радовался бы. Нет! Что, вы думаете, делаю? Я устраиваю второй банкет с приглашением на этот раз не Ленки, а Натали!

Казалось бы, ну что такое, тем более, что с Андреем я их как-то познакомил. Уж он-то молчать умеет, кремень. Но я не принял в расчет эту святую деву — Зою.

Сначала все шло нормально. Танцевали, острили, болтали. Но когда эта святая поняла, что Натали не просто приятельница, а такая же моя великая и единственная любовь, как Ленка, она вдруг взбунтовалась. Слава богу, скандала не устроила. Она перестала смеяться и трещать. А потом пригласила меня танцевать. Когда мы с ней откатились в другой конец зала, она мне говорит:

— Ты знаешь, Борис, ты грязный и мерзкий тип (а, ничего себе словарчик!). Морочишь двум хорошим девушкам

голову, а они ведь тебя любят. Не удивлюсь, если у тебя и третья есть (если б она знала!). Ты бесчестный! (Ох!) Как может такой чистый парень, как Андрей, с тобой дружить, ума не приложу. Но это его дело, я ему поведения не диктую, хотя выводы свои сделаю. А тебя я видеть больше не желаю! Ухожу.

Все это она говорила тихо, мило, танцуя. А тут отваливает от меня и шаст в гардероб.

Плетусь к нашему столику и говорю Андрею:

— Пойди проводи Зойку, у нее что-то голова разболелась, она домой собралась.

Натали моя, конечно, начинает кудахтать, собирается оказывать первую помощь, я ее еле удерживаю, а Андрей пулей вылетает.

На том веселый банкет заканчивается.

Утром с опаской звоню Андрею. Он не любит тянуть кота за хвост и говорит сразу:

— В общем-то Зойка права и по-женски, и как человек. Только такому болвану, как ты (эвфемизм, он же употребляет более яркое выражение), могла прийти в голову мысль устраивать этот спектакль с дублершами. Я, конечно, тоже хорош. Выдала она мне. Но с тобой у нас ничего не изменится. Только вот что, Борис, давай держи своих дам от меня подальше.

Я, конечно, заверяю, обещаю, клянусь.

А через два дня уматываю к морю.

Да, так вот, я говорил, что роскошью жизни меня удивить нелегко. Говорил? Говорил.

Но море даже меня прямо-таки подавляет. Немыслимая красотища! Неземная! (Отличный каламбур, запомню.) Из Симферополя, куда доставил меня самолет, добираюсь вполне городским транспортом в Мисхор в свой мидовский дом отдыха. И немедленно бросаюсь изучать страну — парк, пляж, соседние санатории.

Этот без малого месяц, что я провел в Крыму, прямо-таки запал мне в душу. Самое смешное, что именно здесь, на модном курорте, не оказалось никаких красавиц! Поразительно. И в моем доме отдыха, и в соседних обретались семейные пары с малыми детьми, молодежь тоже, но все какая-то серьезная, не подступиться. Попробовал к единственной показавшейся мне ничего подъехать, отшила в два счета. Полное вырождение!

А завершилось все просто-таки престижитаторским номером. Лежу на песочке, смотрю в морскую даль и вдруг боковым зрением паблюдаю небесное видение: движется дева немислимой красоты, ноги — от плечей, шея — лебединая, волосы — ниже талии спадают, походка газеличья... С ума сойти! И кто же это оказывается! Ленка! Сюрпризнейший

сюрприз. Я потрясен, ошеломлен. Даже рад. Выясняется, что, узнав, куда я еду, она нажала на все педали (я предпочитаю не спрашивать, на какие) и сумела достать путевку в мой же дом отдыха. Ну?

Правда, на половину срока позже меня, по сумела. Так что двенадцать дней мы провели вместе. Двенадцать волшебных дней.

Скажу прямо, как специалист, я категорически не согласен с тем, что южные курорты способствуют дешевым мимолетным романчикам! Чушь! Только у сексуально озабоченных мужчин и профессионально зарабатывающих этим женщин.

Я, например, ощутил здесь особенно глубокое чувство к моей Ленке. Нет, я понимаю, там в Москве меня ждет Натали, да и еще кое-кто. Но Ленку я все-таки люблю по-настоящему. (Вот так я в свои неполных семнадцать рассуждал, эх, знать бы тогда, что знаю теперь...) Я, когда уезжал, думал, что не буду вылезать из приморских ресторанов (благо предки снабдили меня бабками, да и НЗ за переводы имелся), а вместо этого мы гуляли с Леной по горным улочкам, по тенистому парку, по берегу. И подолгу (так что в комнаты свои мы возвращались через окно) сидели на скамейке над обрывом.

Какая же это красотища! Море ровное-ровное, чуть рябит местами, и луна протянула дорогу, словно серебро вылила. Звезды здесь крупные, штучные. А как пахнут магнолии и разные другие (несилен я в ботанике), кипарисы, что ли, или эвкалипты... не знаю.

И пальмы. До чего же красивые пальмы! Я сразу представляю, как сижу у бассейна в своей роскошной вилле где-нибудь в Калифорнии или Флориде (уж я насмотрелся видео и журналов — знаю, как это выглядит). В Санта-Монике, например, возле Голливуда. И рядом кинозвезда! Между прочим, моя Лена каким звездам не уступит. Я сам — звезда экрана. Нет, не пойдет. Я — режиссер, продюсер. Вот! Я — миллионер-продюсер. Все от меня зависит, все передо мной заискивают, особенно кинозвезды. Колышут свои листья пальмы, кружится голова от всяких ароматов, в моем бассейне серебрится вода, а подальше белеет роскошная вилла. У дверей «мерседес». Нет, в Америке — «кадиллак»... Неужели есть где-то люди, которые так живут? Есть, конечно; в этих детективах, что теперь заполнили мои полки, в фильмах ведь не только гангстеры и частные сыщики действуют, но и целая куча всяких миллионеров, финансистов, биржевиков, аристократов, у них всех — виллы, яхты, «кадиллаки», личные самолеты...

Нет, я, конечно, не такой дурак, чтобы воображать, что каждый второй в Америке или в Англии миллионер или

лорд. Я газеты читаю, телевидение смотрю и, между прочим, наши книги тоже читаю (хотя больше детективы). Но есть же вот такой мир, мир роскошных пальм, вилл и яхт?

Здесь, когда сидишь над морем, и кругом пальмы и разные южные цветы, а вдаль бежит эта серебряная дорожка, и рядом Лена, хочется думать о красивой жизни. Не той, над которой у нас принято подсмеиваться, а действительно красивой. Как в Калифорнии или Монте-Карло...

Ну, что ж, миллионером я, конечно, не стану, лордом тем более, а вот поездить по таким местам, пожить хоть недолго хотелось бы.

Вон отец ездит же. Правда, он говорит, что, кроме отеля и фирм, с которыми они ведут переговоры, ничего не видит. Но это уж от неумения жить. Я лично все бы успевал.

— Как хорошо, как пахнет, — щебечет у плеча Лена. — Я тебя люблю.

Она прерывает мои мечты. Ну и люби себе на здоровье! Только не влезай в мой шикарный мир. Потом думаю, а почему не влезать, она вполне в него вписывается, ей бы чуть побольше ума (только не слишком много). И вообще я привык к ней, наверное, тоже люблю. Здесь, под пальмами, у моря это я особенно чувствую. Что ж, она заслужила, чтобы я прихватил ее в свою мечту, в Майами. Но пока что мы в Мисхоре, и скоро я должен буду уезжать, моя путевка подходит к концу. Лене здесь жить еще полсрока.

Мои мысли переносятся в Москву.

О, господи, опять придется крутиться между Ленкой и Натали. А что делать? Во-первых, с Натали мне приятно. Она, хоть и старше, но никогда этого почувствовать не дает, а главное — переводы. Тем более, что у нее в этом мире куча всяких знакомств, и она обещала устроить меня переводить заграничные фильмы прямо в зал не то на студию, не то еще куда-то, я уверен, что справлюсь. А удовольствия сколько — эти фильмы ведь в кинотеатрах не идут, и за каждый сеанс — десять-пятнадцать рэ. Нет, Натали упускать нельзя.

Так, ну а чем я еще могу зарабатывать? Ребята из класса летом время не теряли, тоже занялись частнопредпринимательской деятельностью. Кто шпалы грузит, кто в пионерлагерь физкультурником подался. Левка чертежи делает, он мастак по этой части. Генка — на спасательной станции, у него второй разряд по плаванию. Девчонки тоже — многие в пионерлагеря, в детсады.

Ну, конечно, большинство отдыхает от долгого школьного пути, кейфует по домам отдыха, спортивным лагерям, подмосковным или дальним родственникам. Андрей серьезно готовится к армии. А чего к ней готовиться — побрей башку, засунь в баул бельишко — и «Прощанье славячки».

Нет, он чего-то там изучает, тренируется в самбо, мотается в военкомат. Больше всего он боится, вдруг его определит не в пограничники.

— Очень может быть, — рассуждаю невозмутимо, — попилют, например, в оркестр, барабан таскать, ты парень здоровый. Или каскадером на студию Министерства обороны. А то, знаешь, я в «Советском экране» читал, на «Мосфильме» есть специальное конное подразделение, там конюхи — вот как нужны, солдаты-кавалеристы. Ты ведь на лошади сидишь?

— Пошел ты к черту, — ворчит, — для тебя смех. А мне без пограничной службы — хана. Эх, дурак я, надо было не домашнюю овчарку держать, а настоящую и с ней в военкомат явиться.

— А ты, — предлагаю, — явись с Акбаром. Пока разберутся, поздно назад отсылать.

Он только отмахивается.

Но время идет. И лето тихо катится под уклон.

Вернувшись в Москву, я приступаю к бурной деятельности.

Моя несравненная Натали устраивает мне грандиозную халтуру. Каждую пятницу я уезжаю в какой-то очень начальственный дом отдыха, где в тот же день, в субботу и воскресенье крутят заграничное кино, большей частью на английском, так что возвращаюсь оттуда в понедельник я с десяткой, а то и тридцаткой. При этом мы с Натали неплохо проводим там эти три дня — она останавливается у подруги. Подруга — тренер в пионерлагере того же ведомства, находящемся рядом. Ленке, когда она вернулась, я рассказываю о халтуре, но при этом с таинственным видом умалчиваю о том, что за дом и для кого он. Я даже вру ей, что меня засекретили, и намекаю, что фильмы там отнюдь не художественные, а специальные. Она верит. Она-то — да, родители не очень, им не нравится, что я три дня в неделю не почую дома. В конце концов я выпрашиваю у администратора положительный отзыв на мою работу и показываю его матери. Она в восторге. Про оплату я умалчиваю.

И тут мне приходит в голову новая мысль: а что, если из этого сделать профессию, из устных переводов? Навожу справки и выясняю, что есть такие учреждения, как «Импортфильм», «Экспортфильм». Там, оказывается, уйма работы: надо просматривать сотни лент, чтобы выбрать, какие купить, причем это делается не только у нас, но и в других странах, где есть представители этого «Импортфильма». Переводчики озвучивают наши фильмы на иностранных языках, выезжают на кинофестивали, всякие там банкеты бывают, сопровождать надо приезжих кинозвезд по Союзу и наших за границу. Открываются неограниченные возможно-

сти. Платят хорошо и... потом, общаешься с инопланетянами, у них можно кое-чего приобрести и им толкнуть. С умом, конечно. Тихонько.

Поговорю с отцом — наверняка у Внешторга с этими учреждениями есть связи.

Делюсь планами с Натали. Она, конечно, спокойно может работать премьер-министром. Голова! Одобряет полностью, но говорит:

— Все это прекрасно, Боб (Боб — это я), только ведь сначала надо кончить институт, без диплома, знай ты английский хоть как Шекспир, никто тебя никуда не возьмет, а за пять лет много воды утечет во всех этих экспорт-импорт.

— Так что делать? — огорчаюсь.

— А не надо с ними связи терять. Понимаешь, надо наладить отношения и поддерживать с этим миром. Может, тебе во ВГИК поступить? У тебя ж золотая медаль, обязаны принять.

— Ты что! — взрываюсь. — Что я там делать буду, в этом ВГИКе, у меня же никаких способностей ни к актерству, ни к режиссерству, ни к сценарийству нет. В этих делах я бездарный как кастрюля.

— А там все бездари, — рубит категорически, — там ведь только сынки и дочки, может, один случайно пролезает галантный. Словом, как в МГИМО. Ладно, тогда закрепляйся на нештатных переводах, обаяй там всяких секретарш, директорш картин, администраторш...

— Там одни мужики работают.

— Чепуха, женщины больше. Улыбайся, делай комплименты, ну что, мне тебя учить? Только далеко не заходи. Узнаю — евнуха из тебя сделаю.

(Господи, а если она узнает про Ленку? У меня мурашки по коже пробегают.)

— И еще, в вашем институте найди какую-нибудь общественную работу подходящую, ну, там, привозить студентам фильмы на иностранных языках или на массовки их возить. В общем, не порывай с кино связями. А общественной работой все равно ведь придется заниматься — характеристику-то надо зарабатывать. Учти, — строго добавляет, — раз метишь на заграничную, у тебя все должно быть безупречным. Один раз сорвешься, и все пакрывается навсегда. А ты, между прочим, любишь на баб засматриваться.

(А что она меня по своим барам таскает и поровит с иностранцами знакомить, это, конечно, укрепляет безупречную репутацию!)

Как ни странно, но эта нотация Натали свет Ильиничны Кузнецовой вызывает у меня разные тревожные мысли. Я впервые задумался тогда о том, правильно ли я живу. Вооб-

ще, как я живу. Обычно в моем тогдашнем возрасте люди на эту тему не думают. А зря! И потом, что значит тогдашний возраст? Семнадцать лет! В каком, интересно, возрасте люди должны задумываться о своем житье-бытье? В школьных учебниках по истории и литературе я об этом не читал. Может быть, плохо смотрел. В учебнике по математике — тоже.

В газетах иногда пишут. Обычно, когда речь идет о малолетних преступниках, мол, о чем думал. Но нас уже настолько приучили, что за нас, несмышленишей, отвечают все кругом — школа, родители, комсомол, спортколлектив, участковый, ЖЭК, Академия педагогических наук, писатели — инженеры человеческих душ, телевидение, «старшие товарищи», управдом, военкомат, библиотекарь, уж не знаю, кто еще, что для нашей собственной ответственности места не остается. Если пытаемся что-то решить сами, все на нас шикуют, мы у них хлеб отбиваем. А между прочим, за нас отвечают (и как еще!) и те, кому отвечать по общепринятому мнению не положено: бары, дискотеки, ВИА, хулиганы, девиды широкодоступного поведения (вроде моих подружек), разные пьянчужки, «дурные компании», фарцовщики, ну и тому подобная малопочтенная публика. Чтобы всему этому противостоять, надо иметь железобетонный характер и одну цель в жизни, начиная с роддома и до кладбища. Как у Жукова. Плохие «влияния» от него, как мячик от стенки, отскакивают, а в хороших он не нуждается, хотя, впрочем, дед и отец для него высшие авторитеты. Но, уверен, начини они его на плохое дело подбивать, ничего не получится. Только вот не подбивают они его на плохое...

Я тогда задумался о том, как живу. Уже говорил? Пардон.

В конце концов, не так уж плохо. Нет, не в смысле достатка, а в смысле поведения. Не курю, не пью, анашой не балуюсь, как Вовка из второго подъезда, не ворую, на шее у предков сижу умеренно, с их согласия, временно и по необходимости. Цель имею — поболтаться по свету, поглядеть интересные места, пожить шикарно, скажем, по дню в месяц. Что здесь плохого? Я же готов за это работать, пожалуйста, могу вкалывать, как землекоп. Нет, как землекоп, не могу. Как переводчик. Ну, конечно, есть кое-какие грешки — девчонок люблю, вот, с Натали и Ленкой запутался. Так что? Я не претендую на ангельские крылья. Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо (красивое выражение! Жаль, что избитое).

От такого психоанализа я испытываю моральное удовлетворение. И все же что-то мне его слегка подпорчивает. Такая запозочка где-то торчит. Углубляюсь в себя и выясняю. Дело, оказывается, не в сомнительности цели и не в невозво-

ленности доселе примененных средств для ее достижения (как изъясняюсь, как изъясняюсь!), а в том, что, если потребуются, я готов к недозволенным средствам прибегнуть. Готов. И сознаю. И это та ложка дегтя, которая портит бочку меда моей довольности собой.

Тогда я начинаю бунтовать против самого себя. Ну и что? Цель, как известно, оправдывает средства. И если цель благородная и возвышенная, ну, ладно, хотя бы просто честная, то что ж плохого в том, что бороться за нее можно, скажем так, не самыми безупречными методами? А? Всю эту возвышенную философию надо проверить. На ком? Конечно, выбираю Андрея (не на Натали же ее проверять, она с ней согласна и, как я подозреваю, кое-что сама мне внушила).

— Слушай, — спрашиваю Андрея, когда мы возвращаемся с футбола (убожество, совсем играть разучились! Он, конечно, болеет за «Динамо», я почему-то — за «Зенит»), — ты говоришь, если в погранвойска не возьмут, повесишься. Верно?

— Ну?

— Что ну? А представь, что для направления в погранвойска надо дать взятку военному...

— Ты что, с ума сошел? — спрашивает участливо. — Или это твои психологические опыты начинаются. Посмотри внимательно: я — Андрей Жуков, а не белый кролик.

— Ну, хорошо, воображение хоть кроличье у Андрея Жукова есть или нет никакого? Представь такую ситуацию. Дал бы взятку?

— Во-первых, дал бы в ухо такому военному, а во-вторых, такого военкома не может быть в природе.

— А если?

— Борис, — говорит спокойно, — ты чего? Ты последнее время какой-то странный стал. Или девки твои тебе голову заморочили, или эти поздние киносеансы измотали. Трудное дело, наверное, переводить с листа. А?

— Ты не понимаешь, — вздыхаю, — хочу уяснить смысл жизни. Хочу знать, на какие компромиссы готов идти кремень Жуков ради достижения благородной цели — защиты рубежей нашей Родины.

— Ни на какие, — отвечает.

Ну, можно с ним серьезно разговаривать?

Короче говоря, мой внутренний симпозиум на тему: «Правильно ли живет Борис Рогачев?» — заканчивается ничем. Вопрос остается открытым.

(Это сейчас, когда я вспоминаю те свои детские, какие же далекие годы, получил я на него исчерпывающий и горький ответ...)

Осень опасно приблизилась. Она в том году была ранней, какой-то капризной — то льет как из ведра, то солнце под

белой вуалью, на бульварах прямо золотые ковры, а «в саду горит костер рябины красной, по никого не может он согреть...».

Люблю Есенина, и Блока, и, как ни странно, Некрасова, хоть он и классик. А вот Маяковского не люблю — грубиян, и стихи у него какие-то рубленые, как дрова. (Зато его Жуков любит, плебей!) А теперь у меня новое увлечение — Вертинский. И как я его раньше не знал! Да, никакие ВИА с ним не сравнятся. «Там шумят чужие города, и чужая плещется вода...», «Матросы мне пели про остров, где цветет голубой тюльпан...», «На солнечном пляже в июле...» Замечательно! Это отец откуда-то приволок пластинки, сам он их не слушает и вообще ничего в них не понимает. Натали, когда я звал ее к себе (в отсутствие предков, при них она у меня не бывает — психологическая несовместимость), Вертинского не одобрила. «Нытик. К тому же старомодный». — Таков приговор. А вот Ленка оценила, по-моему, даже слезупустила, когда слушала «Прощальный ужин». Вспомнила наши вечера в Мисхоре. Но прощаться я с ней отнюдь не собираюсь, о чем сообщаю ей. Она говорит с хорошо отретпированной тоской:

— Не утешай, я ведь все понимаю...

Следует традиционный сеанс томного нытья с соответствующим вставным эпизодом утешения. И мы идем ужинать (отнюдь не прощально), но не в приморский ресторан, как Вертинский, а по зову маман на кухню. (Ленку мои тоже сначала встретили в штыки, но потом привыкли и теперь вообще считают ее иммунным препаратом против других, посягающих на их дитя коварных искушительниц.)

Когда мы ужинаем, говорит одна мама. Лена молчит намертво, она на мамину волну не умеет настраиваться, а я молчу потому, что заранее знаю, что мама скажет, что я бы на это возразил и что она возразила бы на мое возражение. Тема материнского монолога: смысл бытия (в ее понимании). Съев ужин и запив маминими сентенциями, возвращаемся в мою комнату, доказываем друг другу свою любовь и беседуем о возвышенных материях (в посильных для Ленки масштабах). Потом я провожаю ее домой — самая неприятная сторона в отношениях с женщинами.

А на следующий день иду с великой болельщицей тенниса Натали на матч СССР — Чехословакия, воровато оглядываясь, не увидит ли нас где-нибудь в метро или на улице Ленка. До чего же мне это надоело! Как я понимаю преступников и шпионов из моих детективных романов, им всюду чудится слежка.

Наконец лето добралось до сентября.

Первого, вымыв шею и одевшись со вкусом, но скромно (ничего гусей дразнить, надо осмотреться), направляю свои

стопы в институт и, переступив его порог, переступаю порог нового этапа моей жизни (не переводчиком мне быть, а писателем!).

Приближается пора встать под знамена и моему лучшему и, как я все больше убеждаюсь, единственному другу Андриюшке Жукову. Мне будет его не хватать. Но отпуска-то у них есть? А потом почта и телефон у нас в стране все-таки работают. Так что связи терять не будем.

Я дарю Жукову свою красивую фотографию, цветную, снятую солнечным днем в Крыму на фоне пальм, моря и чаек, на фоне моей мечты. На обратной стороне делаю потрясающую надпись: «Друзей не могут разделить годы, их могут разделять только версты» (не помню, откуда взял), и приписываю: «Борис Рогачев на солнечной стороне».

Какое время было, какое счастливое время, золотая пора нашего детства! Почему она проходит, почему нельзя навсегда остаться в ней?..

Солнце, море, белые чайки... Не чайки сейчас у меня перед глазами, а темный лес, болото, какие-то черные птицы, хрипло-зловеще кричащие, черные птицы в сером тумане...

Этот серый туман редет, но за ним нет дня, за ним темные бетонные стены, низкий потолок, безнадежность...

Глава III

ШЕРЕМЕТЬЕВО-2

Какое-то время продолжаю витать в белом тумане. В напряжении. В напряжении, потому что пытаюсь поймать белую птицу. Быструю, ловкую, стройную. Она все время в движении. Я лежу неподвижно, а мне кажется, что стремительно кручусь и верчусь в погоне за этой птицей, хватаю ее, но в последнее мгновение она выскальзывает из рук и улетает в белую глубину, чтобы через секунду возникнуть снова. Я весь мокрый от усилий, тяжело дышу, а птица все ускользает от меня.

Чьи-то невесомые прохладные руки вытирают мне лоб, поправляют подушку, гладят голову. Птица растворяется в тумане. Становится покойно, тихо. Ухожу мыслями в прошлое. Нет, не ухожу, наоборот, возвращаюсь к нему. Сейчас прошлое для меня — реальность, а настоящее — сон...

Я ожидал тогда призыва с каким-то тревожным, но радостным чувством. С тревожным — понятно, все новое, неизвестное всегда немного настораживает. С радостным — тоже понятно: хотел этой доли, готовился, мечтал о ней. Мы, призывники, в те дни были частыми гостями военкомата.

Нас собирали, рассказывали о будущей службе. Разные то были встречи. С иных уходили разочарованными. Отбубнит какой-то тип параграфы уставов, скрывая зевоту, «начертит в общих чертах», что нас ждет, или по бумажке «вспомнит» эпизоды Отечественной войны. И мы зеваем, смотрим на часы.

Но порой приходил ветеран — с виду невзрачный, серый пиджачок сидит кое-как, помятый, рост невелик, усы пожелтели, правда, колодок хватает, но каких-то темповатых, не следит за ними небось.

Начинает говорить — ничего особенного, пегромко, порой коряво, с паузами, ударения не те... Мы же все только десятилетку кончили, слабо образованные, кое-кто прячет улыбку ироническую, шепчемся.

И сами не замечаем, как смолкает шепот, гаснут улыбки, как сидим завороченные.

И не старичок перед нами в куцем пиджачишке, а лихой разведчик в зеленой каске и маскхалате. Из тихого не очень искусного рассказа вырастают такие боевые дела, такие отчаянные эпизоды, что дух захватывает. И завидуем мальчишеской завистью ветерану, что такое он повидал, что вот так воевал, что уничтожал врагов, знал и огонь, и дым, и кровь, и смерть товарищей. А был-то еще моложе нас.

Одна такая встреча перекрывала десяток казенных.

Впрочем, были встречи и с офицерами другого рода. Молодыми, элегантными, современными майорами и подполковниками с академическими «поплавками». Те рассказывали о современной войне, о войне будущей, если она случится. Приводили примеры, интересные разные цифры, говорили о «возможном противнике». Тоже заслушивались. Конечно, о сегодняшних вооруженных силах, о водородных бомбах и лазерах мы читали, видели кинохронику, смотрели телевизор. Я — особенно. И все же в точных деловых рассказах этих специалистов представляла такая картина современного оружия и войны, что аж дух захватывало. Ничего ведь не останется!

Потом, расходясь, обсуждали услышанное.

— Ишь, америкашки, им волю дай, они б давно всех нас похоронили, — качал головой один, — ночи не спят, новое оружие изобретают — мало им атомного, всякие газы, яды, бактерии...

Другой предлагает радикальное решение:

— Я б, коль от меня зависело, пока нового не изобрели, скинул бы им на голову сотню бомбочек, водородных, и все дела.

— А они пам... — подмигивает третий.

Второй возражает:

— Что ж делать, на то и война. Но я так полагаю, у нас этих бомбочек побольше наберется.

Его клеймят: примитив, рассуждает как американский генерал, каннибал!

Но он не сдаётся: мы будущие солдаты, а главная задача солдат — убивать врагов. И чем раньше, тем лучше...

Впрочем, такие споры на глобальные темы редки. Больше спорим о том, кем лучше служить.

— Десантником, конечно, что за вопрос! — это провозглашает здоровенный детина. Его еще не призвали, но он уже в тельняшке — рубаху расстегнул чуть не до пупа, чтоб все видели.

— А я так думаю, чем кирпичи ладонью колоть, лучше пальчиком кнопочку нажимать, куда результативней, — возражает тихий очкарик.

Кто в моряки нацелился, кто в летчики, кто в тапкисты. Я молчу в тряпочку, мне-то известно, что лучше погранвойск нету.

При этом я думаю, что есть и такие, как мой ближайший друг Борька Рогачев, который вообще считает, что служба в армии — это украденные годы и главная задача не в том, в какие войска попасть, а в том, чтобы не попасть ни в какие. Его логика такова:

— Если будет война, то на фронте никто все равно воевать не будет. Перебросимся тысочкой-другой атомных мячишек, и привет, войне конец, а заодно и всем нам, грешным землянам. Так зачем тратить время и деньги — создавать танки, орудия, самолеты, набирать армию, обучать?..

— Но пока войны нет, границы-то пужно охранять? Кто это будет делать?

— Согласен, — говорит, — вот пограничники твои нужны, для них и без войны дело найдется, так что валяй, Андрей Карацупович, надевай изумрудную фуражку!

И на том спасибо.

Наступил торжественный день.

— Ты запомни этот день, внук! — сказал дед.

Оп, по-моему, волновался больше меня. Как и отец. Как и Зойка. Бегала, сустилась, все звонила, нет ли повестки. А когда по вечерам гуляли, заглядывала в глаза. С вопросом. Но молчала, вопроса о главным не задавала.

— Ты знаешь, — говорю ей, — я так к тебе привык, словно ты вот майка, в которой хожу, или часы на руке. Как без тебя буду — ума не приложу. Часы-то с собой возьму.

— А я как без тебя... — бормочет.

Смотрю, что это? Никак слезы у нее на глазах? Все-таки дубоватый я, как до жирафа все доходит. Если, значит, она

мне письма официального на бланке не прислала, что любит, значит, я ни о чем, конечно, сам догадаться не могу.

Обнимаю ее, крепкую, теплую, прижимаю к себе.

Хорошо, что есть она у меня.

Мы идем дождливой Москвой. Осень какая-то мокрая выдалась нынче. Льет и льет. То по-крупному, то сеет помелкому. Деревья все золотые, красные, понурые. Кошится дождь, раздвигает его солнце, а через полчаса опять. Красиво кругом. Землей пахнет, деревьями, дождем. Мы с Зойкой напялим плащи, у нее еще зонтик такой цветастый, японский и бредем себе, хлюпаем по нашим любимым переулкам. Иногда в какой-нибудь уголок зеленый зайдем, на скамеечке под деревом, там посуше, примостимся и сидим как рыбаки над лункой, согнувшись, накрывшись, не шелочемся.

Целую ее. То все не замечала. Вроде не было ничего, нет и быть не может. А то вдруг заметила!

— Ты почему меня не целуешь, — шепчет, — раньше целовал, а теперь забыл?

Смотри-ка, заметила! Целую. Она прижимается тесней, молчит, волосы длинющие намokли, блестят, разлились по плечам как дождевые струи.

— Ты там недолго, — просит.

Смеюсь.

— Ну даешь, Зойка, подумай, чего городишь! «Недолго!» Сколько положено, столько и пробуду, два года. А потом...

— Потом — это потом, — говорит деловито. — Потом решим. А сейчас ушли тебя на Камчатку куда-нибудь...

— Не обязательно, — объясняю, — могут на северную границу, на южную, в Заполярье...

— А, — машет рукой, — какая разница. Не в Москве же...

— Да уж в Москве не получится, — смеюсь. — Ничего, вернусь, в училище-то.

Вот так гуляли в те дни, болтали. Непонятно о чем, да и неважно. Слова тогда были не главным.

Потом все понеслось, словно санки с горы. Пришла мне новостка, и я пришел в военкомат. Начались комиссии. Медицинская — ну тут я будь здоров, «богатырь!» — так врач выразился, не я. Мандатная. Сидят за столом вершители судеб, один в пограничной фуражке. Видят нас впервой, а небось больше о нас знают, чем мы сами.

— Почему, Жуков, в пограничники хотите?

— Мужская служба, — отвечаю, — наследственная.

Дед — пограничник, отец — пограничник...

— Сын-то небось тоже пограничником будет? — смеются.

— Сына пока нет, — отвечаю солидно.

— Ну что ж, — председатель говорит, — причины уважительные — рассмотрим.

Месяц беспокоюсь. Мало ли чего, спутают что-нибудь там и загонят на подводную лодку, например. Впрочем, с моим ростом в подводники не берут.

Наконец снова приходит повестка: «Явиться... Иметь...» Начало ноября, все к празднику готовятся.

В шесть утра являюсь. Команда № 300. Призывной пункт. Дождя нет. Но холодно. Ясно. Солнышко. Дед пришел провожать, отец не смог. И, конечно, Зойка с кулками. Можно подумать, что она мне на весь срок службы наготовила. В тренировочном костюме, румяная, волосы куда-то под шапочку упрятала. Глаза блестят. Ни слезинки. Очень серьезная.

Попрощались. Как? Как с солдатками прощаются. Дед обнял меня, сказал: «Давай, внук, служи, не подведи династию», — и отвернулся деликатно.

Зойка молодец. Правда, слов не нашла, но не ревела. Все кульки свои совала. И волосы мои короткие гладила.

Офицеров там много было, сержантов, всех родов и видов.

Окончательно успокоился, когда нашу группу повели те, что в зеленых фуражках. Ночь где-то на сборном пункте провели. Еще одну медкомиссию прошли.

А мы все гадали, куда пошлют.

— Сейчас всех на южную отправляют, — авторитетно вещает парень.

— Ерунда, на Дальний Восток, вот увидите, на Курилы, — другой пророчет.

— На спор, в Заполярье попадем? — это третий.

Приходит команда все съестное ликвидировать, болтать перестать, выходить строиться. Выходим. Равняйся! Смирно! Нале-во! Шагом марш!

На автобус...

Все путешествие к месту службы заняло минут тридцать. Вот тебе и Камчатка!

Где-то за первым Шереметьевом, аэропортом в смысле, сворачиваем налево, еще сворачиваем, чуть не налетаем на какого-то мальчика, который вовсю мотается на велосипеде, не обращая внимания на дождь.

Упираемся в зеленые ворота. Ворота распахиваются, въезжаем на плац, вылезает из автобуса, строимся. Дождь перестал.

Смотрю кругом. Не я один — все шеи вертят.

Плац расчерчен как детские классики, с одной стороны невысокое здание бежевого кирпича, с другой — зеленый забор. Большие плакаты: «На государственной границе — государственный порядок», «Убежденность, политическая бдительность, высокая нравственность — неотъемлемые каче-

ства воина-пограничника», тексты присяги, изображения почетных знаков...

Стоит в сторонке серебристая ель, газончики, низенькие штакетики.

Стоим, ждем, гадаем. Куда привезли? Зачем? Надолго ли здесь задержимся? Предположений миллион. Только об одном не догадываемся — что уже прибыли к месту службы.

Узнали, когда привели нас в клуб. Там столы, за каждым — офицер. Сдали документы, и развели нас по подразделениям.

«Учебная пограничная застава»!

Прошли традиционную процедуру: баня, подгонка обмундирования, наматывание с разной степенью успеха портянок, видение в зеркало. Общий смех — никто никого, себя прежде всего, не узнает, форма-то пока как с чужого плеча, точнее, без «как», предварительная, так сказать, форма.

В общем вид, наверное, у нас тогда был не самый бравый.

А все-таки одно я приметил. Отобрали как в лейб-гвардию — все мы здоровяки, все красавцы (это не я говорю, это мне потом сказали — чтоб приезжие гости, ступив на нашу землю, с первого взгляда видели, какой у нас народ красивый). И между прочим, как я позже убедился, дураков среди нас нет.

Короче, вышел полковник, сказал несколько приветственных слов и сообщил, что границу будем охранять здесь, в Москве! Все, точка! Вопросы есть? Вопросов нет.

И вот интересно, кто как эту весть воспринял. Одни радуются — в Москве, в столице, центр жизни, медведи по улицам не ходят. И вообще — условия.

Но другие, и я в их числе, честно говоря, разочарованы — ну что это за пограничная служба, чуть не на улице Горького, в аэропорту? Какие тут диверсанты и нарушители? Чегомоданов с цветными наклейками много, всякой разодетой публики тоже, а вот диверсантов с ножами и пистолетами что-то не видно. И троп таежных, и круч заоблачных, и пронастей, и скал прибрежных... С кем сражаться?

Разъясняют. Беседует с нами сам начальник политотдела подполковник Рыбин. Именно беседует, зашел в казарму вроде бы посмотреть, как койки заправляем. А чего их смотреть? По ним можно миллиметровые линейки проверять. Дежурный всполошился. Орет. Рапорт отдает. В волнении сопровождает — нет ли каких нарушений, непорядков. Нет, все о'кей, подполковник доволен, заходит в ленинскую комнату, приглашает народ. Входим, по приглашению садимся. Молчим. А он сидит, улыбается в усы (это я так, для образности, усов у него нет). И вдруг с места в карьер:

— Ну что, Жуков (помнит ведь фамилию!), разочарован небось? А? Говори прямо,

Я вскакиваю. Растерялся. Что сказать? Соврать, что рад до смерти? Не получится, не очень-то врать умею. Признаться, что другого ждал? А вдруг обидится подполковник — он-то тоже ведь здесь служит.

Стою как чурбан, молчу. Но все-таки выдавливаю:

— Есть немножко.

Смеется, ребята тоже зубы скалят.

— «Немножко», — подполковник передразнивает. — Нашлся дед и отца (все про меня знает или готовился, дело мое в памяти освежил). Думал, граница вроде фронта?

— Есть немножко, — отвечаю.

Ну тут уж все покатываются. А я краснею, будто старый утюг, который забыли снять с плиты. Ну надо же! Прямо кретин какой-то! Спохватываюсь, злосю на себя и потому, как всегда в таких случаях, становлюсь агрессивным:

— А что ж, товарищ подполковник, радоваться, что ли? Чего здесь охранять? От границы тысячи километров, может и милиция справиться. Тут и стрелять разучишься...

Смотрю, подполковник хмурится, ребята, как по команде, рты закрывают, становятся серьезными.

— Ты как себе представляешь, Жуков, да ты садись, садись, на границе с утра до вечера перестрелка идет?

— Нет, конечно, — уже смело отвечаю (а чего терять, раз уж ввязался в спор с начальством, так держись до конца, начальство, между прочим, в армии подхалимов не любит или ошибаюсь?), — по там все время в напряжении надо быть...

— Почему? — перебивает.

— Ну как же! Товарищ подполковник, ведь в любую минуту враг пройти может. Чуть зазеваешься...

— Так что ж главное, Жуков, — опять перебивает, — что в пограничной службе главное? Чтoб враг...?

— Не прошел! — кричу.

— Ну вот, правильно! — подполковник хитро улыбается. — Это главное. Ниоткуда, ни с воздуха, ни с моря, ни через речку, ни по горам или снегам, ни по лесам или болотам. Так?

— Так, — подтверждаю настороженно.

— А если так, то в чем разница — пойдет твой нарушитель с автоматом и ножом в сапогах и ватнике или в лисьей шубе с дипломатом из крокодиловой кожи в руках? В чем?

Молчу. Действительно, в чем?

— Важно ведь любого не пропустить, — продолжает подполковник. Помолчал и закончил: — Вот так.

Долго беседовали. Подполковник да наши ребята из старослужащих примеры приводили — как на паспортах фото подменяли, фальшивые документы предъявляли, печати подделывали, были времена, когда шпионов в чемоданах пы-

тались вывозить. Вспоминали, как оружие пытались ввезти или вывезти. У нас ведь с таможенниками разделение труда — они за свои виды контрабанды отвечают, мы — за свои. В смысле не пропустить, конечно. Вот оружие — это наш участок. А ведь чего только не придумывали, хитрецы! В подметках, в книгах, в игрушках детских оружие прятал. Конечно, сейчас аппаратура у нас иная, но ведь и у них голова работает, у нарушителей. Классическая борьба между пушкой и броней. У нас она тоже идет. Я видел в музее пограничников. Здесь на ОКПП тоже такой музей, поскромней, конечно, есть.

— Так вот, товарищи, — сказал в конце беседы подполковник, — запомните, служба пограничника — священная служба! Великая служба, где бы он ее ни нес. И не только пограничника, любого нашего солдата, что стоит на передовом рубеже! Ведь и летчики ПВО служат за тысячи километров от границ, и зенитчики, и операторы противоракетной обороны, и локаторщики. И стратегические наши разведчики тоже. Они порой живут в лучших отелях, в больших городах и тоже в тысячах километров от нашей границы, только по другую ее сторону. Но они на первом рубеже, и служба их фронтальная. У каждого своя забота, свои особенности, свои трудности, да и преимущества свои. Верно, в аэропорту стрелять и бегать за нарушителем вроде бы не приходится. Только вот вопрос, что сложнее — задержать диверсанта с автоматом или обнаружить хитроумнейшую подделку в документе. И что важнее. Так что, перефразируя поэта, скажу: «Служба разная нужна, служба всякая важна...» — Подполковник неожиданно поворачивается ко мне, смотрит строгим взглядом и спрашивает:

— Понял, Жуков?

— Так точно, товарищ подполковник, понял!

Соврал.

Если откровенно, понял все-таки не сразу. Ну да ладно, мало ли чего я тогда не понимал. Не понимал, например, почему тут единственным москвичом оказался — выяснилось, что язык прилично знаю. Спасибо Борьке Рогачеву, что за ним все угнаться пытался — английский учил. Вот, значит, чему обязан, что назначен на ОКПП «Москва». Отдельный контрольно-пропускной пункт. Так это расшифровывается. В нашей пограничной иерархии — это вроде дивизии, так-то!

Учебная застава стала нашим домом в общем-то ненадолго, хотя мне показалось — на вечность.

Сначала, как во всей армии положено, проходили курс молодого бойца. Учили уставы, занимались строевой, готовились к принятию присяги и т. д. Скучновато, но необходимо.

Принятие присяги, хоть и видели мы это сто раз в кино, в телепередаче «Служу Советскому Союзу», знали ее до мелочей, а все-таки в памяти остается на всю жизнь.

По-моему, нет нигде ни в чем такой торжественности, как в военных церемониях. Я имею в виду оркестры, парады, смены караулов, принятие вот присяги. Здорово!

У меня да и у ребят, я же вижу, комок к горлу подкапывает, когда звучат трубы, поют горны, ухают барабаны. Когда, как одна, тысяча ног бьет по асфальту.

Не знаю, но мне почему-то видятся в такие минуты улапы времен войны с Наполеоном, казацкие папахи, атаки в дни Брусиловского прорыва. Далеко все это от меня, другая эра, а я представляю, будто совсем рядом. Картины Отечественной — так просто, как бы сам в ней участвую. Понимаю, военная служба — трудное дело, суровое и, как ни странно, опасное. А я вижу ее какой-то торжественной, красивой, радостной, жутко увлекательной. Может, потому, что еще пороху не нюхал? А может, потому, что все книги, фильмы только и талдычат, какая она суровая, пограничная служба, а о том, какая красивая и приятная, из скромности, наверное, молчат? Впрочем, я ведь ее опять-таки еще не знаю. Имею в виду по личному опыту, конечно. Потому что, если не по опыту, а по рассказам деда, отца, по прочитанному я эту службу знаю о-го-го! Книжки и фильмы, если хорошие, свое дело делают будь здоров. Ведь как у Владимира Высоцкого:

Если, путь прорубая отцовским мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал что почем, —
Значит, пужные книжки ты в детстве читал.

Все это, считаю, относится и ко мне, хотя в жарком бою я пока не был. Да и усов пока нет у меня. Ладно, разбежался мыслями.

Итак, приняли мы присягу.

Школа будь здоров — почти полгода. Вот где пришлось попотеть. И не на физической подготовке или полосе препятствий, а в постижении разных хитрых наук. Одних документов изучали сотни! Языки. Хорошо, я все-таки английский прилично знаю (Рогачеву Борьке — в увольнение первое же поеду в Елоховский собор — свечку поставлю). Аппаратуру нашу умнейшую. Вы что думаете, мы в наших кабинках контроля лаптями орудуем? Не беспокойтесь — есть кое-что похитрей. Географию многих стран тоже учим. И не только географию — историю, культуру, нравы, государственное устройство. Самолеты Аэрофлота во сколько стран летают? Вот и подсчитайте. И кроме того, мы, конечно, занимались

тактикой, огневой подготовкой, физической, пограничной. Партиолитработой. У нас была учебная застава, и все, что обязан знать пограничник — пограничную систему, следы, следовую полосу, как бесшумно ходить и ползти, как вести наблюдение, как преодолевать препятствия и многое, многое другое, — мы здесь тоже учили, осваивали.

Я продолжал заниматься самбо, кто-то предпочитал бокс, кто-то легкую атлетику, футбол, плавание. Но спортом сверх программы занимались все. Еще бы, здоровые бугаи — нужен выход энергии.

Кто-то ворчал, кто-то стонал, все же гоняли нас будь здоров. Но думаю, это так, по традиции. Знали же, что нас ждет. А я, например, был доволен. Ну нравится мне военная служба! Не верите? Нравится (кстати, не мне одному). Я получаю удовольствие, когда первым преодолеваю полосу препятствий, когда точно прохожу по следу, когда попадаю в «десятку» мишени. Меня увлекают военные игры. Скажут: маленький, еще в солдатики поиграй. А мне нравится. И не игры это, а жизнь. Не знаю, может, где-нибудь в Америке это игры, они другого не знают. У нас же в эти игры четыре года весь народ играл. Мы им цену знаем. Так что я занимался не за страх, а за совесть. С увлечением. И закончил ту школу сержантского состава отлично. И дед похвалил (только сказал, чтоб не задавался), и отец (но чтоб не расслаблялся), и даже Зойка (но чтоб ее не забывал — ну при чем одно к другому?).

И вот я — младший сержант! До маршальского звания совсем пустяки осталось.

Оглянулся тогда на пройденный путь. Путь в полгода. С того дня, как призван под знамена. Путь невелик, а событий масса. Разных — и хороших, и плохих, что ж, такова жизнь. А вот больше всего вспоминается одно — мой первый звонок Зойке! Сколько же я мучился перед этим звонком! Сколько переживал, дурак! Она ведь меня провожала прямо как на фронт — великая трагедия, прощание с героем, впереди немыслимые испытания, страшные опасности, смертельный риск! Небось ночи не спит — ждет заветной весточки с края земли, откуда-нибудь из полярной ночи! И вдруг... позвоню за двушку с банального автомата и скучным голосом сообщу, что четыре шага мне здесь не до смерти, как поется в песне, а до остановки автобусного маршрута № 551. Сел, проехал полчаса и гуляй себе по Арбату. Пограничник называется!

В конце концов решаюсь. Смелости потребовалось небось больше, чем когда доведется первый раз нажать на спуск в боевой обстановке. (Э, брат, не хитри, не ссылайся на боевую обстановку, когда еще она будет, да и будет ли...)

— Слушаю, — говорит тихо, скучно, после пяти гудков.
— Это я, Зоя, — говорит.

— Ой! — кричит, — откуда? А звонок обыкновенный, не междугородный! Господи, это ты! Андрей, родной, ну как ты? Где? Ну что ж ты молчишь!

«Чего я молчу». Попробуй, вставь слово. Я говорю: «А...», но тут же умолкаю, потому что на меня обрушивается новая речь:

— Я так скучаю! К тебе можно приехать? Я бы где-нибудь в гостинице или нет там? Могу снять комнату. Хотя на несколько часов отпустят? Андрей, можно к тебе? Я возьму отпуск! Деньги одолжу...

Я злось и грубо прерываю ее:

— Одолжи пять копеек и приезжай. Пятачка хватит.

Звучит не очень любезно и для нее непонятно.

— Ты что, — говорит растерянно, — ты что, Андрей?..

А я злось еще больше. На себя же. И потому начинаю хамить ей.

— Ничего. Я уже получил назначение. Очень опасная служба. Здесь тигры, белые медведи, диверсанты нападают с утра до вечера...

— Андрей, ну, Андрей, что с тобой... — она чуть не плачет.

— В Шереметьево я, — начинаю успокаиваться, — понимаешь? В Шереметьево служу, в аэропорту. Такая вот служба. Вроде сторожа. Знаешь, вневедомственная охрана? Ну вот, я такой. И приехать ко мне можешь в любой день — посмотреть издали. За пятак на автобусе. На такси нечего тратиться. Наш семейный бюджет требует экономии. А дадут увольнительную, сам приеду.

Думаю, сейчас она мне за мою грубость врежет. Но она молчит, а потом тихо говорит:

— Ты сказал, наш семейный бюджет? Да? Андрей?

Она только это и расслышала из всего, моя Зойка, вот только эту мою дурацкую шутку. Но для нее это не шутка, это главное. И тогда мне становится страшно весело, легко на душе, радостно и уж не знаю как.

И на радостях я отпускаю шутку еще более дурацкую:

— Да, — говорю, — наш семейный бюджет. А что, у тебя есть другая семья? Мы ж почти вчера расстались, а ты успеда замуж выйти? За кого? Не за Рогачева, случайно?

И глухо смеюсь в трубку. Жду реакции.

Реакция приходит через минуту — слышу всхлипывания, потом ничего не слышу, потом злой голос:

— Не успела, но успею. Слава богу, что не за тебя. Рада, что ты хорошо устроился (наступила на большую мозоль и давит). Что тебе тепло и уютно. Разживешься лишней душкой, звони...

Бац! Вешает трубку. Я смотрю на ту, что у меня в руках, недоверчиво. Нет, до чего же я все-таки глуп. А ведь считал себя умным, и другие говорили... Называется, пообщался с любимой! Занимаюсь скоростным психоанализом и понимаю, что дурацкое мое поведение — результат разочарования, увлеченного самолюбия — мол, не туда попал служить. А она при чем?

Лихорадочно шарю по карманам, двушки не нахожу, нахожу гривенник, сгодится, набираю номер. Гудки, гудки, никто трубки не снимает. Набираю снова, и снова тот же результат. Ухожу, повесив нос. Какая же она жестокая. И мстительная тоже. Накручиваю себя. Безуспешно. Себя только и виною.

Вот такой был мой первый с Зойкой разговор после призыва. Потом, конечно, все наладилось. И звонил ей, и в увольнение ездил, да и она ко мне хоть на минутку приезжала. А вот тот первый разговор не забыл.

Итак, начинается служба. Меня прикрепляют к старшему сержанту Остапу Прохоренко, он будет моим наставником на первых порах. Потом уволится, и наставником у кого-то стану я.

От Наставника — а я так и стал его называть во вне-служебное время, — конечно, многое зависит. И не в том дело, что он дает оценку моей работе, а в том, как он этой работе учит.

Позже я понаблюдал, как Коля Клещ, тоже наставник, «учил» своего подшефного Рулева. Мы с этим Рулевым пришли в одном призыве. Рулев — парень какой-то восторженный и простодушный. Самые частые слова в его лексиконе: «Да ну!», «Ей-богу?», «Ты подумай!» и т. д. Вечно обо всем спрашивает, потому что не сразу до всего доходит своим умом. Зато потом усваивает прочно. Так вот, что он своего наставника старшего сержанта Клеща ни спросит, тот в ответ хитро цурится или подмигивает, напускает на себя таинственный вид и отвечает вопросом на вопрос «А сам как думаешь, Рулев?» или советует: «Пошевели, Рулев, мозгами, крепко пошевели». Рулев шевелит, хмурит лоб, потеет, но ответа на свой вопрос так и не получает. Не знаю, может, у Клеща это такой педагогический прием или его раздражают вечные вопросы Рулева... Но думается, такое наставничество мало что дает.

Мой Прохоренко совсем другой. Я бы даже сказал, что он страдает обратным недостатком. Спрашиваю я его мало, но уж если спрошу (а иной раз и без моих вопросов), выслушиваю в ответ целую лекцию. Обстоятельную, слов нет, исчерпывающую, но уж очень длинную. Он вообще, мой Наставник, человек неторопливый и добросовестный. Все делает не спеша, солидно, тщательно. Пока мимо него на погран-

контроле один пассажир пройдет, Клещ полдюжины пропустит. Но, между прочим, без ущерба для дела.

«Что лучше?» — спросил однажды у нашего командира, капитана Большакова. Смеется: «Лучше у того, у кого все в порядке и нарушений не бывает. А уж кому сколько для такого результата времени требуется — это вопрос второй».

Может, и второй, но я-то вижу, как иной пассажир на моего Наставника поглядывает — прямо убить готов — у него по транспортеру чемодан уже третий раз проехал, а старший сержант Прохоренко все изучает его паспорт, сликает фотографию, о чем-то глубокомысленно раздумывает. Зато уж у него всегда все в порядке.

Однажды случилась история прямо-таки фантастическая. Товарищ Прохоренко читает не так уж много, но все, что относится к пограничной службе — от инструкции до романа, — от него не уйдет. Журнал «Пограничник» — его настольная книга.

И вот прочел он там как-то повесть, очень ему понравилась, в журнале и фото автора помещено. Прошел год.

Сидим мы с ним в кабине паспортного контроля — я учусь, он учит.

Проходит очередной пассажир. Пассажир как пассажир, паспорт нормальный, едет в составе туристской группы, веселый, предвкушает небось интересное путешествие свое, улыбается...

Смотрю, мой наставник насторожился, я его уже изучил. Глядит на пассажира изучающе, переспрашивает фамилию, паспорт прямо рентгеновским взглядом пронзает. Потом вызывает старшего, чего-то шепчет. Обсуждают, зовут подполковника, опять шепчутся. Подполковник выходит к пассажиру и о чем-то его спрашивает. Тот облегченно вздыхает, смеется, объясняет, подполковник тоже смеется. Все в порядке. «Молодец, Прохоренко, — подполковник говорит, — благодарю за службу». И тут вдруг пассажир тоже встречает: «Побольше б мне таких читателей, товарищ старший сержант. Спасибо вам».

Что за история? За что благодарит?

А потом все выяснилось. Пассажир тот, оказывается, писатель! Автор повести в «Пограничнике». И фото, которое было в журнале, то же, что и в паспорте. Так что вы думаете, сверхбдительный мой наставник вспомнил-таки ту фотографию в журнале, сравнил с той, что в паспорте — лицо одно, а фамилия другая! Понятно, что заволновался, начальство на консультацию вызвал. Оказалось, все очень просто — в паспорте фамилия, а в журнале литературный псевдоним. Только и всего. Это у писателей бывает — Горький ведь тоже был Пешков. Но я лично моего наставника вауважал вдвойне. Ну, бдительность, понятно, бдительность

у пограничника — профессия или, если хотите, вторая натура (если не первая). Но память-то какова! Через год припомнить малюсенькую фотографию. Да еще в журнале она какая-то стертая — я не поленился, разыскал тот журнал годичной давности. И задумался — сам-то смог бы так?

Подполковник доволен — вон, мол, какие у него бдительные воины. Прохоренко скромничает, но тоже доволен — проявил. Я доволен, что у меня такой наставник. Но уж кто совсем в восторге — так это писатель. Надо же! Как его запомнили, значит, какая у него замечательная повесть. Написал письмо главному редактору «Пограничника», начальнику погранвойск, нашему начальнику ОКПП. Прохоренко прислал книгу — повесть к тому времени отдельной книгой вышла. Одно его только, наверное, огорчило, что на обратном пути не задержали — видно, контролер литературой не увлекается.

Служба службой, но и личная жизнь у меня имелаась. И если в первом случае все обстояло прекрасно, то во втором — хуже некуда.

Больно вспомнить...

Мне казалось, что все ясно — есть Зойка, отслужу действительную, поступлю в училище и в первый же год, ну ладно, на второй, третий женюсь. А потом стану офицером, и пачнем мы с моей Зойкой колесить по границам и заставам, пока седым и заслуженным генералом не обоснуюсь где-нибудь надолго. Как дед с бабкой, как отец с мамой.

Но оказывается, все не так просто в жизни. Я не Борька Рогачев, у которого столько девок, что ему любой турецкий султан может позавидовать. Спокойный я в этом смысле, вот Зойку встретил и радуюсь. Так нет, судьба, видно, решила мне отомстить — влюбился! Ну может, не влюбился — увлекся.

Дело было так.

Здесь, в Шереметьеве, много красивых девушек — и стюардессы, и таможенные инспектора, да и у нас в КПП девчата служат. Словом, красоток хватает. Ну и что? Мало ли на свете красивых девушек. У меня есть моя Зойка, а больше мне никто не нужен. Оказалось, не так. Оказалось все сложнее. Весна подоспела. От Зойки оторвался, а тут... Словом, оправданий можно много набрать.

Девушку звали Лена. Она работала диспетчером или еще кем-то. Странно, но все их чины и посты, аэрофлотчиц, я, пока служил в Шереметьеве, так и не запомнил. Впрочем, мы их звали стюардессами, даже тех, кто небось и в воздух ни разу не поднимался. Красивое слово, не то что «бортпроводница» — язык сломаешь. Вот Лена-стюардесса

отрывает купоны от посадочных талонов, еще чего-то возле самолетов делает при разгрузке.

Пути наши на службе пересекались. Ну посматриваем, конечно, друг на друга. Сначала просто так, потом повнимательней, потом еще внимательней.

А потом я еду в увольнение, и она оказывается в том же автобусе. И сидит рядом — автобус пустой. Так-то я обычно стою, все равно кому-то уступать место надо, а тут некому. Поворачивается она ко мне, улыбается — здорово улыбается, ямочки сразу на щеках, зубы белые-белые, как у певиц по телевизору, глаза и те улыбаются. И говорит:

— Вы ведь Жуков — герой, самопожертвователь?

Слово какое-то странное. Неслыханное. Переспрашиваю:

— Самопожертвователь? Это как понять?

— Ну как же! Кто гибель товарищей предотвратил? Закрыл телом амбразуру?

Тут я понимаю и густо краснею. Дело вот в чем.

Незадолго до того дня загружали самолет транзитным грузом. Самолет стоял на «перроне», как мы говорим, то есть на поле. Грузчики таскают ящики и коробки, мы — таможенники, пограничники, работники Аэрофлота — стоим поблизости, у каждого своя задача. Ветер. Тишина. Солнышко.

И вдруг одна из коробок падает, и в тишине тем, кто стоит рядом, мне в том числе, становится четко слышно тиканье часов — негромкое, внезапное, зловещее. Все застывает. Потом грузчик, две девушки — таможенница и стюардесса — ахают и бросаются бежать, остальные как завороченные смотрят на коробку. А я бросаюсь к ней, хватаю — тяжелая, черт! — и что есть духу мчусь в поле. Не сразу соображаю почему. Просто вот такой срабатывает условный рефлекс. Но пока бегу, начинаю приходить в себя. Раз застал механизм при падении, значит, взрывной — есть такие системы, от небольшого даже удара включаются. Надо учесть и чей груз, из какой страны, и в какую шел, и фирму, и национальность самолета. Короче, все это в долю секунды, автоматически прокрутилось в мозгу, как в компьютере, и выдало результат: может произойти взрыв, рядом люди, самолет, надо отнестись коробку как можно дальше. Пока я все это уже на трезвую голову сообразил, смотрю — метров пятьдесят, наверное, отмахал в чисто поле. Задыхаюсь, пот глаза застилает, иду медленно. Наш лейтенант меня догоняет, приказывает:

— Поставь коробку, отойди!

Я ставлю коробку, и тут она неожиданно раскрывается, — растряс я ее, — и на землю вываливаются будильники, целая партия. Один почему-то заработал, завод, что ли, временно заблокировался...

Лейтенант вытирает пот со лба, смотрит на меня, улыбается и говорит:

— Ну даешь, Жуков! — и начинает хохотать. Все громче и громче.

Я тоже хохочу. (По-моему, излишне громко.) Подбегают другие, все смеются, шутят, хлопают меня по плечу. Я чувствую себя дураком, а потому смеюсь еще пуще.

Но на комсомольском собрании все оборачивается по-другому. Все очень серьезно. Приходит сам начальник политотдела подполковник Рыбин. И говорит:

— Конечно, случай забавный, товарищи. И можно долго смеяться — Жуков будильник за бомбу принял, будильника испугался. Но ведь в том-то и дело, что не испугался. Боялся — верно. Но за жизнь людей, не за свою. Дело не в том, что в коробке лежало, а в том, как человек повел себя. Повел-то героически. Как настоящий пограничник. Хорошо, что ошибся. А если б нет? Что бы мы тогда говорили, как бы вспоминали? Так что, товарищи, при всей внешней комичности ситуации стоит за ней много важного: и характер советского пограничника, и воспитательная работа, в том числе и вас, комсомольцев, и традиции наши воинские. Многим здесь спасибо надо сказать.

Беглята тоже выступали. Честно. Один прямо так и сказал:

— Я б тоже побежал, только вот с коробкой ли, не знаю.

Посмеялись, погальдели. Мне жутко неловко было — ничего ведь не сделал, наоборот, упаковку нарушил, а славят, будто Матросова. Благодарность хотели объявить. И тут я не выдержал, пошел к замполиту, попросил не делать этого. Он сразу понял.

— Ладно, — говорит, — ты, поверное, прав. Доложу начальнику политотдела.

Постепенно все утряслось, но многие об этом случае у нас тут в аэропорту знали. И вот Лена тоже. И вспоминала. И, конечно, не преминула сострить. Но, посмотрев на меня, сообразила, какая будет реакция, и сразу же попыталась исправить дело.

— Это я так. Шутка. Но я вас знаю. Давно заметила. Вы тут все видные, прямо тридцать три богатыря. Но вы самый-самый. А куда едете? К невесте небось?

Короче, залила мою вспышку потоком слов. Превентивно. Пока молола всю эту ерунду, я поостыл, так что дальней разговор пошел нормальный. О том о сем. О ее работе, родителях, планах. Она, видите ли, поет в самодеятельности, но ее уже куда-то приглашали. Хорошенькая, сил нет! Болтает всякую чепуху, а я не слушаю, просто смотрю на нее. Наконец выдыхается и начинает задавать вопросы — я от-

вечая вполне честно. А вот про Зойку молчу, свинья. Не хватало духу.

Доехали до города. Оказалось, она прямо у конечной остановки автобуса живет. Вышли. Она смотрит мне в глаза и говорит:

— Если не торопишься (мы уже на «ты»), зайдем. Я тебя кое-чем угощу, погибнешь! А?

И что, вы думаете, отвечает ей торопящийся к своей любимой Зойке товарищ Жуков? Не догадаетесь. Он отвечает:

— Разве что ненадолго...

А? Ну не подлец! Поднимаемся к ней. Квартира, как игрушка — одна комната, но как обставлена, как украшена! Весь современный ассортимент — система, искусственный камин, бар, сувениры со всего света... Оглядываюсь — кто еще живет, родители, муж, дети? И понимаю, что одна.

— Чего смотришь? — смеется. — Живу одна, родители в Омске, детей нет, с мужем развелась два года назад, а прожила два месяца. Вопросы есть?

— Вопросов нет, — говорю и плюхаюсь в кресло.

Она смотрит на меня оценивающе и деловито констатирует:

— Красивый ты парень. С тобой появишься где-нибудь, все от зависти умрут. Конечно, в штатском.

В смысле — я. Начинаю разочаровываться — небось эта Лена модная финтифлюшка, живет одна (ОДНА — могу себе представить!), главное для нее фирма, ресторан, дискотека, Жуков — красавец и герой, есть с кем показаться. Хп-хп, ха-ха... Сейчас потащит на диван.

Ан нет. Приносит какие-то невероятной величины фрукты, вино в бутылке без этикетки, сообщает шепотом, что «от поклонника с Кавказа», и тоже усаживается в кресло. И вдруг становится другой. Во-первых, старше. Я соображаю, что года на три-четыре старше меня. Во-вторых, серьезной, прекращает свои шуточки и смешки. В-третьих, какой-то печальной. И тогда понимаю, что все у нее напускное — веселье, нахрапистость, обстановка квартиры, стиль жизни... Что она одинока (хоть и есть у нее наверняка целый мужской гарем), что не особенно радуется жизни (потому что жизнь у нее какая-то искусственная), что тоскует по настоящему человеку — другу, любовнику, мужу, уж не знаю, кому. Может, во мне такого видит. И мне становится ее жалко.

Кроме того, я удивляюсь. В общем-то вижу ее впервые. Ну, как следует, нельзя же считать встречи у телетрана. Мы знакомы час-полтора, включая дорогу, а такое впечатление, что не первый год.

Неожиданно она пересаживается из своего кресла, садится на ручку моего и обнимает за шею. Это не конец све-

ты, я уже говорил, что не очень-то увлекался в своей жизни девушками, но ситуация знакомая. И реакция тоже. Бездумно. Я тоже обнимаю ее и собираюсь поцеловать — в такие минуты, наверное, все уносится куда-то далеко.

Но она выскальзывает из моих рук, отступает и говорит:

— Не надо. С другим я б уже раздеваться начала. А с тобой не могу. И не хочу. С тобой только по большому счету. Ты ведь не как они все? Верно? Ну вот и я не хочу быть как все. Для тебя. Именно для тебя.

Я немного ошарашен. Прихожу в себя. Становится стыдно. Начинаю злиться на себя. Встаю, отшепав дурацкий поклон, иду в переднюю, надеваю шпиль. Она следует за мной, зажигает свет и все время молчит. Я открываю дверь, выхожу и делаю ей ручкой. Тоже молча. Эдакая пантомима, «Липидеи». Тогда она говорит:

— До свидания. Я жду тебя, когда захочешь. Номер телефона у тебя в кармане шпильки.

И медленно закрывает за мной дверь.

Я спускаюсь по лестнице пешком, иду к остановке, сажусь в автобус, размышляю. Неизвестно о чем. Испытываю чувство досады. Но и какой-то тайной радости.

А потом приезжаю домой, звоню Зойке, она прибегает. И я обо всем забываю и удивляюсь про себя: «Какая Лена? Что за Лена? Где я был? О чем говорил? Да нет, это все приснилось мне. Просто прикорнул в автобусе...»

К сожалению, не прикорнул.

Через два дня мы встречаемся с Леной на «посадке» у дверей накопителя. Ловлю ее взгляд (или она мой?). И читаю в нем печаль, даже тоску. И все опять поднимается в душе, ну, в общем, вы понимаете.

Когда в воскресенье еду в увольнение, все повторяется: полупустой автобус, свободное место рядом, на которое она садится, болтовня в дороге, ее квартира и перемена в настроении.

Все как-то странно. Сидим рядом на диване. Увлечены или влюблены. Знаем об этом. А говорим о чем хотите, лишь бы не о главном. И ни-ни, не касаемся друг друга. Потом я смотрю на часы, потом бегу домой, потом встречаюсь с Зойкой и все забываю. Потом возвращаюсь в казарму и мучаюсь. Когда я с Леной, меня мучают угрызения совести, все же я свинья по отношению к Зойке, когда я с Зойкой, нет-нет, а прорывается мысль — эх, сейчас бы с Леной... Черт знает что! Не только никогда со мной такого не было, я даже не представлял, что такое может быть. И не с кем посоветоваться. Не с Рогачевым же! Для него подобная ситуация — обычная, с той разницей, что угрызения совести ему не знакомы.

Нужно как-то все это решать. Что «все»? Принимаю твердое

решение: больше к Лене ни ногой. И в очередное увольнение... опять у нее (на этот раз без всяких встреч в автобусе, приходу сам). А когда получаю увольнение с почевой, происходит неизбежное, — чего я так хотел и против чего так боролся, — я остаюсь у нее почевать.

Домой звоню, что в этот раз с увольнением не получилась. Теперь моя вина перед Зойкой неискупима, и покой души покидает меня окончательно.

А на дворе лето. Зойка огорчается, что не повидались, приезжает ко мне, вызывает в свободное мое время, и мы с ней встречаемся в специальной комнате, предусмотренной у нас на этот случай. В книге дежурного она почему-то записывается «сестрой»!

Зойка, как всегда, увлечена кучей разных дел. Она сообщает мне, что «по имеющимся у нее сведениям» женское самбо в ближайшее время «выйдет на всесоюзную арену», поскольку уже вышло на международную, и у нее большие перспективы. Она подробно описывает мне, какие новые приемы освоила, и даже пытается продемонстрировать их, вызывая недоуменные взгляды других гостей, пришедших повидаться с ребятами.

— Когда будем вместе, — увлеченно фантазирует она, — мы, между прочим, можем тренироваться. Такой матч семейный: одна команда — я, другая — ты. А? Идея? Или будем вдвоем выходить на семейные спортивные соревнования, сейчас это модно — соревнования семей, «папа, мама и я».

Она слегка краснеет и торопливо начинает повествовать о каких-то совершенно неинтересных мне делах.

Раньше, когда слышал от нее о нашей будущей семейной жизни, радовался, подхватывал, сам начинал фантазировать. А сейчас мрачнею, и настроение падает ниже нуля. Какой же я подлец! И лицемер к тому же. Раз себя казню, по ведучу по-свински. И это правдолюбец Жуков! Никогда не лгущий, никого не обманывающий. «Правдолюбец и святой» — по выражению Борьки Рогачева. Тут он не прав, а прав, когда говорил: «Ничего, придет время, тебе это выйдет боком». (Хотя имел в виду другое.)

Но когда мы с Зойкой дома, у нее ля, у меня, я все-таки на какое-то время обо всем забываю, мы дурачимся, болтаем, строим планы. Я счастлив, я люблю ее, она — мой отдых, моя отрада, моя мечта. Она — это розовый цвет, золотой, голубой. И я не понимаю, как может быть иначе.

Когда я у Лены, все иначе. Она — синий цвет, фиолетовый, порой огненно-красный. Она бесконечно красивая, какая-то роковая, с ней трудно дышать, с ней хочется замкаться. И потом любовница она фантастическая (большого

опыта у меня, конечно, в этом деле нет, но так мне кажется, а может, потому и кажется, что нет опыта...).

Такое вот полное раздвоение личности.

Иногда я все же пытаюсь анализировать. Что, собственно, происходит? Там любовь, тут увлечение, страсть. Там — радость душевной близости, здесь — физической. Там — любящая, нежная, «моя» девушка, невеста, будущая жена, здесь — роковая женщина, в которой никогда не уверен, которую ревнуешь, с которой очень хочешь расстаться и которую очень боишься потерять. Совершенно разные чувства. Ведь может же быть у мужчины несколько равно дорогих ему женщин — мать, жена, сестра, дочь, любовница? А? Мать, сестра, жена, дочь — может. А вот еще и любовница — нет. Не вписывается одновременно с женой. Одновременно с матерью или сестрой — да, с женой — нет. Почему?

И опять начинаются раздражающие душу переживания. Уносящие покой.

Влияющие, как мы знаем, на моральный фактор. А от этого страдает служба. В чем я скоро убеждаюсь.

Но надо думать, что, если наши пограничные посты находятся не в снежных горах, в глубоких ущельях, на берегу бурных рек, а чуть не в центре огромного города, за тысячи километров от границы, у нас не бывает попыток нарушителем эту границу перейти. Конечно, большей частью эти попытки связаны со всякими хитрыми манипуляциями с документами, фотографиями и т. д. Но изредка и с прямыми «прорывами», так сказать.

Мы однажды осматриваем самолет — пограничники, таможенники... Обычная процедура. Перед вылетом, после прилета, иностранный, оставшийся у нас ночевать. Осмотр рутинный, давно освоенный, сотни раз проводившийся, каждый делает свое дело, проверяет свой участок.

Не думайте, что это просто. Конечно, самолет не корабль. Но и не чемодан. В нем куча мест, в которых можно припрятать не то что мешочек с наркотиками, а контрабанду побольше. Но мы тоже не лыком шиты. Опыт у нас колоссальнейший, накопленный долгими годами. И все же, как говорится, и на старуху бывает проруха. Особенно, когда в роли старухи выступает сержант Жуков, чьи мысли заняты мучительным вопросом: у кого провести увольнение, у Зойки или у Лены.

С фонариком в руке двигаюсь в огромном чреве этого огромного иностранного самолета по привычному маршруту (мы здесь наизусть знаем, где какой винтик, в десятках, если не сотнях моделей самолетов с завязанными глазами обойдем все их помещения, не споткнувшись).

Вот груз, вот запасное колесо (у самолета они тоже есть с собой), вот пустые контейнеры, вот чехлы от двигателя...

Ну что еще может быть в грузовом отсеке? Все па виду. Выхожу, гащу фонарь, вытираю запыхлившиеся сапоги.

Но у нас осмотры и проверки двойные, тройные. Я хоть теперь и сам контролер, но мой наставник Прохоренко по-прежнему шефствует надо мной (потом уволится, а у меня появится подшефный, впрочем, я уже говорил об этом). Вот шедший после меня Прохоренко и обнаруживает нарушителя. Как этот человек пробрался в самолет, а главное, как надеялся остаться там незамеченным после многократных осмотров, непонятно. Но это тема другого разговора. В этот же раз мы стоим на поле, греемся на солнышке и вдруг видим всклокоченного, небритого, измазанного типа, который вылезает из самолета, сопровождаемый нахмуренным Прохоренко. Типа тут же увозят, а мы застываем неподвижно, не можем прийти в себя.

Неприятно вспоминать, во что мне обошелся этот случай. Помню только слова Прохоренко еще там, на летном поле, возле самолета. Отвел он меня в сторону и говорит тихо:

— Что ж ты, Жуков, очки теперь тебе требуются или что? Куда смотрел?

— Всюду смотрел, — оправдываюсь, — как обычно, как всегда.

— И чехлы от двигателей смотрел?

— И чехлы, — говорю, уже неуверенно.

— Ну и что — как обычно, там у стенки аккуратно сложены, да?

Смотрит на меня Прохоренко испытующе, а я пытаюсь вспомнить, как они лежали, эти проклятые чехлы. И не могу.

— Вроде как обычно.

Прохоренко вздыхает:

— Вроде. Да нет, не вроде. Не сложены они были — так в них не спрячешься. А скручены! Понял? Скручены. Вот там он и схоронился. Внимательней надо быть. Эх, Жуков, Жуков, учил, учил тебя, а ты...

Махнул рукой и отошел. А я не знал куда деваться. Поверите, свет не мил стал. Подумалось: господи, Зойка, Лена — какая это все ерунда, мелочь, вот настоящее несчастье, вот причина для горя, а я...

Да, урок жуткий был. Но урок пошел впрок.

Месяца не прошло, и судьба мне устроила экзамен. Честное слово, кто-нибудь рассказал — не поверил бы. В кино не придумашь.

Стою на «перроне», в смысле на поле, охраняя свой участок. На нем — эдакий приземистый самолетик ДС-9 — древняя зарубежная модель, но вот ведь летает. Утро раннее, туман наполз на поле, дальше поса ничего не видно.

Может быть, кому-нибудь, но не бдительному погранич-

нику. Вдвойне бдительному сержанту Жукову после того, как он получил хороший нагоняй из-за тех чехлов.

И я таки вижу, как возникает еле различимый из-за тумана силуэт. Возникает на мгновение. Как пропадает из моего поля зрения за приземистым самолетом, как еще секунду движутся ноги в том узеньком пространстве, что отделяет брюхо самолета от земли и как эти ноги исчезают. Все ясно, нарушитель залез в багажный люк. Откуда он узнал про этот самолет, откуда узнал, что вечером тот уйдет в дальние края, как собирался в самолете спрятаться (не мог же он предполагать, что перед вылетом аппарат не проверят!), вообще, на что рассчитывал — не знаю, разберутся, кому положено.

Как бы случайно сдвигаюсь к краю своего участка, поближе к тому самолету. Делаю вид, что ничего не заметил. А сам скрытно сообщаю (есть у нас такие средства) обо всем, что видел.

Буквально через минуту прибывает тревожная группа. Как-то внезапно вырывается из тумана. Быстро окружает самолет. А еще через минуту нарушителя вытаскивают за ушко и увозят. Благодарность мне не объявляют. За что? Но я счастлив — все же за те чертovy чехлы я реабилитировался хоть как-то, сняли взыскание. Прохоренко отмечает это по-своему.

— Вот видишь, Жуков, — говорит наставительно, — когда стараешься, можешь и не быть лопухом. Не зря все-таки я тебя учил, силы тратил.

Такая вот похвала.

И ведь что интересно — не к Лене на радостях побежал (увольнение дали), к Зойке. Это что-нибудь означает? Или случайность? Зойка счастлива — она всегда счастлива, когда у меня что-нибудь хорошее происходит. А Лена, по-моему, наоборот, она интуитивно чувствует, что я к ней иду, когда у меня не клеится.

Ничего не пойму! К кому идут с радостью, к кому с горем? Мое любовное раздвоение продолжается. С Зойкой сидим у меня, у нее, ходим в кино, иногда в компанию, даже в дискотеке однажды были (чтоб я еще в эту бапю когда-нибудь пошел! Ослеп, оглох, взмок, что за удовольствие...).

С Леной не ходим никуда. Сначала она пыталась соблазнить меня на поход в ресторан, даже хотела мне штатский костюм на рождение подарить (я на нее так посмотрел, что она быстро от этой мысли отказалась). Раза два к каким-то подругам водила. Они мне не понравились, и, по-моему, я им тоже. В конце концов пришли к тому, что все время наших недолгих свиданий проводили у нее, «занимаясь любовью». Так это у нее называется.

Вот теперь проявляется: значит, Зойку я, видимо, люблю, а с Леной любовью «занимаюсь». Интересно, да?

Время бежит, служба идет. Лето сменяется осенью. У меня на погонах появляется широкая зеленая полоска. Прохоренко уволился, я стал наставником. Мой подопечный Лебедев — очень серьезный, молчаливый парень ростом под два метра, мастер спорта по толканию ядра! Старательный до крайности. Все хочет освоить сам, уж если задает вопросы, то по делу.

Такая эстафета. Я задумываюсь — сколько прошли здесь до меня, сколько пройдут после? Сколько было смен? И где теперь те, что ушли? И где буду я? Впрочем, я-то известно, где буду — на границе. На какой вот, это неизвестно...

Да, теперь я опытный пограничник. Теперь я понимаю, что служба в Шереметьеве ничем не уступает службе на любой заставе, разве что температура здесь не падает до -50° и не поднимается до $+50^\circ$. Зато порой здесь один контролер в своей кабине заменяет целую систему, петляющую в глухом лесу или по гребням скал. Чувство ответственности в килограммах не измерить, но как же оно давит на плечи!

Это по службе. А в личных делах мои дела плохи. Невыносимо чувство раздвоенности. Сколько раз хотел сказать Лене: «Прощай», сто раз — покаяться перед Зойкой: скажу ей все, и пусть решает, прощать или казнить. И конечно, ни на что не решаюсь, мучаюсь, и нет у меня прежней радости, какой-то я все время хмурый и, по выражению Зойки, «далекий, будто инопланетянин». И вымещаю это на Лене, груб с ней, капризен. Она все сносит, и это мучает меня еще больше.

Я не знаю, чем бы все это кончилось, если б Лена не совершила роковой ошибки.

У нас напряжение на службе всегда, по степень разная. Например, если мы «на прилете», а туман кругом, то бездельничаем — самолетов-то нет. Бывает, что аэропорт по два дня закрыт. Или, скажем, в туристский сезон народу пруд-пруди, осенью — меньше. Ну и так далее. Теперь, когда я уже старший, да еще и образцовый, с увольнениями стало легче. Но иной раз их не бывает подолгу — служба все-таки, не дом отдыха, она свои требования предъявляет. В такие периоды Зойка иногда навевается в комнату посетителей и упрямо записывается как сестра. Есть у нас, приемыкая к проходной, такая комната, я говорил, здоровенное помещение, стоят низкие столики, коричневые кожаные скамейки, на стенах — фотоистория части, службы, разные правила и т. д. На окнах оранжевые занавески, так что кажется, будто всегда солнце на дворе. Обстановка, конечно, довольно казенная, но кто это замечает? Приезжают-то роди-

тели, родственники, подруги, они в этой комнате только своего сына, брата, жениха и видят.

Так что в наше свободное время — в субботу, в воскресенье — мы там можем принимать гостей. А для Зойки приезжать сюда — пара пустяков. Она приходит, называет мой номер, фамилию, дежурный КПИ звонит дежурному по этажу, я докладываю командиру взвода, и тот меня отпускает.

Замечу, что офицер обычно на это свидание сопровождает своего подчиненного — знакомится с родителями или девушкой, устанавливает, так сказать, контакт. Все-таки москвичей среди нас почти нет, и не так уж часто к ребятам гости приезжают. А я москвич, Зойка у меня бывала не раз, и мое начальство с ней давно познакомилось.

— Хорошая у тебя сестра, — подмигнул мне, помню, замполит при первом знакомстве, — правда, непохожи вы. Что ж, бывает.

Конечно, мы сразу ему открылись. Удивился, почему надо «сестра» писать, а не невеста. «Для конспирации», — Зойка говорит. Еще больше удивился, рукой махнул: «Все в куклы играете, ну-ну», говорит. Я потом Зойку ругал: «Ну что ты всех разыгрываешь, неудобно». Однажды и дежурный КПИ даже сказал мне неодобрительно: «Непохожие вы какие-то, от разных отцов, что ли?»

Так вот, у Зойки вдруг случились соревнования в Горьком. Представляете, соревнования по самбо для девчат! И, конечно, моя чемпионесса туда выдвинута и без ума от радости помчалась утверждать матриархат.

А у Лены отпуск, и она укатила на Черное море.

В связи со всеми этими событиями меня увольнения не очень интересуют. Я о них не думаю.

Вот тогда-то все и происходит. Есть такие старые, уже набившие оскомину поговорки: «Стреляет незаряженное ружье», «Муж из командировки возвращается всегда на день раньше» и т. д.

В свободное время читаю кое-какие учебники (последнее время я тайком почитываю, к училищным экзаменам надо ведь готовиться). Так вот, читаю, вдруг звонок: «Старшего сержанта Жукова приглашают. К нему гостя». Кто? «Невеста».

Не сразу прихожу в себя. Невеста? Вдруг срываюсь с места и бегу — наконец-то Зойка взялась за ум. Правда, дежурный, если попадется тот же, может слегка удивиться, не часто все-таки брат жепится на сестре. Ничего, поймет. Значит, побив всех соперниц, Зойка примчалась, чтобы показать мне золотую медаль. Командир отпускает, он привык, а кто ко мне пришел, я предусмотрительно не уточняю. Вбегаю в комнату и вижу... Лену. Загорелая, в свертхоткрытом

платье, красивая — дальше некуда. Стою столбом. Она подходит, целует, улыбается.

— Не ждал? Я на два дня раньше приехала, соскучилась ужасно. Когда сможешь в увольнение?

Я что-то растерянно бормочу в ответ, наконец спрашиваю:

— А почему ты невестой записалась?

— Ах вот что тебя беспокоит, — в голосе у нее пасмешка, но и грусть тоже. — Это единственная реакция?

— Да нет, — спохватываюсь. — Я рад. Просто удивился...

— Успокойся, — смеется, — это не намеки на предложение руки и сердца. Так что не пугайся.

— Ладно, — начинаю злиться и, как всегда, грубить. — Нам с тобой брак не угрожает. А насчет увольнения — сейчас напряженка. Посмотрим. Ты ведь знаешь, я об училище думаю, вот сейчас читал учебник...

Она встает, иронически улыбается.

— Извини, Андрей, не подумала. Училище — это главное. Я понимаю. Иди, занимайся. Сможешь в увольнение — жду, — помолчала и добавила: — Я ведь тебя всегда жду, Андрей...

Помахала рукой и вышла. А на глазах слезы.

Какая же я все-таки свинья. Ну за что я ее? И вообще, зачем все это? Всем от меня горе. Не всем, конечно, но вот ей. И Зойке. Повесив нос, возвращаюсь в казарму, беру учебник, но ничего, конечно, в голову уже не лезет.

Вот такая тем летом произошла история. Но если б этим все и кончилось. Проходит неделя, я весь в беспокойстве — пропала Зойка. Сама не обнаруживается, а когда звоню, ее мать отвечает, что Зоенька еще не приехала. Но отвечает как-то странно. Я же чувствую. Расспрашиваю. Мнется. Не приехала, и все. Звоню обычно вечером, чтоб Зойку застать. И вот однажды звоню утром. Понимаю — Зойки не застану, если приехала, то на работе. Но, может быть, Александра Степановна что-нибудь знает. Она подходит.

— Ничего нового? — спрашиваю.

И вдруг она всхлипывает и шепчет в трубку:

— Андрюша, приходи обязательно сегодня вечером...

— Александра Степановна, — кричу, — что случилось с Зоей? Говорите же!

— Андрюша, приходи, все сделай, чтоб прийти...

И голос у нее какой-то надломленный, и плачет вроде.

— Да скажите же, что случилось! — уже ору. — Я постараюсь, но вдруг не получится... Скажите!..

— Приходи, Андрюша, — шепчет и кладет трубку.

Бегу к замполиту. Наверное, вид у меня такой и голос, что отпускает, тем более, что, мол, смена свободна.

Вылетел пулей, в автобус чуть не на ходу вскочил. От

автобуса до Зойкиного дома бегом. У двери ее чуть не задохнулся, сердце так стучит, что, наверное, в Шереметьеве слышно. Все же немного отдышался, звоню. Дверь открывает Александра Степановна. В глазах радость и беспокойство. Затягивает меня в переднюю за рукав, шепчет:

— Иди к ней, иди, Андрюша...

А из комнаты слышу Зойкин голос:

— Кто там, мам? Кто пришел?

Мы молчим, и Зойка в обычном своем халатике, в котором она на первоклассницу похожа, выходит в переднюю. Видит меня. Бледнеет, даже губы побелели, смотрит на мать и говорит:

— Это ты, мама? Да? Я ж просила тебя! — и исчезает в комнате.

Я, не сняв фуражки, бросаюсь за ней.

Александра Степановна тихо прикрывает дверь, и мы с Зойкой остаемся наедине. Смотрим друг на друга долго. Стоим, не двигаемся. Наконец она спрашивает:

— Зачем пришел?

Она теперь совершенно спокойна, руки засунуты в кармашки халата, лицо не бледное, а, наоборот, покраснело — у нее всегда так, когда она злится или возмущается. Я тяжело дышу, не могу произнести ни слова и ничего не понимаю.

— Так зачем пришел? — повторяет ровным голосом.

— Зойка, — хриплю, — что произошло? Куда ты делась? Почему ты такая? Объясни же!

— А почему тебя это интересует? — вскидывает брови. — И как тебе удалось вырваться? Или женатым теперь разрешается жить в городе?

— Женатым? — сначала я ничего не понимаю, потом начинаю доходить, у меня аж холодеет затылок.

— Зойка, — бормочу.

— Что «Зойка»? — спрашивает уже громко. — Что «Зойка»? Разве свадьбы еще не было? Ты чего пришел? Еще не выбрал? Да? Так я тебе выбор облегчу. Считай, моя кандидатура отпала. Ясно? На ней и женись. Она ж твоя невеста. Не я, она!..

Кричит.

Я подбегаю к ней, сжимаю в объятиях. Хотя и сильная она, и отбивается отчаянно, но со мной-то ей не справиться. Да еще в эту минуту. Некоторое время мы боремся на пределе сил. Наконец она сдается, обмякает и начинает рыдать, громко, в голос. Головой утыкается мне в грудь, обнимает за шею, что-то бормочет...

Я ничего не слышу, только еще крепче обнимаю ее, целую, глажу волосы, сам чего-то говорю...

Ну в общем, о чем рассказывать. Не в лучшем виде я

тогда выглядел. За пять минут столько мыслей в голове пронеслось, все путалось. Но главная — как я мог, как я только мог с кем-то, кроме моей Зойки, встречаться, гулять, говорить, целоваться и все остальное!.. Ну, чудовище я. Негодяй. Подлец. Как только себя не корил, как только не проклинал...

Зойка добрая, еще девчонка она неопытная и совсем растерялась от того, что на нее обрушилось. Ничего не могла понять. Не готова она к таким вещам...

— Знаешь, Андрей, если б не мама, я, честное слово, тогда под поезд бросилась бы. Подумала — одна она у меня, старенькая. Только это и удержало...

Плачет, всхлипывает, бубнит чего-то. Не сразу мне стало ясно. Наконец понял.

Оказывается, она тоже со своих соревнований вернулась на два дня раньше (надо же такое!) — и ко мне. Подходит к дежурному, просит вызвать, он в журнал смотрит и спрашивает:

— А вы кто будете?

И тут моя Зойка впервые (именно теперь!) отвечает:

— Невеста.

Дежурный хмыкает и лягает:

— Интересно получается — в один день две невесты. Завидую товарищу Жукову. И ведь красотки обе, — и смеется.

Зойка смотрит в журнал и видит: да, к старшему сержанту Жукову только что приходила невеста. Она не различает кто, как зовут, фамилию, она ничего не различает, убегает, бежит сломя голову по шоссе, вдоль железнодорожных путей, готовая броситься на них. Но вот подумала о матери, вернулась домой и всю неделю жила как во сне. Поклялась, что имя мое забудет. Спасибо, Александра Степановна — тоже вся испереживалась — позвала меня.

Помирились мы тогда. Очнулся. Посчитал, что все, что с Леной было, сон, гипноз, ведьмин заговор. Иногда только вспоминал о ней. Кольнет и отпустит. Она порядочной оказалась, ни разу о себе не напомнила, да и из аэропорта исчезла. Уж куда — не знаю, не пытался узнать.

А с Зойкой все пошло по-старому. Только я потребовал, чтобы она теперь всем говорила, что моя невеста. Решили, как в училище поступлю, сразу свадьбу сыграем и дня ждать не будем.

Я был счастлив, я все эти годы, что прожили мы с Зойкой, был счастлив. А запоза все же осталась, хоть и притупилась со временем, но иногда кололо внутри.

И сейчас, когда я безуспешно гонюсь за той белой птицей в моем белом забытии, я кричу про себя, что должен выжить, должен жить, жить не ради себя, ради Зойки, что

не имею права огорчить ее своим уходом. Тогда мысль о матери удержала ее в жизни, теперь мысль о Зойке должна удерживать меня. Во что бы то ни стало! И теперь, на краю смерти, когда дни мои измеряются алыми каплями, что падают в стеклянный сосуд у кровати, я отчаянно хотел жить, и та белая птица, за которой я гнался в белом тумане, наверное, и была жизнь. Она стремилась упорхнуть от меня, но своим неистовым желанием выжить я не отпускал ее, удерживал на нитке.

Тонкой, тонкой, еле различимой в спящей белизне нитке...

Глава IV

МЕТРОСТРОЕВСКАЯ, 38

Если детство, если школьные годы называют золотой порой, то годы студенческие, для меня во всяком случае, я бы окрестил как пора бриллиантовая. Не было в моей, как теперь уже ясно, короткой жизни более счастливого времени. А ведь повидал кое-что на своем веку, которому суждено так скоро оборваться. В каких странах и городах побывал, с какими людьми встречался, каких женщин знал! Эх... Студенческие годы — бриллиантовая пора!

«Почему?» — спросят меня. «Да потому, — отвечу, — что не было у меня забот, тревог, неприятностей, не было сожалений и разочарований». — «А что было?» — спросят меня. «А были, — отвечу, — радости и успехи, солнечные утра и беспечные вечера, интересная работа и веселый отдых, а главное, непоколебимая и железная уверенность, что так будет всегда, что суждена мне замечательная жизнь, поскольку сам я замечательный, единственный и по праву ее заслужил».

Теперь-то я понимаю, сколь наивна, претенциозна и неправомерна была эта уверенность. Да не теперь, а много раньше я это понял. Но, к сожалению, все равно слишком поздно.

А как было бы здорово, если б люди могли заранее знать о всех глупостях, которые готовы совершить. Вот предлагают тебе что-то, и ты уже почти дал согласие, встретил кого-то и собираешься довериться ему, наблюдаешь жизнь вокруг и не сомневаешься, что это и есть настоящая жизнь, а тут — стоп! Загорается красный свет перед твоим носом, и ты понимаешь, что предложение обманное, что человек доверия не заслуживает, а та жизнь — всего лишь голливудская декорация. И останавливаешься на краю. Пусть даже на самом краю, но останавливаешься. Увы, никому, даже самым опыт-

ным гадалкам и астрологам знать будущее не дано. Зато всем дано совершать дурацкие, а порой и роковые поступки. Поздно я это понял. Ну, ладно, все это было потом. А тогда было по-другому. На пять лет моей штаб-квартирой, вinovат, альма-матер стал старый дом по Метростроевской, 38, с небольшим сквером перед ним, в котором стоял памятник вождю французских коммунистов.

Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза — не просто высшее учебное заведение, это пусть не МГИМО, но тоже своеобразный пажецкий корпус, эдакое братство, осчастливленные члены которого узнают друг друга не по масонскому знаку, конечно, но сразу узнают, встречаясь порой в самых далеких уголках планеты.

Кроме того, институт всегда, еще с довоенных времен, славился своими красивыми студентками. Помню, как веселился я, наблюдая за расфранченными вьюношами, с воинственным видом толпившимися перед концом занятий у нас в вестибюле. То были чужие, пришедшие встретить своих подружек — наших студенток. Они нетерпеливо топтались, бросая по сторонам ревнивые и подозрительные взгляды.

Парень я, как известно, видный, и мое появление в институте не прошло незамеченным среди женского поголовья, но после того, как я на первом же вечере появился со своей Ленкой, все утерлись. Даже им, нашим красоткам, с ней было не тягаться. Ленка в те годы достигла пика своего экстерьера, к тому же работала манекенщицей и соответственно одевалась. Куда там, не было ей равных. (Где-то она теперь и что подделывает? Моя Ленка...)

Нет, не следует думать, что я оскорбил свою альма-матер, пренебрегши ее прекрасными дочерьми и не заведя нескольких романчиков. Но это было так, между прочим. Я же не виноват, что у меня такой характер. И пусть мне не делают упреков, я ведь не осуждаю тех, кто курит! И потом нельзя держаться в стороне от людей, тем более одноклассников, не ходить на вечеринки, не выезжать на пикники, вообще не участвовать в общественной жизни. Я не забыл наставлений моей мудрой подруги Натали насчет характеристики. Свое будущее надо зарабатывать.

Не забыл я и других ее советов — о проникновении в киноиндустрию. Тут я нажал на все педали. Если б речь шла о «Тур де Франс», я наверняка носил бы желтую майку. У отца обнаружились неожиданные и весьма солидные связи с разными международными боссами в Госкино. У них тоже есть свое братство — когда-то вместе учились в институте или в Академии внешней торговли или еще где-то общались. А кому-то отец в чем-то даже помог — теперь пусть они помогают мне. Выяснилось, что есть у нас целая куча

международных органов, половина которых, как я потом убедился, никому, кроме работающих там функционеров, не нужна: есть международный отдел «Мосфильма», «Экспортфильм», какая-то контора по организации международных кинофестивалей и т. д. и т. п. И всюду нужны переводчики, тем более моего класса.

Кроме того, я прямо изумился, когда узнал, как много есть мест, где регулярно демонстрируются зарубежные фильмы, которые на широкий экран не пускают. Я уж не говорю про Госкино и разные студии — там небось для дела, но еще и в Доме кино, в Доме литераторов, ВТО, ЦДРИ, в журнале «Советский экран», в разных газетах, клубах, кое-каких санаториях и домах отдыха...

И всюду нужны переводчики. Тем более моего класса.

А мне нужны бабки. И зарабатывать я их совсем немало. Да еще стипендия. Да еще обнаружил одну халтурку — разные письменные переводы для ВГИКа, для журналов. До того дело дошло, что от некоторых работ пришлось отказываться. Скажем, для спортивного журнала не беру, я, видите ли, теперь специалист узкого профиля! И высокого класса.

Интересные отношения у меня сложились с Натали. Они все больше приобретают какой-то дружеский, я бы сказал, деловой характер. Иногда она приносит мне всякие заграничные шмутки — женские и просит загнать.

— Вашим-то чувихам в институте наверняка сгодятся.

Я беру и загоняю, только не в институте — я еще с ума не сошел, — а как раз среди той компании, в которой сейчас все чаще обретаюсь, разных околкиношных девиц и парней — переводчиков, участников массовок «под заграницу», манекенщиц, художников, мелюзги из съемочных групп и вообще каких-то уже совсем туманных типов, которых все знают, но никто не знает, кто они.

А бывает, что я ей приношу чего-нибудь толкнуть. Только не надо думать, что я эдакий фарцовщик. Ни-ни! Ну, просто у нас свой такой мирок — обмениваемся пластинками, пленками, сувенирами, книжонками — все больше детективы, ерундой разной. Ну вот, иногда кое-какой одежкой, редко, разве кто попросит, как Натали.

И вдруг она делает мне сюрприз.

Мы провели вечер в одной компании, наплясались — пятки горят, она чуть перехлебнула (не я, я железно, как и раньше, воздерживаюсь, хотя спорт слегка забросил, в волейбол иногда стучу за институтскую команду).

Идем по зимней ночной Москве.

Москву свою я обожаю, мало сказать — люблю. Эх, перепести б ее в Майами. Между прочим, в Америке есть город Москва. Вот бы побывать там когда-нибудь! Но снег в ней вряд ли есть. Не то что здесь.

Мы идем переулками, где снег ватными валиками лежит вдоль тротуаров, залегает в маленьких двориках. Снег тихо опускается со светлого ночного неба, щеколет снежинками нос, щеки, тонким ковриком стелется под ногами. В окнах темно, лишь изредка светится какое-нибудь...

Я настроен на лирический лад. Мы идем тесно прижавшись, под пушистой огромной шапкой я не вижу лица Натали. Молчим. И вдруг она говорит негромко, деловито, словно продолжает беседу:

— Так что вот, Боб (Боб — это я), выхожу замуж.

До меня не сразу доходит, и машинально я еще делаю несколько шагов. Потом останавливаюсь. Поворачиваю ее к себе, всматриваюсь в лицо.

— Замуж? — говорю.

— Замуж, — подтверждает. — А почему тебя это так удивляет? Пора, засиделась в девках, все принца ждала. Теперь дождалась. — Потом треплет меня по щеке и добавляет: — Ну, не могла ж я выйти за тебя. У нас кое-какая разница в возрасте, — смеется. — И потом, не сердись, Боб, ты — не принц. Врать не хочу, кое в чем ты прямо король. Но в мужья мне не подходишь. Да и сам бы не женился. Верно?

Молчу, соображаю. Права она (как всегда), чего уж там говорить. Ну, какой из меня муж? Смешно. Но мне все-таки грустно с ней расставаться, привык (вот, привык, что есть у меня и Ленка, и она, что мне теперь, стреляться? Такой вот у меня характер).

Она словно читает мои мысли:

— Нет, с тобой у нас ничего не изменится. Все, как раньше.

Вот тут я прихожу в себя. И размышляю — не разыграть ли крупную сцену: «Ах, так, прощай!»

И опять она читает мои мысли.

— Что молчишь? Будем так же встречаться. Ну, поменьше в кабаках показываться. Да он у меня все больше в разъездах.

— А мое мнение тебя не интересует? — эдак запальчиво спрашиваю. — Устраивает меня совместительство? Может, надо взять у него справку с разрешением. Так, кажется, кадры требуют?

Она долго пристально смотрит на меня, вздыхает и говорит:

— Ты-то у меня справки для твоей Лены Царновой не брал, да и у нее, наверное, не требовал. Что ж теперь вдруг понадобилась?

Я ошарашен, потрясен, уничтожен... Значит, все это время она знала о Ленке. И не только не сказала, даже виду не подавала! Хорошо, что ночь и фонари уже погасили. Ни-

какой коллекционный помидор сейчас со мной по цвету не сравниться.

— Наташа... — бормочу.

Она опять вздыхает, берет меня под руку, мы продолжаем путь. Молчим. Наконец она нарушает молчание.

— Хорошо мне с тобой было. Когда узнала, огорчилась, конечно, но что делать. Я понимала, что ты ее выберешь. Но мне-то с тобой хорошо. Вот и оставила все, как есть, о ней не думала. Ну, как если б ты был женат, могло ведь быть такое? А теперь ты смотри, неволить не хочу, но если расстанемся, мне будет жалко. Больно будет...

— А он кто? — задаю никчемный, но обычный в таких ситуациях вопрос (как будто, если он министр, меня это устроит, а если дворник — нет, или наоборот).

— Тренер, — отвечает, — футбольный тренер, — и называет фамилию, которую знают не только любители спорта в нашей стране, но во всем мире. Да! Вот это муж! Он небось раз в двадцать больше моего отца по заграницам ездит, и уж у него не «Жигули» личные, а наверняка «Волга» новой модели. Отхватила Натали моя. Впрочем, теперь уже не моя.

И опять она читает мои мысли. Вечер Вольфа Мессинга.

— Жить будем, конечно, неплохо, — говорит она в прощанье, — знаешь, Боб, так надоело крутиться-вертеться, гоняться за этой красивой жизнью («красивой» произносит прастяжку: «красинивой»). А потом, я ж говорю тебе, он десять месяцев в году в отъезде. Так что утомлять меня не будет. А ты пока здесь. Но если не хочешь, — добавляет, помолчав, — скажи. Навязываться не собираюсь. Решай.

Я уже решил. Опять останавливаюсь, поворачиваю ее к себе, целую в холодный нос. Что это — неужели у нее на глазах слезы, или мне это показалось?

Вот так у нас произошло. И действительно вначале ничего не изменилось. Перемены пришли потом...

Оказалось, что студенческие годы тянутся не быстрее школьных. И, между прочим, довольно скучновато. Занятия, экзамены, трудовой семестр, занятия...

Все же я сумел внести в эту жизнь пемалое разнообразие. Во-первых, я успешно заменял трудовые подвиги стройотрядов спортивными подвигами. Снова занялся легкой атлетикой, и меня летом регулярно отзывали на разные сборы, тренировки, соревнования. Я завязал очень дружеские отношения с начальством из «Буревестника», и если даже у тренера возникали сомнения в острой необходимости видеть Рогачева в составе команды, то у начальства сомнений не было.

Во время учебных семестров меня не раз откомандировывали в распоряжение для работы с делегациями. Язык я

знал великолепно, учился на пятерки — почему не отпустить. К тому же декан ко мне благоволил, он тоже увлекался английскими детективами, разумеется, не афишируя, и я ему кое-что доставал.

Ну, а главное, за нудные занятия меня вознаграждала моя «вторая жизнь», увлекательная кинодеятельность.

На личную жизнь тоже не жаловался: Ленка, все еще Натали, потом эта Люся или Лиза — сейчас уже не помню. Разные бабочки-однодневки.

Словом, жил, хорошо жил. Но мог бы лучше. Все-таки многого у нас нет, что украшает жизнь, например, порнофильмов. Кстати, не вижу в них ничего плохого. «Отвратительно! Гнусно! Нетишично для нравственно здорового общества!» А убивать, воровать, грабить, драться, разводиться, изменять жене, брать взятки, спекулировать... это не отвратительно, это типично? А между тем фильмы про все это показывают, они даже премии получают. Зачем? А чтобы вызвать всеобщее осуждение, чтобы мы, молодежь, прежде всего не брали пример, не совершали всех этих мерзостей. Вот и порнофильмы: смотрите их, гневно осуждайте и не делайте того, что там показано!

Ну а, честно говоря, интересно, щекочет... Так что, я охотно ходил к Джону Жановичу (Ваньке Иванову) смотреть его «видик» (ему тоже отец привез откуда-то, а уж кассеты Джон Иваныч сам доставал).

Между прочим, мой отец куда мудрей его отца. Он, когда привез нам видеомагнитофон, сказал мне:

— Вот что, Борис, смотри заграничные фильмы, обменивайся с товарищами, я буду привозить, но, учти, если узнаю, хоть один раз узнаю, что всякие сомнительные, ну, ты понимаешь меня, приносишь, в тот же день разобью аппарат. Или снесу в комиссионку, — добавил он, подумав.

Я это запомнил. И хожу к друзьям. Мудрость отца я понял однажды, когда узнал, что в семье Джона Жановича произошла катастрофа. У отца его на таможне отобрали датские кассеты, пришли с обыском, обнаружили целый секс-шоп — порнографический магазин, Джона взяли за жабры, он, конечно, раскололся. Выяснилось, что нас-то он приглашал как равных, а была у него еще киноаудитория коммерческая — по пятерке, а то и по десятке драл за сеанс. Когда его допрашивали, он всех этих любителей высокого искусства (кинематографического, разумеется) тут же заложил. А вот пор нас, равных, смолчал, вечная ему за это признательность.

Но урок я извлек, и к кому попало уже не ходил, порнографические журнальчики дома не хранил и показывал только самым надежным, а уж для пересъемки (как раньше) ни-ни, никому не давал! Себе дорожке.

И еще один звоночек прозвенел, не помню, кажется, на третьем курсе учились.

Я уже вспоминал, как активно окунулся в общественную жизнь. И дернул меня черт пойти в дружинники, спортсмен, как же, неловко вроде бы в стороне оставаться.

В конце концов, ничего страшного в этом не было. Жалко, конечно, тратить вечер, бродя по улицам возле пивных ларьков (были они тогда) или по аллеям Парка культуры. Зато слава героям — красные повязки, удостоверения. А уж когда я остановил какую-то драку и доставил в милицию двух пьяных пацанят, так вообще благодарность получил. Давай, давай, Рогачев, воздвигай характеристику!

Но однажды едва не случилась трагедия. Для меня. Хорошо, что едва.

У меня порой возникало странное чувство. Словно я шпион в стане врага. Вот институт, спортивный клуб, дружина, наши собрания, митинги, мои товарищи по курсу — все это какой-то стан, в который я внедрился и веду там разведку, притворяюсь, что я «из наших», а сам... из других.

И не потому, что я против наших, хочу им зла. Нет! Я во многих делах, в соревнованиях, например, в дискуссионном клубе, в шестфе над теми, кто отстаёт в устной практике, с удовольствием сам участвую, а то и закоперщиком бываю.

Нет! Просто я участвую во всех студенческих делах умом, вернее, разумом, а не сердцем, потому, что так нужно (а если честно, выгодно для меня).

Словом, притворяюсь. Задание такое имею. От самого себя.

Да, так вот. В вечер моего дежурства на инструктаже незнакомый капитан с Петровки отобрал человек пять здоровяков-спортсменов, меня в том числе, и говорит:

— Идем вывлять фарповщиков. Они собираются у церквушки в Обьденском. Повязок не надевать. Незаметно, по одному подойдем, смешаемся, посмотрим, кто там и что. Одевы вы подходяще, думаю, не всполошатся.

Деваться некуда, идем.

Действительно, какие-то тени в темноте сходятся, расходятся, шепчутся, чего-то друг другу передают. Картина, в общем-то, знакомая, сам я, конечно, в таких сборищах не участвовал, но знаю, даже видел пару раз, как кое-кто из моих знакомых работает. Влад, например. Ну, это профессионал. Он мне частенько кассеты, книжонки, один раз кеды приносил, еще кое-что. Не на улицу, конечно, в кафе-стекляшку. И что ж я вижу? Этот самый Влад там мотается: чувствуется — авторитет.

Я сразу воротник поднял, отворачиваюсь, боком-боком, в сторону. Уж не знаю, что там случилось, вдруг слышу крик, топот, свистки, народ врассыпную, мимо меня Олег проно-

сится — это старший наш, да я его мало знал, — и, вижу, хватает Влада. Тот вырывается, но Олег — парень здоровый, держит крепко. Зовет помочь. Меня, к счастью, не видит, я стараюсь исчезнуть. Вдруг Влад выхватывает нож и бьет Олега в живот, еще раз, тот падает, а Влад растворяется во тьме.

Но, оказывается, нас подстраховывали. И минуты не прошло — двое оперативников волокут этого Влада, подлетает машина, его увозят. «Скорая помощь» увозит Олега. Еще там кого-то задержали.

А потом начинается следствие. Олег — в больнице. И вот только он Влада признал. Других свидетелей нет. Никто ничего не видел. А я?

Сколько я тогда почей не спал, как первичал, чуть было с Ленкой не стал советоваться, Натали хотел все рассказать. Ведь если дам показания, устроят мне с Владом — чтоб ему пусто было, подонку! — очную ставку. И уж он тогда молчать не будет, все наши с ним делишки выплывут. Конечно, перед законом я отмоюсь, а вот перед комсомолом — черта с два. Но он же убийца!

Жуткое дело — на такой вот суд своей совести попасть. Врагу не пожелаю. Сунул я ему палец, а получилось — вся рука увязла. Решил так: если Олег не выкарабкается, пойду и все расскажу. Или лучше напишу, пошлю в милицию. Без подписи...

Олег выжил. Влада этого прижали как следует, короче, признался он в конце концов. Упекли его надолго. А я стал умнее, понял: не надо с кем попало дела иметь. Семь раз отмерь — один отрежь, когда друзей выбираешь. А уж таких вот — торговых партнеров, и подавно.

Олегу каждую неделю в больницу передачи будь здоров какие посыл. Долго он за жизнь боролся, слава богу, победил. Боец, настоящий!

Такие, значит, получил я два предупреждения, два урока. Эх, запомнить бы их на всю жизнь. И жил бы спокойно. Так нет, не сумел, посчитал себя умнее всех, и вот что теперь из этого вышло...

С Жуковым мы в те годы виделись не часто. Хоть и служил он свою пограничную службу в Москве (для него это сначала прямо трагедией было), но оказалось, что свободного времени у него почти нет.

Но иногда мы все-таки видимся. Это тогда, когда у него, во-первых, увольнительная, а во-вторых — его Зойка занята. Вообще, я не удивлюсь, если они поженились, ей-богу. Он ведь мечтает в это свое пограничное училище поступить, а это значит — на несколько лет остаться в Москве. Так в чем дело? Уж не знаю, где курсанты живут, но женатые, наверное, дома. А дом у них есть. Что до Зои, она учится в

инфизкульте, у нее полдюжины разрядов — по волейболу, ручному мячу, легкой атлетике, лыжам. И самбо она тоже не забросила. У них там какая-то секция в ГЦОЛИФКе, эдакий дамский кружок кройки и шитья.

Да, так вот, изредка сержант, а позже старший сержант Андрей Жуков, сверкающий, как его сапоги, жутко элегантный в своей пограничной форме, появляется в моем доме. У меня такое впечатление, что он не только внешне, но и вообще изменился — стал как-то строже, серьезней (хотя он никогда излишней развязностью не отличался), «душевно массивней» он стал (а? Как сказано? Сам придумал!).

— Ты, — говорю, — иной раз так на меня смотришь, словно обнаружил в моем чемодане запрещенную для вывоза икру.

— Этим мы не занимаемся, — говорит без улыбки, — это дело таможенников. А икру можешь вывозить — сто пятьдесят граммов.

— Такими порциями я только водку потребляю, — острою (между прочим, правда, не водку, а коньяк, коктейль, шампанское я что-то последнее время стал слегка употреблять, не часто, но все же; а попробуй иначе в моих компаниях или с нужным народом...). — Как вообще-то служба идет?

— Идет, — отвечает (он не любит говорить о своей службе), — идет потихоньку. А как на кинематографическом фронте?

Тут наш и без того хилый диалог превращается в монолог. Я долго, подробно и с удовольствием повествую о своих делах. И вот я замечаю, что он как-то странно меня слушает, с какой-то снисходительностью. И начинаю злиться. Нет, подумать только, встречаюсь в центре культурной жизни, встречаюсь со знаменитыми людьми, и не только нашими, но и иностранными — актерами, режиссерами, журналистами, а он сидит в будке и проверяет паспорта! Работа! На десять порядков ниже моей. А у него такой вид, словно это он занят делом, а я так, дурака валяю.

Но поскольку у него только вид такой, а сам-то он молчит, придаться мне не к чему, и я злюсь еще больше. И еще больше хвастаюсь.

Когда паконец мои три колодца красноречия иссякают и я умолкаю, он спрашивает (будто ни слова не слышал из того, что я говорил):

— Как Ленка?

— Ленка прекрасно, — отвечаю тускло, поскольку весь запал истратил на освещение моей государственной деятельности.

— Под венец не собираетесь?

— В хомут не собираюсь (это я мицу, намекая на них с Зойкой).

Он пикировки не поддерживает и переходит к другим темам.

Конечно, не всегда наши разговоры протекали в те времена в таком ключе. Иногда он даже заходил с Зойкой, если у меня была Ленка. Однажды были вместе на эстрадном концерте, другой раз — на футболе. В рестораны, понятно, мы не ходим. Я говорю ему:

— Но в штатском-то можешь? Волосы отросли.

Он посмотрел на меня с таким видом, словно мне ампутировали ногу. Только что слезы на глазах не выступили. Нет, служба его здорово изменила, как будто он чего-то знает, чего я не знаю, и вообще выше меня метра на два. А мы, между прочим, одного роста, оба за сто восемьдесят вымахали. Акселераты, но взрослые.

Замечаю интересную вещь. Не часто мы тогда с моим одноклассником встречались, я уже упоминал. И вот заметил, что от встречи к встрече растет у меня странное ощущение: не одобряет меня товарищ Жуков, осуждает. За что? Неизвестно! Причем не только мне, но и ему. Нелогично? Согласен. И все же вот такое чувство. Будто, чем дальше он служит, тем лучше меня видит. Их там, наверное, пограничников, специально тренируют без биноклей на Марсе каналы высматривать. Вроде бы он проницательней становится.

Ну ладно, ну пусть, но что во мне разглядывать! Я, между прочим, не диверсант и не шпион и никогда таковым не стану. А он вроде бы взглянет на меня и, эдак загадочно улыбувшись, про себя спрашивает: «Не станешь? Ой ли?»

Такое вот у меня дурацкое ощущение. Будто мой лучший друг Жуков про все мои мелкие грешки знает и их не одобряет. Интересно, к чему бы? То ли я все больше обо что-то пачкаюсь, то ли он чище становится. Ну бред! Галлюцинации, но вот такое ощущение... А может, мы взрослеем? Идем своими, теперь уже не параллельными дорогами. Может быть. Только где сказано, что моя хуже? Мы как-то даже поспорили.

— Слушай, — говорю, — не разочаровался? Не надоело?

— Что именно? — спрашивает, хотя я прекрасно понимаю, что он понимает.

— В солдатах ходить, в зеленых фуражках. Был бы ты в партии «зеленых», так хоть природу бы охранял, а сейчас что охраняешь? Страну? Так, во-первых, на нее никто нападать не собирается, а во-вторых, других, что ль, нет, поглубей?

— Поглупей есть, — отвечает и выразительно (свинья!) смотрит на меня. — Только лучше без них обойтись. А вот тебя жаль.

— Да? — вскидываюсь.

— Да, — подтверждает. — Обычно люди с годами умнеют...

— Ох, ох, как остроумно!

— Не очень, конечно, находчиво, — качает головой, — зато верно. Эх, мало я тебя порол в детстве, Рогачев! Мало. Надо бы почаще встречаться.

Но встречаться часто не удавалось.

И все-таки самая наша грандиозная встреча произошла, когда он свою службу заканчивал, а я на третий курс перемехнул.

Впервые я еду за рубеж!

В Болгарию. В Киеве ни разу не был, в Тбилиси тоже, а в Болгарию намылился. Группу отличников и отличных общественников, включая, разумеется, Бориса Рогачева, по линии «Спутника» отправляют в составе интеротряда. Будем помогать болгарским друзьям строить жизнь. Там ожидается народ из разных стран, в том числе англичане, американцы, канадцы, короче — англофоны, обучающиеся в НРБ. Ну а тут уж я король!

Приезжаю в Шереметьево-2 (отец служебную «Волгу» предоставил). Дождь, я шляпу надел (важная деталь для последующего). Икры взял триста граммов (не убьют же из-за ста пятидесяти лишних! Кстати, того самого взял в десять раз больше — полтора литра правилами разрешено).

Собираемся веселым табуном под гигантским, хорошо мне знакомым табло расписания вылетов и прилетов — сколько раз провожал отца.

Заполняем декларации, проходим таможенную, нас не смотрят (чего с них взять, с бедных студентов?), девушки — таможенные инспектора (между прочим, есть о-го-го!) косят красивым глазом на экран рентгена, или как он там называется, аппарат, который чемоданы просвечивает, и гуляют дальше.

Дальше сдаем билеты и чемоданы и налегке идем на паспортный контроль. Там такие круглые столики, как в кафе-стоячке, и надо заполнить зеленый листок и уже с ним идти к контролю. Это будки — одна сторона стеклянная, внутри пограничник, кладешь перед ним паспорт, он его забирает, колдует над ним, ставит штамп и возвращает. Минуете дверцы и... ты — за границей.

Так вот, я стою, жду очереди, болтаю с ребятами, а когда поворачиваюсь и тяну паспорт, кто б вы думали передо мной — часовой границы, старший сержант товарищ Жуков. А. А! Рядом с ним — молодой сержантик, учится, наверное, как и ты. Я в восторге!

— Здорово, урки, — остро, рот до ушей, — привет с воли!

Он смотрит на меня, как на противоположную стенку,

сквозь меня. Берет паспорт, колдует. Я растерянно молчу. И вдруг он вперяет в меня взгляд, на этот раз прямо-таки инквизиторский.

— Будьте добры, снимите шляпу, — говорит.

Ну? Как вам это нравится? «Снимите шляпу». Это он говорит мне!

— Ты что, — шиплю, — совсем того?

— Пожалуйста, — повторяет тихо, ровно, терпеливо, — снимите шляпу.

— Ну знаешь!.. — фыркаю, но шляпу снимаю. — Чокнулся!

Он опять смотрит на меня. Со стуком ставит штамп на паспорте и так же ровно произносит:

— Проходите, пожалуйста.

— Ну, даешь! — очень остроумно говорю я и прохожу.

Он что, с ума сошел? Может, решил, что у меня фальшивый паспорт или я загримированная Галина Кронигровна? Потом выпускаю пары и думаю — может, так полагается? В конце концов, всюду свои правила. Он же не приходит в мою переводческую кабину учить меня синхронному. Стараюсь, в общем, оправдать его. Друг ведь...

Проходим через длинную трубу. У входа нам улыбаются стюардессы (две — о-го-го!). Мы рассаживаемся, я успеваю занять место у окна. Как всегда, какое-то время неизвестно чего ждем, потом рукав отходит, нет, это наш самолет отходит, долго рулит до взлетной полосы, застывает как бегун на старте и начинает бешеный разгон. Затем отрывается — наступает покой и тишина. Внизу еще некоторое время вижу зеленые рощи, поселки, шоссе, канал, водохранилище. Постепенно мы поднимаемся все выше и выше, землю накрывают белые облака, дождь тоже остается внизу, и мы выскакиваем на солнечные, прямо-таки снежные просторы. Хоть вылезай в иллюминатор, становись на лыжи и шпаль туда, за горизонт. Гаснут указующие надписи на табло, я сбрасываю привязной ремень, откидываю кресло и погружаюсь в кейф. Я и сейчас (сейчас особенно остро) помню то мое состояние, ощущение полного абсолютного счастья. Я — за границей! Конечно, Болгария — не Америка, ничего, побываю и там. Все, что хотел, о чем мечтал, исполняется! Все! Золотая медаль за школу, нязя, прочное место в моей широко раскинутой кинематографической сети, интересные фильмы, пышные фестивали с разными банкетам, общениями, поездками, меня ценят в институте — я отличник, общественник, спортсмен... Нет врагов, много друзей (ну, скажем так, приятелей). Есть Ленка, которую я люблю (люблю?), которая при мне, как Акбар у Жукова, или как домашняя кошка, есть (хоть и реже теперь видимся) Натали, мудрый советчик, надежный товарищ, а когда и коммерче-

ский компаньон (правда, при ее муже-глоб-тротере она больше просит меня что-нибудь продать, а не купить). Пикантные видеофильмы и журнальчики, любимые детективы, бабочки-однодневки — все это тоже разнообразит жизнь. Ну, что еще надо для счастья? Что? Вот так бы лететь и лететь всю жизнь к этому золотому солнцу над сугробами белых облаков, к счастливым дням, что ждут меня впереди!

Знал бы я, что меня ждет, молился, наверное, чтобы хлопнул наш самолет со своей десятикилометровой высоты...

Но это потом.

А тогда я летел как на крыльях (каламбур на тройку). Наслаждался каждой минутой. Вот красотки стюардессы (теперь я вижу, что они все красотки) разносят обед. Ем со вкусом, медленно, вкушаю каждый кусок — салат, курица, булочка, пирожное. Пакетик с горчицей, и ароматическую салфетку, и еще зубочистку незаметно кладу в карман, как сувениры.

Пью чай, заигрываю со стюардессой, она награждает меня чарующей улыбкой, настолько дежурной, что у меня пропадает всякая охота продолжать. Еще бы, могу себе представить, сколько таких самоуверенных ловеласов, как я, клеится к ней...

Начинаю болтать с ребятами. Они тоже переполнены впечатлениями и разными планами. Как будто загорать на Золотых песках, побеждать всех в дискуссиях, гулять с местными девчатами по берегу моря при луне, ездить на экскурсии... Словом, есть о чем помечтать. Старший нашей группы, Рунов Колька, уже бывал в Варне и делится опытом. Мне это не нравится: он в центре внимания, а не я. Ничего, он-то со своим немецким в Голливуд не попадет, а я попаду! Мне уже кое-что обещали. Во всяком случае, все мои документы, анкеты, характеристика (та самая, ради которой я так старался), фото и т. д. и т. п. лежат в отделе внешних сношений, слово, кому надо, замолвлено, остается ждать подходящего случая. Ничего, подожду. Интеллектуально я готов, я «их» жизнь знаю небось не хуже (а может, и лучше) нашей. Не зря же я столько этих детективов (а в них американская жизнь лучше, чем в любой энциклопедии представлена), журналов прочел, фильмов посмотрел, радиопередач наслушался. Уже раза два-три отца подправлял, указывал ему на неточности.

— Молодец, Борис, — отец говорит, — наших партнеров, конкурентов падо звать.

Партнеров — ясно. А вот конкурентов? И чьих это «наших»? Моих? Я задумываюсь.

Наконец самолет прибывает в Варну.

Встреча ослепительная! Солнце ослепительное, улыбки ослепительные! Девчата — ослепительные (все о-го-го!). Нас

обнимают, целуют, дарят разные сувениры и усаживают в автобусы.

Мы едем вдоль моря. Черного моря. Оно здесь такое же, как у нас. И похоже на Черноморское побережье, каковым Золотые пески, в сущности, и являются. Правда, зелени, мне показалось, здесь меньше, а вот золотых пляжей больше. Привозят в отель. Наверное, не самый роскошный, наверное, какое-то молодежное общежитие, но вполне комфортабельное. У нас впереди три дня до начала наших работ, еще не все приехали.

Я выясняю, есть ли англичане и американцы. Англичан не будет, а американцы — шесть человек, четыре парня, две девочки — на месте. Завтра пойду знакомиться.

И на завтра, одевшись попожонистей, подкатываюсь после обеда к их столику. Вообще-то я с американцами имел дело на разных фестивалях и других мероприятиях. Обычно это были сухопарые румяные старички или жутко уродливые седые старухи. И все в очках. А тут словно четверо близнецов — здоровые бугаи, на головах — короткий ежик, грудь как у кузнечиков, майки в обтяжку, на майках всякие рисунки, надписи, фото; все четверо загорелые, белозубые, веселые. Одна девочка — длинная, в очках, завитая. А вот вторая... вторая... Вторая — это вторая Мэрилин Монро! Ну и девушка, уж она-то наверняка какая-нибудь «Мисс Майами». И к тому же в коротких шортах и каком-то посовом платке вместо кофточки. Глупейший у меня небось был вид тогда. Она смотрит и смеется во весь рот. А рот!..

Познакомились. Они мне комплиментов наделали по случаю моего американского происхождения. Красотка — Джен — хлопает меня по плечу и сообщает, что я «бой» в ее вкусе. Я счастлив. Польщен. Захвален.

Дальше начинается программа дискуссии и вообще нашего пребывания на Золотых песках. В основном провожу время с американцами. Это естественно, поскольку я так лихо с ними «спикаю». Что менее естественно (а может, как раз более), что я больше всего общаюсь с Джен, остальные — люди деликатные и не навязываются.

Кушаем, жаримся на солнце (фигура у нее!..), занимаемся спортом. Вечером в клубе обсуждаем мировые проблемы. Очень быстро выясняется, что по уровню образования и культуры «близнецы» могли бы с успехом учиться у нас, ну, скажем, во втором классе, а чем черт не шутит? — может, и в третьем. Поэтому дружба дружбой, а служба службой, и мистер Боб Рогачев врезает «близнецам» по первое число что в политике, что в культуре, что в вопросах воспитания (главная тема дискуссии).

Вот с очкастой иметь дело потрудней. Она явный синий

чулок и потому все знает досконально, даже то, чего не знает. Кроме того, задает кучу вопросов.

Но трудней всего приходится с Джен. Она не очень болтлива и больше смотрит на меня своими огромными глазами, растягивает в улыбке свой немаленький рот, томно вздыхает: «Ах, Боб» и вообще...

Тут я обращаю внимание на одну любопытную вещь: оказывается, «близнецы» не такие уж одинаковые. Во всяком случае, один явно старший, не по возрасту, а по авторитету. Другие его слушаются. И еще одно наблюдение (начитался я детективов, в конце концов, или нет?): когда с этим старшим беседуешь вдвоем, он совсем не кажется таким идиотом, как во время дискуссий. Мне сдается, что все наши ученые споры и разговоры им до лампочки.

А вот когда мы вдвоем, втроем, вчетвером в перерывах валяемся на пляже или гуляем вечером по берегу, он беседует на совсем другие темы и задает совсем другие вопросы. Нет, не надо думать, что я эдакое наивное дитя и не соображаю, с кем имею дело (с кем, возможно, я имею дело). Но о том, сколько на территории нашего института расположено ракет, какая скорость у моего персонального танка или в каких частях служит мой друг Андрей Жуков, он вопросов не задает.

Интересует его наша система образования, структура спортивных обществ «Буревестник», «Спартак», «Зенит»... Он расспрашивает меня, как я провожу время, какие у нас дискотеки, что делают родители, есть ли любимая девушка. На все эти вопросы, кроме последнего, я охотно отвечаю. Тут тайн нет. Но поскольку, как правило, Джен присутствует, о своих сердечных тайнах молчу железно.

Однажды Сэмюэль, Сэм (так его зовут) спрашивает меня:

— А у вас можно приезжать по частному приглашению?

— Можно, — отвечаю, — но зачем, можно же по обмену.

— Да нет, лучше жить в семье, глубже изучаешь жизнь народа. Вот, скажем, ты бы мог приехать ко мне. Я живу в Калифорнии. На полмесяца, месяц, хоть на полгода. А я — к тебе, как ты думаешь, это реально?

Видя, что я мнусь, говорит:

— Дело неспешное. Напиши. Чтоб быстрее дошло письмо, дай отцу — ты говоришь, он часто в Европу ездит, пусть там опустит. А если в США приедет, легко позвонить. Я тебе все свои адреса и телефоны оставлю.

— В университет? — спрашиваю.

— Могу, но лучше домой. У нас тридцать тысяч студентов — письмо может затеряться.

— И я оставлю адрес, я живу в Сан-Диего, — оживляется Джен. — Будешь в Штатах, чтоб позвонил обязательно.

— К тому времени ты меня забудешь, — кокетничаю.

— Никогда! У меня еще не было ни одного русского! Русского друга, я имею в виду, — исправляется.

Я им тоже даю свой адрес. Мы фотографируемся на пляже в разных вариантах: со всеми «близнецами», с Сэмом и Джен, отдельно с Сэмом, отдельно с Джен. Лучше всего получается фото, где мы с Джен стоим на пляже обнявшись на фоне моря в купальных костюмах. Да, будет что показать моим приятелям в Москве (не Ленке и Натали, конечно).

Неожиданно выясняется, что у одного из «близнецов» день рождения, и они приглашают меня в какой-то роскошный отель, где есть валютный бар. Едим мало, пьем умеренно, танцуем много (во время танца Джен шепчет мне, что после, позже она хочет погулять со мной; с этого момента я теряю покой, размышляя, идти или нет, я же понимаю, что это будет за прогулка).

Когда настает момент расплачиваться, Сэм вынимает толстенную пачку долларов (не очень-то бедно, как я погляжу, живут у них студенты). Вертит ее, потом говорит:

— Слушай, Боб. Хочешь, я тебе немного дам, у вас ведь в Москве наверняка есть такие же бары, «Березка» есть, пригодится. Бери.

Я категорически отказываюсь. Он настаивает. Но я непреклонен. Этого мне еще не хватало! Тогда он просит другое.

— Я тут присмотрел сувениры кое-какие, да Джен хочет купить, но у нас мало болгарских денег. Может, кто-нибудь из местных, ты их знаешь, может дать нам, а я ему доллары. А?

— Нет, — говорю, — я таких не знаю.

У Джен огорченное лицо. Тогда я вынимаю левы (нам в Москве на триста рублей обменяли) и сую ему (пу что мне в Болгарии покупать?). Конечно, не будь Джен, и не выпей я столько коктейлей, может, еще и подумал, а тут...

Он, смущаясь, берет и говорит:

— Спасибо, долг за мной. Может, я могу тебе подарить что-нибудь? Вот фотоаппарат.

Я отказываюсь:

— У меня есть, отец привез, «Никон».

— Ну, ладно, — говорит, — я тебе подарю одну забавную штучку. Не думай, она у нас гроши стоит, а тебе интересно, — и вынимает... пистолет. Я чуть со стула не свалился.

Но выясняется, что это газовый пистолет. Шесть зарядов, стреляешь в хулигана, и он, весь в соплях и слезах, теряет боеспособность, а ты этим же пистолетом стучаешь его по башке и несешь в милицию.

Уж тут я удержаться не могу и принимаю подарок. Сэм говорит:

— Не бойся, он и по вашим законам не считается огнестрельным оружием (откуда он знает?), вообще невинная вещь, у нас ее даже в аэропортах пропускают.

Меня это неприятно поражает, а у нас? Но я вспоминаю, что обратно мы едем поездом.

Из бара выходим поздно. Джен хочет еще погулять, мы прощаемся с «близнецами» и идем с ней на берег. Идем быстро, совсем не прогулочным шагом, молча, лихорадочно оглядываясь. Но в этот поздний ночной час здесь пустынно. Наконец, находим какую-то прибрежную довольно густую рощу и вбегаем в нее. Через два шага Джен виснет на мне, обнимает за шею, шипит мой губы... Словом, для чего пришли в эту рощу, то и сделали. Женщина она, конечно, потрясающая, но настроения не было, все время к чему-то прислушивался, оглядывался, чего-то опасался. Ладно, вылезаем из рощи, возвращаемся по берегу. Я горд необычайно, еще бы, такая девушка, Мэрилин Монро, американка, почти инопланетянка. Да она еще прижалась ко мне, дифирамбы поет, какой я... Говорит:

— Я не смогу без тебя долго, Боб. Я приеду к вам по обмену или туристкой, разыщу тебя. Обязательно. А если ты приедешь, умоляю, дай знать. Я к тебе в любой город прилечу, хоть в Штатах, хоть в Европу. Обещаю!

Я, конечно, обещаю. Клянусь, ручаюсь, зарекаюсь и т. д. А что мне стоит дом построить! Я действительно мужик что надо, король! Вот поеду в Америку, да хоть в Англию, хоть куда, звякну, и покажите — Мэрилин Монро вскакивает в первый же самолет и летит ко мне на крыльях любви. А уж если она приедет к нам, я ей в Москве такое покажу! Это Москва, а не занюханное ее Сан-Диего... Ну, ладно, Сан-Диего тоже ничего...

— Ох, и вы здесь, — слышу за спиной.

Оборачиваюсь, мой друг Сэм тоже, видите ли, гуляет. Уж не в той же ли роще? Оказывается, я недалеко от истины.

— У меня тут одна знакомая болгарочка появилась, — подмигивает, — и мы с ней совершили небольшую прогулку.

— А где ж она? — спрашиваю.

— Она? — Сэм туманно машет рукой, — мы слегка, того, поцапались, и она убежала, не позволила проводить. Зато, вот, вас встретил.

Добираемся все вместе до дому, и я иду спать, чтобы всю ночь видеть радужные сны, наполненные Джен Монро...

В Москву я увожу незабываемые воспоминания, газовый пистолет, адреса моих новых друзей и твердую договоренность увидиться при первой возможности.

А тем временем жизнь катит свои бурные волны под мо-

стами вечности (красиво? Сам придумал). Экзамены сменяются уже порядком надоевшей мне учебой. Ссылаясь на предвыпускной год, я практически бросаю спорт (зачем он мне? Он сослужил свою службу в моей карьере, низкий ему поклон.)

Ленка начинает меня немного раздражать, по-моему, она настолько усвоила свою манекенную профессию, что и в жизни стала манекеном. Ходит как по «языку», принимает позы, делает губки бантиком. А уж когда ее пригласили сняться в кино в каком-то эпизоде, да еще со словами, она решила, что скоро станет кинозвездой и даже размечталась, что мы с ней поедим на кинофестиваль. Ох и дура!

Чего нельзя сказать про Натали. Увы. Как-то она предлагает зайти в кафе-мороженое. В чем дело? Она перестала потреблять спиртные напитки?

— Да, — отвечает, — перестала. И тебе советую. Понимаю, кто с детства привык. Но ты-то не пил никогда. Чего ж теперь стал?

Я ей терпеливо разъясняю, что водку даже видеть не могу. И пиво, уж не говоря о портвейне. Между прочим, и виски, и джин, вообще алкоголь. А коктейли, шампанское, какое же это спиртное? Нарзан, водичка (правда, этой водички я иногда потребляю больше, чем рекомендуется, тут она права).

— И потом, — говорю, — ну, представь — банкет, я переводчик, шеф держит бокал, собеседник тоже, а я, что, стакан молока? Так его на банкетах не бывает. Или приглашу кое-кого поболтать за столиком. Скажем, о бизнесе. Наливаю ему и предлагаю выпить за мое здоровье? А сам дую боржом? Все требует жертв, Наташка, все на свете.

Она молчит, вздыхает и говорит:

— Ты прав, семейная жизнь тоже.

— Это ты к чему? — настораживаюсь.

— Это я к тому, Боб (Боб — это я), что жду ребенка.

— Ребенка! — я ошеломлен.

— Ребенка. Чему ты удивляешься? Я, между прочим, молодая женщина, состоящая в законном браке. Надо ведь когда-то.

— А?..

— От мужа, не от тебя, не беспокойся, — улыбается иронически (нет, с горечью улыбается). — Вот так, друг сердечный. Недолго нам осталось гулять.

— Ну, долго не долго, — пожимаю плечами, — родишь, а потом опять все пойдет по-старому.

— Не знаю, не уверена, — почти шепчет, — родить да выходить — дело долгое, ребенок жизнь осложнит, хоть и украсит. Вряд ли ты дожدهшься... — и, помолчав, добав-

ляет: — Жаль, конечно, привязалась я к тебе, неважно, что пустоцвет.

— Почему я пустоцвет? — я глубоко уязвлен (потому что это Натали говорит, от других бы услышал — плевал). — Почему? Что, я ничего не достиг?

— Достиг, достиг, — усмехается и встает. — Только вот чего? Хочу тебе добра, Боб, но боюсь за тебя. Пойдешь ты далеко, если тюрьма не остановит. Знаешь? Есть такая поговорка (она была мудрая, моя Натали). Да ладно. Я тебе, во всяком случае, только добра желаю. Пошли. Поздно. Я позвоню тебе в субботу. Когда время настанет, звонить перестану. Не хочу тебе такой показываться. Понимаешь?

Я провожаю ее домой и возвращаюсь пешком. Мне по-настоящему грустно. Как-то пусто станет без нее...

А пока надо заняться экзаменами, диплом неплохо бы, конечно, с отличием.

Глава V

УЧИЛИЩЕ

Замечательное это было время, время училища. Ловлю себя на мысли: что б ни делал, где б ни учился, оказывается, это самое замечательное время — и в школе, и в Шереметьеве, и в училище, и позже на заставах... И выходит, что вся жизнь моя была замечательной. Так бывает или мне это кажется? Кажется потому, что неизвестно, не придется ли мне с этой замечательной жизнью в ближайшее время расстаться.

На пороге потерь все теряемое нам кажется особенно ценным. И жизнь здесь не исключение.

Когда вспоминаешь, вспоминается всегда хорошее. Сито времени не пропускает плохое. Потому, наверное, прошлое всегда кажется розовым, а будущее, будущее, у него цвета разные. Или это только мне все так представляется? Не знаю. Да и какое это имеет значение. Сейчас я на этой больницы койке вспоминаю училищную свою жизнь, а она была замечательной...

Московское высшее пограничное командное ордена Октябрьской Революции Краснознаменное училище КГБ СССР имени Моссовета находится на тихой окраинной улице столицы. Впрочем, теперь эту улицу окраинной не назовешь. В двух шагах метро, разбежались новостройки, полно машин.

Здесь, в этом военном городке, где меж невысоких светлых казарм, учебных корпусов, служебных зданий петляют асфальтовые дороги и пешие дорожки, и летом зеленеют деревья, я прожил четыре года.

Увлекательная жизнь! Даже сборы, даже полевые занятия в учебном центре, даже ночные бдения. Да мало ли в солдатской, а особенно курсантской жизни трудностей. Ползешь в противогазе, перемахиваешь через стену на полосе препятствий, весь в поту, задыхаешься, проклинаешь все на свете, а вспоминаешь с улыбкой, хотите честно, даже с ностальгией. Так уж человек устроен, во всяком случае, пограничник. Пограничник, конечно, тоже человек, но согласись, особый, так сказать сверхчеловек. И спорить с этим бесполезно. А может, вся наша армия состоит из сверхчеловеков? Во всяком случае, оставляя в стороне всякие виды сверхоружия, не сомневаюсь — в ближнем бою, в штыковой атаке никаким американским суперменам против наших сверхчеловеков не выстоять и минуты.

Вот так!

Что касается Андреева Николая, абитуриента из гражданских, который в моем отделении, он под мои мысли подводит идейную базу.

— Видите ли, товарищ старший сержант, — рассуждает он, — наш солдат справится с американцем не потому, что тот хуже обучен, у них в лагерях будь здоров муштруют, а потому, что за его обученностью не стоит ничего, нет идеи, за что он воюет.

— Не согласен, — это другой гражданский абитуриент в моем учебном отделении, Свиштунов Александр, — как нет идеи? А уничтожить нас всех, «красных», а стереть с лица земли «империю зла»? Это что, не идеи? Да они на одной некавказности к нам воевать могут. А уж ее-то там воспитывают, о-го-го. Не то, что у нас, — добавляет.

Я вклипываюсь в этот высокопринципиальный спор и объясняю товарищу Свиштунову, что американцы есть разные и нечего нам опускаться до их пещерного уровня.

— Так я ж не обо всех, — упрямо настаивает он, — я о тех, кто в военной форме. Это сейчас. А в случае войны, тогда обо всех, поскольку они все ее наденут.

— Все равно, — говорю, — мы гуманисты, а они нет...

Звучит не очень убедительно. Потому что с этим своим мнением я сам не очень-то согласен...

— Так или иначе, — заканчиваю правоучительно, — вы, товарищ Свиштунов, в строевой не очень-то преуспели.

— А без строевой какой ты сверхчеловек, ты вообще не человек, — поддакивает Андреев.

И смотрит на меня с невинным видом. А я на него подозрительно, но не обнаружив ничего иронического во взгляде, на этом разговор заканчиваю. Хорошие ребята. Объясню, кто такие.

Но сначала об училище. Ему за пятьдесят. 14 февраля 1932 года вышел приказ и была создана 3-я пограничная

школа. Сложное было время. Для пограничников. Только на северо-западной границе, той, на которой доведется мне позже служить, за один 1930 год задержали 1144 нарушителя, за 1931-й — 2488, за 1932-й — 7221 и т. д. А готовили пограничников-офицеров всего две школы. Наша стала третьей. С тех пор много было всяких преобразований. В 1968 году училище стало высшим, не раз награждалось. Курсанты, уж не говоря о выпускниках, воевали и с разными бандитами на границах, и с белофиннами, и конечно, с немецкими фашистами. Многие награждены, стали Героями Советского Союза.

Тысячи тех, кто окончил училище, служат сейчас на границе.

Когда его заканчиваешь, получаешь диплом, в котором записано: «Офицер с высшим военно-специальным образованием, преподаватель начальной военной подготовки», а если по иностранному языку «отлично», то можно получить и диплом переводчика. Уж мне-то грех такой не получить! Как, между прочим, и красный. Уж не знаю, потяну ли на золотую медаль, но на диплом с отличием — точно, расшибусь, но получу! Вот такое училище, такие планы.

Прохожу всю дорожку как положено: подаю рапорт по команде, заполняю все анкеты, получаю характеристики, обследуюсь на медкомиссиях и т. д. и т. п. Наконец вызываю.

Волнуюсь очень. Но как всегда, когда уже зачислен, удивляешься, чего было волноваться, раз, два — и готово!

Итак, май — начало июня. В Москве лето, все цветет, небо голубое, птицы поют, машины тарахтят, девушки стреляют глазами. Я ничего не замечаю.

На городском транспорте, сопровождаемый Зойкой (в качестве талисмана), прибываю в училище.

И целый месяц безвылазно готовлюсь там к экзаменам.

Экзамены сдаю на «отлично» (иначе и быть не могло).

Являюсь на решающую комиссию. Полночи чистился, драился, наводил красоту, вся грудь в знаках. Могучий, красивый, мужественный. Но с тревогой замечаю, таких, как я, не я один.

Докладываю: «Товарищ генерал-майор, абитуриент Жуков прибыл...»

Комиссия огромная, начальства множество. Задают всякие вопросы, по-моему, некоторые лишние. Например: «Вы понимаете, какая вас ждет служба?», «Какие будут трудности?», «Родители согласны?», «А жена?».

Отвечаю: «О службе мечтал с детства», «Трудностей не боюсь», «Родители во всех поколениях пограничники, как же они могут возражать!» (смех в зале). «Жены нет, есть невеста, но она согласна, вот ее записка». Протягиваю. Там

Зойка написала начальнику училища, что всегда мечтала быть женой пограничника и что если меня в училище не примут, то замуж за меня не пойдет. (Опять смех в зале.)

— Ну раз семейная жизнь может разрушиться, придется зачислить, — говорит генерал, улыбается, но потом улыбаться перестает и добавляет: — Смотри, чтоб, когда на трудной заставе окажешься, не переменяла жена своего решения.

— А она для меня женой перестанет быть, мне такая не нужна будет, — говорю. Опять смеются, веселая комиссия собралась.

Начало июля.

Мы объединяемся с гражданскими абитуриентами. Те поступали отдельно. Но теперь воюем всем скопом. Отправляемся в учебный центр, и месяц гражданские (уже бывшие) приобщаются к военной жизни, так сказать, проходят курс юного пограничника — друзей леса. Учебный центр недалеко от Москвы, и там есть все, с чем будущий пограничник столкнется на службе. Здесь, в училище, такое не соорудишь, тут любая собака, кроме выхлопных газов, ничего не унохает — город все-таки.

В учебном центре мы — пограничные зубы, в смысле старослужащие — выступаем в роли начальства. Я, например, становлюсь командиром отделения. И вот в отделение ко мне попадают Андреев Николай и Свистунов Александр. Занимаемся уставами, тактикой, строевой. Начальная военная подготовка, так сказать. Я сначала не мог понять, зачем этот месяц нужен. Оказывается, чтоб абитуриенты с гражданки лишний раз проверили себя, утвердились в своем решении.

И оказывается, не зря. Кое-кто выпадает в осадок, уходит. Они-то поступают в училище в семнадцать лет, так что, кто передумал, возвращается на гражданку, у него до призыва еще год остается. Есть и восемнадцатилетние, так их отчисляют в строй. Ну что ж, отслужат и уволятся. Хорошо, вовремя поняли, что на всю жизнь в армии, хоть и офицером, им не по плечу. Скатертью дорога, лучше поздно, чем никогда. Впрочем, таких единицы.

Так вот, среди этих единиц оказался и один из моих подопечных. Кто? Честно говоря, я долго не мог в них разобратся. Наверное, опыта педагогического (или психологического) не хватало.

Андреев — парень серьезный, честный и искренний. Что думает, то и говорит. Но не грубо, деликатно. Свистунов — погорячей. У него слово порой опережает мысль. Но, что интересно, Андреев парень здоровый, сильный, разрядник по футболу, а устает быстрее Свистунова, у которого разряд по стрельбе. Это для пограничника важно, но особой силы на нашем уровне не требуется, не чемпионат мира все же,

не по шесть часов стреляем. Свистунов, смотрю, и на полосе первый, и марш-бросок для него легче, чем рок отбарабанишь, а главное, такое впечатление, что он от всего этого удовольствие превеликое получает.

Как-то отзываю Андреева в сторону, болтаю по-дружески о том о сем и между прочим спрашиваю:

— Николай, а ты что в пограничники подался?

— Я сам об этом все время думаю, — отвечает помолчав, — вероятно, все-таки романтика главное. Я не люблю больших городов. Родился и жил на Урале. Люблю леса. Думаю, буду служить где-нибудь на лесной заставе. По части следов — специалист. Буду рыбу удить — обожаю по лесам бродить. И потом в мирное время где еще с врагом столкнуться?..

— Ну, видишь ли, — охлаждаю его, — лесных-то застав как раз не так уж много. Снегов и песков, морозов и жары — куда больше. И диверсанты тоже сейчас толпами не ходят. Бывает, годы прослужишь, раньше чем нарушителя задержать придется. А вот побегать, попотеть, померзнуть придется. Да еще как.

— Я уж вижу, — отвечает и мрачнеет. — Взялся за гуж, не говори, что не дюж.

— Ну-ну, — говорю с потаенным смыслом. С каким?

Что касается Свистунова, тут проблем нет. Носится, бежит, всюду первый, всюду на виду. Уставы наизусть выучил. Строевую подтянул. В стрельбе на мастера движется. Учится ножи метать, кирпичи ребром ладони рубить. В свободное время. Однажды застал его за этим занятием. Он в укромном уголке оборудовал себе «полигон». — К глухой стене подставил фанерный силуэт и с приличного расстояния всаживает в него ножи. Приноровился, прямо в сердце, из десяти раз — десять! И отходит все дальше, скоро из другого города попадать станет.

Понаблюдал я, подхожу поближе, присматриваюсь. Что за силуэт? Аккуратно покрашен, со знаками различия, все честь по чести. Вглядываюсь — американский офицер, лейтенант!

— Ты что ж, — говорю, — другого силуэта не придумал?

— Никак нет, товарищ старший сержант, — спокойно отвечает, — сначала хотел их генерала или полковника изобразить, потом подумал — генералы врукопашную не дерутся, а лейтенанты попадают...

— Ты что ж, такой-сякой, — говорю, — не мог эсэсовца изобразить, на худой конец вермахтовца?

— Никак нет, — объясняет, — с покойниками чего воевать, я не с прошлыми противниками, а с будущими драться тренируюсь.

— Мы, между прочим, — толкую, — с американцами пока еще, насколько мне известно, не деремся.

— Когда начнем, товарищ старший сержант, поздно будет тренироваться. Да и не мы с ними драться будем, они с нами. Так что самое время сани готовить. И-эх!

И всаживает нож в самое сердце силуэта. Постоял я, постоял и ушел, что я ему скажу?

А дня через два, когда он был на занятиях, пришел бросить взгляд — разговор наш тот подействовал ли? И что ж вы думаете? Перекрасил-таки силуэт. Вместо лейтенанта намалевал... главу того, ну, вы понимаете, государства! А? Как вам это нравится?

В тот месяц мы с Зойкой не виделись. Приезжать в учебный центр ей было несподручно, дорога долгая, а приедет, нет гарантии, что вырвусь. Но вот мы вернулись в Москву.

Однако в первый же день произошла у меня огорчительная беседа.

— Товарищ старший сержант, — Андреев подошел ко мне, — хочу проститься, — и смотрит мне в глаза.

— Как проститься? — удивляюсь. — Только жизнь начинается.

— Да нет, — говорит, — кишка тонка оказалась. Шуму много, а на поверку пиши.

— Ничего не понимаю.

— Экзамен не выдержал.

— Как не выдержал? — опять удивляюсь, — тебя ж зачислили, курс молодого бойца, можно сказать, прошел, присяга не сегодня завтра...

— Да нет, товарищ старший сержант, — и рукой махнул, — перед собой экзамен не выдержал. Не получится из меня пограничник, понял я. Пока во сне диверсантов ловил да рыбку на заставе удил, все в порядке. А как побегал в учебном центре, сто потов пролил, с народом поговорил, вроде вас из тех, что послужили, так ясно стало, не гоюсь я для пограничной службы, слабак...

Словом, поговорили по душам. Он честно признался — не выдержит. Детские представления рассеялись, розовые очки спали... Не сможет он всю жизнь в армии, не получится. Вот так.

Я тогда оценил мудрость начальства — дают вот абитуриентам, конечно, в первую очередь гражданским, еще раз подумать, еще раз проверить себя. Чем потом всю жизнь жалеть... Конечно, случай редкий, но бывает.

В конце сентября — прием присяги. Или посвящение в курсанты. Не для нас — мы ее уже принимали, когда нас в армию призвали, а для тех курсантов, кто пришел с граж-

данки. Конечно, мы присутствуем на церемонии — стоим железным строем.

Вот уже второй раз я это вижу, нет, переживаю, а прямо комок подкатывает к горлу.

На бронетранспортере от Кремлевской стены с могилы Неизвестного солдата привозят огонь. На плацу от него зажигают наш огонь, в Чаше знаний. Такая преемственность военных традиций, военной науки, военной судьбы.

И еще интересная церемония — старшекурсники передают нам, вновь поступившим, огромный Ключ знаний и курсантский погон (со стол величиной, из фанеры, здорово сделанный). Трое старшекурсников-отличников передают троим поступившим, тоже сдавшим все экзамены на «отлично».

Много в армии таких вот красивых церемоний. Волнующих, торжественных.

Сентябрь. Начинается учеба. Курсантская служба. До этого все мчалось как на перекладных. Не успеваешь лечь спать, уже подъем. С утра до вечера, с утра до вечера...

Сейчас можно улучить свободную минутку. И я звоню Зойке. Думал, будет ворчать, жаловаться, ныть... Ничего подобного — веселая, радостная кричит:

— Ну, наконец-то мой благоверный дома, почти! Теперь порядок. Мечта осуществилась! Начинается новая пятилетка, четырехлетка!

Я говорю:

— Чего это ты развеселилась? Я думал, ты слезы льешь без меня, а ты веселенькая, как чижик. Подозрительно.

— Эх ты, — говорит печально, — я же солдаткой учусь быть, дурачок. Чтоб женой пограничника стать, надо почище училище кончить, чем твое. Вот и учусь. Сначала теорию по ночам, когда не спала без тебя, тосковала, теперь вот практика началась...

Я совсем растрогался.

— Ладно, — говорю, — «дурачка» принимаю, согласен даже на круглого дурака. Ты не обижайся, уж очень соскучился, могу хоть минуту поворчать?

— Минуту можешь, но ни на секунду больше. Когда ж увидимся-то наконец?

— Приходи, — говорю, — отведу тебя в детский сад.

— Куда? — не понимает.

Мы встречаемся с ней в «детском садике».

Есть тут у нас, как в Шереметьеве, комната для посетителей, в ней принимаем гостей, родственников, а к комнате примыкает такой огражденный кусочек сада — вот в этот «детский садик» и привожу мою любимую. Она, как всегда, в джинсах, в какой-то теплой, но невесомой куртке, которая невероятно толстит ее, в адидасках. Настоящих. Это предмет

такой гордости, что она только что не становится вверх ногами, чтоб каждый мог налюбоваться трилистниками и тремя полосками, ставшими для моих сверстников символом высочайшего престижа, эдаким современным дворянским гербом.

И конечно, я со своим всегда удачным юмором говорю ей:

— Чего это у тебя какие-то кеды неважные, небось приделали полоски какие-нибудь жулики и тебе толкнули, а ты и рада.

Зойка чуть не в слезы, срывает свои адидасы, сует мне в нос, показывает всякие фирменные знаки, заграничные надписи, вопит:

— Пещерный человек, иети, ничего не видишь, кроме своих сапог гуталиновых! Это же подлинные из подлинных, мне в обществе выдали. Я мастера по легкой атлетике получила! Лишь бы огорчить...

Я, конечно, угрызаюсь совестью, обвиняю ее (благо в садике мы одни), раскаиваюсь, горячо поздравляю с высоким званием.

Она успокаивается. Инцидент исчерпан. Я люблю ее.

Начинаем обсуждать matrimониальные планы. Как жить дальше. Сообщаю ей интересную деталь — мол, если курсант женат (и не ходит в перадиных), ему частенько дают увольнительную с вечера до утра. А?

Она краснеет, но говорит, что ее это устраивает. И тут, как всегда, я, по выражению французов, кладу ноги в блюдо (это мне рассказал Борька Рогачев, который, видите ли, интересуется французским фольклором).

Один курсант у нас, проведая об этой традиции, сообщил всем, что женится, привел к начальству жену — какую-то фирменную девчонку, рассказал, как лихо отпраздновал свадьбу (никого из ребят не пригласив), и стал получать свои ночные увольнительные, чтобы проводить время в жарких объятиях молодой жены.

А потом выяснилось, что «жена» — сестра его старого друга, он ей подарил магнитофон (подержанный), а она всю эту комедию ломала. И ничего они не женаты, и проводит он свои увольнительные, может, и в объятиях, но никак не в ее.

Отчислили. Неплохой был курсант. Даже отличный, отчислили без разговоров. Замполит на комсомольском собрании (этому современному Казанове-82 мы еще и выговор вкатили) сказал:

— Ну, скажите, товарищи, вы бы могли ему доверять, положиться на него?

— Нет! — кричим.

— Это свинство, — один говорит, — подонком надо быть, чтоб вот такой обман организовать, девку замарал, себя, какой это пограничник. Да он хуже летчика (его когда-то

в летное училище не приняли, и он им это простить не может).

Корнев, командир первого отделения, я — второго, — говорит более внятно.

— Пойми, ты на нас на всех пятно наложил, что после этого про нас девушки говорить будут? Ты ведь, по существу, десятки раз в самоволку бегал — не имел права на увольнительную. Командира обманывал. Ну это ладно, но нас, твоих товарищей...

— То есть как это ладно! — замкомвзвода кричит.

Разгорелся абстрактный спор, кого хуже обманывать — командира или товарищей.

— Обманывать плохо всех, — подводит итог замполит. — И командиров, и товарищей. И девушек тоже.

С этим трудно не согласиться. Словом, дали выговор, чуть не исключили совсем.

Все это я весело излагаю Зойке. Смотрю, она тускнеет, мрачнеет, когда закончил свой рассказ, она помолчала и говорит печально:

— Свины вы все-таки, мужики. Ну как вы могли такое сделать...

— погоди, говорю, что значит «вы»? Я тут при чем?

— А, — машет рукой, — все вы одним миром мазаны. Вот распишемся, будешь увольнительные получать, а куда пойдешь, откуда мне знать!

Следует бурная, но кратковременная ссора. Примирение. Иногда Зойка рассказывала мне о Рогачеве. Тот изредка звонил. Захлебываясь, повествовал о своих жизненных успехах. Потом спохватывался, спрашивал обо мне. Моя простодушная подруга только было начинала перечислять мои (весьма скромные), как он скучнел и спешил закончить разговор.

— Какой-то он не очень, — туманно комментировала Зойка, — ну, в общем, друг не друг. У него, по-моему, кроме Рогачева, друзей нет. Так сказать, неразлучные друзья — Борис Рогачев и Рогачев Борис.

— Ну уж... — вяло защищаю я кореша.

Но, честно говоря, вспоминая наши редкие свидания, письма и телефонные беседы того времени, я все больше разочаровываюсь в нем.

Приходит на память один эпизод. Как-то во время практики видел я на заставе, как пограничники подбирали волчонка, мать охотники подстрелили, наверное. Принесли в вольер, в свободную секцию.

В какой-то момент волчонок вылез из закрытой части в открытую, и тут, конечно, все овчарки разлаялись, расшумелись, и он заторопился обратно. А ему вожатый не дает, закрывает дверцу, сапог подставляет, пусть волчонок

воздухом дышит. И вот то поразительное упрямство, с каким этот волчонок пробивается в вонючую свою конуру, бьет лбом по сапогу, пытается пролезть в дверную щель, напомнило мне о Боре Рогачеве. Он тоже изо всех сил, прямо-таки лбом пробивает себе карьеру, у него одна цель — блага жизни (в его понимании, разумеется). Уверен, уж он-то их добьется. Конечно, было бы время, я бы постарался наставить его на путь истинный, да где там.

Делюсь этими филантропическими мыслями с Зойкой.

— У, чего захотел, — смеется, — Рогачев твой — товарищ железный! Его с пути не собьешь. Впрочем, попробуй, уговори, может быть, пойдет на слесаря или комбайнера учиться, кто знает?

Мы с Зойкой частенько виделись. То она приезжала ко мне, то я по праздникам получал увольнение. Свадьба откладывалась.

А вот занятия шли полным ходом. Что мы только не проходили: и философию, и высшую математику...

Мы особенно подружились с Сашей Корневым, командиром первого отделения. Зовем друг друга «коллега» и во всем расходимся.

Например, мой коллега Корнев считает, что главная наша задача воспитание людей. Поэтому высшая математика, которая приучает мыслить логически, приучает к строгому мышлению, умению правильно строить работу и т. д., нужна.

А я считаю, что главное для нас — уметь людьми командовать, организовывать их для выполнения боевой задачи.

Командир роты разъяснил нам, что мы зря спорим, поскольку думаем одно и то же, только по-разному выражаем свои мысли — по мы продолжаем спорить до хрипоты.

Или вот другой пример.

Я спрашиваю Корнева, куда он хотел бы, если спросят, после конца училища.

— Подальше, — говорит, — в Заполярье, в Среднюю Азию, словом, где потруднее. А ты?

— А я, — говорю, — где полегче.

— Хорошо, — возмущается, — ты, значит, по той поговорке: рыба ищет где глубже, а человек, где рыба?

— А чем плохо? Я так рассуждаю: все надо осваивать по мере. Сначала пусть будут условия получше, освоюсь, попрошусь, где труднее, но приду туда уже с опытом. Так? Новый этап осилю, дальше двигаюсь, где еще трудней, а я уже подготовлен. И т. д. Такая у меня теория.

— Нет, — Корнев, качая головой, — у меня другая. Когда вода в реке холодная, лучше сразу нырнуть, чем, как девчата, с визгом влезать по сантиметру. Попадаю сразу в новые условия, привыкаю, осваиваюсь, а потом уж, хоро-

шо тренированный, все познавший, могу и на заставу, где полегче.

Вот так спорим.

А однажды спросил я другого коллегу, командира третьего отделения Черноуса:

— Коллега, как ты готовишься к будущей семейной жизни на заставе? (Черноус женат, еще на первом курсе женился на землячке своей.)

— Не я, — отвечает, — жена готовится.

И объясняет, что она у него программистка, с такой профессией на границе, прямо скажем, работу нелегко найти. И что вы думаете, поступила в педагогический на заочный. В случае чего, будет детишек той самой математике учить. Предусмотрительный.

Советуюсь с ним, как с Зойкой быть. Ну что за жизнь, она дома, я в училище. Может, до окончания подождать?

— Дурак ты, коллега, — непочтительно говорит мне Черноус, — чего ждать-то? Во-первых, теряешь стаж супружеской жизни (это он вполне серьезно), во-вторых, время (тут он прав), в-третьих, брак как никак укрепляет отношения, а то пошлет она тебя подальше, а так штамп в паспорте удержит (это он дурак, Зойки моей не знает), и вообще (самый сильный аргумент)...

...Течет, течет, а вернее, бежит наша курсантская жизнь. Иногда ловлю себя на том, что жаль будет расставаться со всеми этими ставшими родными местами. Вот у самой ограды городок следопытов — эдакий крохотный макет всего, что встретишь на границе, — системы, следовой полосы, вышки... стоят в ряд цветастые пограничные столбы с гербами всех сопредельных с нами государств — Иран, Ирак, Турция, соцстраны, Финляндия, Норвегия. Отдельно наш зелено-красный столб с нашим гербом.

Есть у нас настоящий кусочек границы, но это в учебном центре.

А здесь у нас еще сквер и в центре памятник Юлиусу Фучику. И когда смотрю на него, я думаю — за что он отдал свою жизнь? И сотни, тысячи таких же? У нас на границе много именных застав. Это имена героев-пограничников, отдавших свою жизнь в бою. Почему вообще человек, который мог бы продолжать жить, жертвует собой ради других, не жены, детей, матери, а подчас незнакомых ему, жертвует ради идеи, ради идеала, ради дней, которые когда еще наступят, ради долга. Какого долга? Кому он должен и за что? Однажды я спросил замполита об этом, прямо на занятиях, не постеснялся, думаю, смеяться будет. Нет. Помолчал и говорит серьезно:

— Видишь ли, Жуков, долг перед Родиной — это особый долг. Ты у нее в долгу еще до того как родился. За то, что

она есть у тебя, за то что ты сын ее, за то, что всем ей обязан, за то, что была за сотни лет до тебя, и вечно после тебя будет. Долг перед Родиной неоплатен. Что бы ты ради нее ни сделал, этот долг все равно останется. Вот так.

Много раз я задумывался, я то сам смог бы отдать жизнь, выполняя свой воинский долг? Не знаю. Не уверен. А как проверить? Войны нет, и вряд ли доведется мне такую проверку пройти, а доведется, выдержу ли?..

У нас хороший спортивный зал, большая библиотека, стадион, красивый мемориал в память погибших пограничников, казармы, учебные корпуса... Все это на четыре года стало моим родным домом.

А кругом шумит мой Большой дом — Москва. До чего ж я все-таки люблю мой город! Вот уж за него, наверное, не пожалею жизни. Только граница ведь за тысячи километров от Москвы, мне предстоит жить на ней годы и годы, так что когда я снова уже навсегда вернусь в Москву, не знаю. Но вернуться обязательно. А пока я еще здесь, надо пользоваться. И я пользуюсь. Когда удается получить увольнение (не так уж часто, как мне это сейчас вспоминается), мы ходим с Зойкой в театр, на концерты, иногда вижу Борьку Рогачева. Он весь в заграниках, в шикарной жизни. И, конечно, обвешен девушками, как рождественская елка игрушками. Однажды были вместе на концерте. Отведя в сторону, спросил его, где Ленка. Он что-то неопределенно прохмыкал, и я понял, что произошла смена караула. Впрочем, у него караулу хорошо живется — подолгу на дежурстве не задерживается.

Вообще-то он здорово изменился. Не могу понять в чем. Злее, что ли, стал, циничней. Впрочем, циником он был всегда. Какой-то неудовлетворенности, что ли, первозности прибавилось, добродушия поубавилось.

Такое впечатление, словно кто-то виноват в его шикарной жизни и он на него, этого кого-то, в обиде. Будто Борька понимает, что живет пустой несерьезной жизнью и сам же на себя за это злится. Все-то он с подковыркой говорит, с насмешечкой, над всем иронизирует. Вроде завидует, что у людей настоящие дела, цели, мечты, а у него так, пшик, и все старается выдать этот пшик за единственное стоящее.

Ну да черт с ним, лень спорить. Стараюсь вспоминать веселые школьные годы, тут он преображается, переполняет его ностальгия, будто ему за полвека минуло.

Рассказывать ему о себе — дело безнадежное, его это абсолютно не интересует, так, задаст пару вопросов из приличия и «переходит на себя».

Странно как бывает: учимся вместе, дружим, одна компания, одни интересы, потом каждый идет по своей дорожке — «налево пойдешь...», «направо пойдешь...». Кто-то пой-

дет по правильной дороге, кто-то — по кривой. А разве не должен первый перетащить на свою второго? Но для этого он должен быть сильнее, иначе как бы не получилось наоборот... А что значит сильнее? Умней? Лучше? Так это еще надо доказать. Не так-то все просто. Ведь Борька — талантливый меня, а цели у него какие-то мелкие. Мельтешит по поверхности... Но в конце концов, я ему не семья и школа и не исправительное учреждение, пусть сам свои вопросы решает.

Мое дело — училище. Самое интересное в училище это, по-моему, практика. Мы проходим ее на морских заставах, на сухопутных. В качестве заместителей начальника. Это уже настоящая пограничная служба. И сейчас я порой путаю в воспоминаниях, что где было — на училищной ли практике, или когда уже начал служить. В моем полубытьи нетрудно спутать.

Положен нам отпуск. Да еще какой! В июле месяц и в январе — феврале полмесяца. Каникулы как у школьников.

И вот в один из отпусков на III курсе мы с Зойкой постановили наконец сыграть свадьбу. Так многие из вставших на семейный путь делают. Потому что, когда идут занятия, никогда не знаешь — вдруг срочный сбор, учебная тревога, да и нельзя всех товарищей пригласить — не уведешь же половину роты!

Мы решили: как наступит летний отпуск, так в первый же день сочетаемся законным браком, а на второй учимся в свадебное путешествие. Куда? В Прибалтику, там есть некий спортивный пансионат, куда по большому благу выдающемуся мастеру спорта свет Зое предоставляется путевка, а заодно в качестве довеска ее вновь испеченному мужу, чтоб поднимал морально-игровое настроение жены. Накануне каких-то соревнований, по отнюдь не по легкой атлетике, а, наоборот, по самбо. Вот в пансионате проходит сбор, Зойка — выдающаяся самбистка современности, и на присутствие мужа, а следовательно, льщу себя надеждой, и на нарушение режима ее начальство закрывает глаза.

До отпуска месяц, и с временем туго — экзамены.

Впрочем, сдаю их на «отлично», Корнев, мой коллега, тоже. К общей радости узнаем, что они с женой собираются в отпуск тоже в Прибалтику, у нее там родственники. Мечтаем о совместных мероприятиях.

К свадьбе после экзаменов прихожу, как принято выражаться, «усталый, но довольный». Похудел, почернел. Зойка бегаёт вокруг, кудахчет, старается подкормить, хотя, прямо скажем, курсантам голод не грозит. Почему-то Зойка считает главной заботой жены — накормить мужа! Или это все женщины так?

Наконец экзамены позади. Отпуск оформлен, и пятого июля имеет место быть торжество, после чего мы уезжаем.

Наступает пятое — самый счастливый день моей самой счастливой поры!

У нас много поют об «утере обрядности». Ах, ах, Дворец бракосочетаний — скукотища и больше напоминает конвейер, чем храм супружества, свадебные пиры — унылость, даже не выпьешь как следует (как будто раньше, когда напивались в доску и скандалили, было красивей). Потому, мол, молодежь сочетается в церкви, там торжественней. Может быть, не знаю, не бывал. Но по-моему, главное не обстановка снаружи, а внутри. В уме, в сердце, в душе. Я ясно выражаюсь? Лучше пусть свадьба будет тихой, скромной, зато на всю жизнь, чем блестящей и шумной на пару лет, а потом развод (что куда чаще случается).

Словом, свадьбу устраиваем дома. Это уже вообще нарушение всех современных канонов и наносит коварный удар по общепиту.

Но нас немного за праздничным столом — мы с Зойкой (вы, наверное, сами догадались), мои с дедом в качестве тамады. Александра Степановна, Зойкина мать (все слезы умиления вытирает, дождалась наконец дочкиного счастья), Корнев с женой Тамарой (красивая, ничего не скажешь, хотя Зойка, разумеется, красивей). Еще подруги Зойкины — хорошие девочки (между прочим, все самбистки, не легкоатлетки!), ее тренер Станислав Ионов (парень ничего, придется проявлять бдительность...), мои друзья-динамовцы, командир взвода, кое-кто из ребят, Борька Рогачев (один, без очередной «чувихи». В подарок приволок видеомагнитофон, на следующий день отвез ему обратно, «рано, сказал, такие подарки дарить»). Вот и все, пожалуй.

Грустный какой-то был Борис, при всем его ярмарочном счастье. Мне его даже жалко стало. Тосты он, конечно, произносил остроумные — еще бы, какая небось практика. Остроумные, но чего-то в них не хватало. Чего? Я проанализировал и пришел к выводу, что не та для него компания, не тот народ собрался. Но почему я его осуждаю, какое имею право? Блестящий переводчик, отличный работник, ему доверяют ответственную работу, за рубежом... В чем дело? Бабник, любитель легких развлечений, эгоист (потому что он эгоист!) — ну и что? Я тоже не ангел и не святой в конце концов. И все-таки меня все время тянет прочесть ему правоучение, хорошо, что хватает ума удержаться...

Когда у Бориса умер отец, вот когда он оказался одиноким. Я, сколько времени мог, был с ним. Что-то все его верные друзья улетучились в те дни. Они не любят мрачных событий, им подавай веселье. Мы тогда одним вечером позд-

но у Бориса засиделись. Об отце его поговорили, о моем. И вдруг он говорит:

— Знаешь, Андрей, хороший мой предок был человек, только уж больно добрый. Ему иногда ремень спясть да мне по заднице надавать, — помолчал, усмехнулся и добавил: — Ремня не было — подтяжки носил.

— Ремня тебе действительно неплохо бы, — говорю, — а может, сам сообразишь? Ты ведь, Борис, как-то пусто живешь. Не вижу я у тебя магистрального пути.

— Да я и сам все понимаю, — вздыхает, — да поздно теперь меняться. Привык.

— Ну что ж, — кончаю разговор, — привык, и ладно. Может быть, со временем по своей линии чего-нибудь стоящего добьешься. Хотя и сейчас вроде честно работаешь.

— Думаешь, честно? — как-то странно спрашивает.

— А разве нет? В чемоданах контрабанду ведь не возишь? — пытаюсь пошутить.

— В чемоданах-то нет... — отвечает с усмешкой.

Дурацкий какой-то разговор.

Но то было позже. А тогда после Дворца бракосочетаний, что на Ленинградском проспекте, поехали к могиле Неизвестного солдата (дед с нами поехал. При всех орденах). Вот это хорошая традиция. Правильная. Все-таки все мы им, тем, кто не вернулся, обязаны. Все без исключения. Они нам эту нашу жизнь подарили. Благодаря им мы счастливы. И в счастливые минуты, ну как не отдать им долг, не поблагодарить! Постояли, положили цветы. Дед прослезился.

А дома хорошо посидели. Дед у меня хоть и суровый на вид, а мужик остроумный. Вел, как он выразился, «свадебное заседание» весело. Засиделись чуть не до утра. Что пили один сок, врать не буду. Сам я, как известно, спортсмен и алкоголь не употребляю, но думаю, у нас легкий перебор. Все-таки бывают случаи, когда не грех выпить. Кто не хочет, не надо, а кто не прочь, дай ему бог.

Первая брачная ночь длилась часа три. Потом начали укладываться. Вернее, Зойка, я полеживал и входил в свою новую сущность. Я — муж! Глава семьи! Будущий отец! Руководитель первичной ячейки общества! Ответственность перед обществом неизмеримо возросла, перед женой, простите, законной супругой, тоже. Ведь я глава семьи!

— Эй, глава, хватит валяться, — Зойка кричит. Подъем! Сбор! Вот тебе и новая сущность — еще одно начальство объявилось. Встаю, присоединяюсь к укладке одного-единственного чемодана, который мы берем с собой...

...Как же мы прекрасно провели этот отпуск! Все отлетело, что не было радостью. Пансионат, хоть и бедноватый, но разве это важно? А море? А пляж? А сосны? А Рига старинная? А чайки? Да разве все это можно забыть? Хоть и

июль, но вода здесь не кипятит. Для нас, как спортсменов, это значения не имело, что солнце, что дождь — мы на пляже, пробежали километров сто: вода до того места, где она по грудь (такое уж здесь побережье, что приходится полчаса идти по мелководью), и плаваем по часу; а то и дольше. Потом, если тепло, валяемся на песке, гуляем. Я болтаюсь на разных спортивных снарядах, которыми у них тут весь пляж уставлен и увешан, Зойка с упорством нефтеразведчика разыскивает в прибрежной тине янтарь и, естественно, не находит его. Потом идем обедать или завтракать (мы это делаем по дважды в день. Один раз в пансионе, второй в городе). Заходим в какое-нибудь кафе, ресторан, стационарный буфет и с удовольствием уплетаем, вкусно у них.

На десятый день приезжают Корневы — мой уважаемый коллега с супругой — царицей Тамарой, блистательной красавицей (но Зойка красивее).

Теперь проводим время вчетвером, а иногда, когда у Зойки трепировки, втроем.

И вот я начинаю замечать странную вещь. Эта Тамара, которая, помнится (мы все иной раз встречались в увольнении и в предшествующие училищные годы), была всегда веселой, кокетливой, заводной, как иногда говорят, здесь как-то грустная. То и дело задумывается, иной раз не сразу тебя слышит. Улыбается, конечно, но как-то рассеяннo, смеется, да вроде вымученно. Саша Корнев ничего не замечает. А я, и даже Зойка, сечем. В чем дело? Не могу понять. Ну да ладно, мало ли почему человек не весел — может, у нее кто-то из близких болеет или финансовые заботы одолевают, или на работе не ладится — она преподает английский язык в институте. Зойка со свойственным женщинам фантазерством предполагает самое невероятное, высказывает мысль, что у Тамары не может быть детей. Ох!

Все-то мы думали, кроме самого простого. Когда до отъезда оставалось совсем немного, прибегает к нам чуть не за полночь Корнев. На нем лица нет. Вскликаем с постели. Зойка рот ладошкой зажимает. Я кричу:

— Что случилось? С Тамарой что-нибудь?

Он молча кивает. Зойка в слезы. Я тормошу его.

— Да говори же, Саша, говори!

Наконец он выдавливает:

— Бросила она меня, — и какую-то бумажку нам сует.

Мы как сидели, так и застыли с открытым ртом. Бросила! Корнева! Невозможно. Оказалось — возможно.

Всю ночь проговорили. Оказалось вот что. Тамара влюбилась в Корнева без памяти, вышла замуж, счастлива, училище ее не пугало, виделись хоть не часто, но это только чувство обостряло, да и отпуска здорово проводили. Но вре-

мя шло, влюбленность превратилась в любовь, вернее, должна была превратиться... А оказалось иначе — чем ближе был выпуск, тем больше мысли о нем занимали Корнева и, конечно, Тамару. Они, как и мы с Зойкой, задумывались о будущем, строили планы. Все друзья-курсанты только и говорили о предстоящих назначениях, о местах службы, о «тамошних» условиях. И картина вырисовывалась суровая, для жены, не для офицера, для которого, какие бы ни были условия, главное служба со всем, что с ней связано увлекательным. А вот что будет делать Тамара на отдаленной заставе? Преподавать язык в школе? Она этого не сможет, это то же самое, что предложить преподавателю той самой высшей математики в математическом вузе учить первоклашек счету. Тамара очень способная, она закончила аспирантуру, у нее на носу защита диссертации, и ей сулят кафедру, да еще в языковом вузе, она уже, хоть и молодая, а о докторской задумывается. Уже дважды ездила за рубеж на стажировку, впереди еще более интересные командировки. А главное, она обожает свою работу, прямо живет ею. И у нее только вид такой шикарный, ресторанной дивы, в действительности она по характеру труженик и ученый. И ждет ее на поприще науки блестящее будущее. Это все говорят, да и по делам видно. А уехать с мужем на заставу — значит все это похоронить. Нет, конечно, можно поехать в Шереметьево или в какой-нибудь большой город, например в порты в Ленинграде, Одессе, Риге, но, честно говоря, шансов маловато. Да и Саша простодушный малый, всякие свои мечты неосторожно высказывал — «где потрудней, где потрудней, надо ехать». Вот и приехал.

Тамара, женщина решительная и серьезная, стала взвешивать все «за» и «против». Саша, увлеченный своими командирскими планами, ничего не замечал, наоборот, подливал масла в огонь, восторженно повествуя о будущей увлекательной жизни на затерянной бог знает где заставе. Но это для него, пограничника до мозга костей, она виделась увлекательной, а отнюдь не для его жены. Тут как раз предложение о кафедре подвернулось, научный руководитель высказал свой восторг диссертацией, реальные формы стала приобретать докторская и т. д. и т. п. И Тамара приняла решение.

Чтоб не портить Корневу отпуск, поехала с ним, все дни мучилась, страдала, и наконец не выдержала. Написала ему все это в длинном печальном письме и, воспользовавшись тем, что он на весь день уехал в Ригу (между прочим, ис-кать ей подарок на день рождения), уехала. Все. Сидим, молчим. А что говорить?

Зойка смотрит на меня с виноватым видом, будто это она уехала. Как-то робко берет меня за руку, сжимает.

А мне неловко за мое счастье. Словно я обжираюсь за столом, а напротив язвенник сидит. Я ни секунды не испытываю тревоги за мою Зойку. Мысль о том, что она могла бы поступить как Тамара, будь она хоть академиком, просто не приходит мне в голову.

— Так что делать? — возвращает меня Корнев к действительности. — А? Что делать?

— Вернуть, — говорю я.

И тут моя Зойка неожиданно авторитетно вступает в разговор:

— Ничего не получится, — говорит твердо, — она не вернется. Надо взять себя в руки и пережить.

— Почему это не вернется? — это я говорю запальчиво.

— Потому что я Тамару знаю лучше, чем он (она покаявается на Корнева), и женщины, — добавляет, — лучше, чем вы оба.

Мы молчим. Я чувствую, что она права, просто хочется как-то поддержать друга.

— Она права, — грустно констатирует Корнев. — Тамара не вернется. Она раз-два ничего не решает, но если решила — все! Надо пережить...

Ну что следует дальше? Обычные бесполезные советы, общие бесполезные рассуждения, тягостные для всех, а больше всего для Корнева, сочувствие. Все это мур и никогда никому не помогало...

Корнев улетел через два дня, а мы с Зойкой старались не расстраиваться. Чужая беда нас сблизила. Зойка изо всех сил старалась доказать мне, что никогда ничего не заставит ее отказать от меня (словно мне нужны доказательства!).

Мы ходили при луне по пляжу. Пахнет здесь здорово, хвоей, морем, остывшим песком. Вдали огоньки, откуда-то музыка слышна... А вот пограничников не вижу. А? Почему пограничники не ходят? Интересно, может, потому, что залив...

Этот отпуск как-то особенно сблизил нас с Зойкой. Не знаю, но мне почему-то кажется, что невеселая история Корнева сыграла здесь свою роль. Так или иначе, теперь я чувствую себя женатым человеком.

Последний год учебы, как всегда бывает, выдался особенно напряженным.

Да, годы училища были самые счастливые для меня. Позже на заставах, вспоминая то время, я делал это с благодарностью. Я не идеалист и знаю, что немало есть высших учебных заведений, которые мало что дают окончившим их специалистам как раз в их специальности. Думаю, что к военным училищам это не относится. Во всяком случае, не к нашему. Окончив его, я чувствовал себя уверенно. Ежегодные стажировки снимали все вопросы, какие возникали

в ходе занятий. Конечно, преподаватели у нас будь здоров, сами не один десяток лет отслужили на заставах. Но одно дело получить ответ на вопрос в классе, а другое — на заставе в конкретном деле. Да, службу мы после училища знали. Твердо, заставить нас враспloh было бы нелегко. Занимались в условиях, максимально приближенных к реальным.

Может быть, потому, когда сейчас в моем больном полушарии проносятся у меня в голове все эти воспоминания, я не могу различить, что было на границе, на заставе, когда начал я там служить, а что — во время стажировок на тех же, а может, других заставах.

И проходят перед моими закрытыми глазами все эти свежие зеленые леса, эти ароматные луга, журчащие реки, утесы, эти дальние спящие снега, буруны за кормой сторожевых катеров. Проходят мои товарищи, те, с кем служил я годы, и те, с кем лишь месяц... Все, все причудливым хороводом кружится в мозгу...

Я окончил училище с отличием, получил красный диплом. Да еще переводческий («Прекрасно, — отметила Зойка, — десять процентов к денежному содержанию за язык. В хозяйстве пригодятся»).

Окончание училища запомнилось многими торжественными церемониями.

С утра все выпускники в парадной форме едут возлагать цветы. Между прочим, парадная форма подарок нам. Как и повседневная, и полевая, и многое другое (Зойка узнала, обрадовалась, словно нам подарили вечернее платье или на худой конец — колготки).

Мы возложили венки у Мавзолея и у могилы Неизвестного солдата. Казалось, еще совсем недавно положили мы здесь с Зойкой наш скромный букетик в день свадьбы, и вот я опять у этих мраморных плит, у этого мечущегося огонька. Два главных события моей жизни отмечались тут... Цветы мы возложили и к памятнику Ленину, и к обелиску в память курсантов, погибших в Великой Отечественной войне.

А потом состоялась церемония выпуска. Выстроились мы на плацу. Плац окружили родственники, друзья (точнее, подруги), родители. Конечно, дед при всех своих двадцати четырех наградах, опершись на палку, Зойка в объёмку с моей мамой, отец, весь проникнутый величием минуты. И, а может, мне только показалось, где-то в задних рядах, прячась за спинами, — Тамара. Только Корнев-то по сторонам не смотрел...

На трибуне высокое начальство — заместитель председателя комитета, наш начальник, начальник политуправления, начальник училища, другие генералы, ветеран, Герой Советского Союза, секретарь райкома, еще кто-то,

Вручают нам дипломы, на митинге выступают начальство, ветеран, выпускник.

Прощаемся со знаменем. «Головные уборы снять, колени преклонить!» — несется над плацем. Звучит марш, и проплывает перед нами последний раз знамя училища. А потом мы все, выпускники, уже офицеры в офицерской форме, проходим торжественным маршем.

Все. Закрылась еще одна страница жизни, открылась другая. Прощаемся с преподавателями, командирами, друг с другом, плац заполнили гости. Смеются, кричат, шумят, поздравляют молодых офицеров. А мы радуемся, благодарим, тоже смеемся.

И никто из нас не знает, что ждет его впереди...

...Отпуск, положенный мне перед прибытием к новому месту службы, мы с Зойкой провели в Москве. Хотелось побольше побыть в ней, подышать ею. Кто знает, когда мы еще увидим первопрестольную...

И кто знает, когда я увижу моего друга Бориса Рогачева. Перед отъездом из Москвы встретились мы с ним, зашел я к нему.

Тут же, конечно, извлекаются какие-то экзотические напитки, заводится супермодная музыка, создается антураж...

Сидим, болтаем. Как в пинг-понг играем.

— Едешь? — спрашивает.

— Еду, — отвечаю.

— Радуюсь?

— Радуюсь.

— А Зойка?

— Она тоже.

— Что тоже?

— Радует.

— В Москву-то вернешься?

— Когда-нибудь.

— Скучать будешь?

— Буду.

Чпок-чпок, чпок-чпок — летает мячик.

Наступает моя подача.

— Жениться собираешься? — спрашиваю.

— Зачем? — отвечает.

— Верно. А диссертацию защищать?

— Уйду на пенсию — защищу.

— Может, на постоянную в загранку уедешь?

— Кто знает...

Чпок-чпок, чпок-чпок — летает мячик.

Вот такую мы нехитрую партию разыграли перед моим отъездом.

А выглядел он неважно, Борька-то...

Глава VI

«ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ»

Я приоткрываю глаза. А что делать? Я ведь все равно не могу заснуть. Не так уж много мне, наверное, осталось пребывать с открытыми глазами — нечего тратить время на сон. Мой взгляд упирается все в ту же серую бетонную стену, в низкий потолок, в железную дверь, мысли, устремленные в будущее, — в такую же стену.

И тогда я все же закрываю глаза и ухожу в воспоминания. Здесь совсем другая картина — здесь все блестит, переливается и клубится, словно не в глухой я камере, а на золотых пляжах, на цветочных лугах, в солнечном лесу. На оживленных улицах больших городов, в огромных холлах дорогих отелей, на яхтах и лайнерах, на фестивалях и празднествах, а кругом музыка, смех, веселье и громкая речь. Иностранная речь...

Словом, все, о чем мечтал, чего хотел, добивался. Чего коснулся. Чего подлинную цену узнал лишь теперь.

Те годы вспоминаю, как улицы незнакомого города, увиденные из окна скорого поезда. Мелькают яркие пятна, и ни на чем не успеваешь остановить взгляд.

Какие же счастливые годы! И как молниеносно пронеслись! Что ж поделать — хорошее всегда бежит быстрее плохого. Кому не ясно, что в тепле и сытости каждый хочет жить подольше, чем в холоде и голоде. И вспоминает об этом с большим удовольствием!

Все-то у меня ладилось тогда, всюду были удачи.

Во-первых, диплом я таки получил с отличием.

Нацелился в «Экспортфильм», хотя были и другие варианты. Даже в УПДК предлагали. И вдруг вызывают меня к декану. Сажу в приемной, волнуясь. Наконец являюсь пред светлые очи. Доброжелательный взгляд, поощрительная улыбка, теплое рукопожатие и совершенно неожиданное предложение... остаться в аспирантуре. С перспективой защититься и преподавать языковую практику. Я молод, я талантлив, я усидчив, я умею, а главное, люблю (!) работать. И т. д. И т. п. На размышление — три дня. Я размышляю три минуты и, изобразив душевную борьбу (достойно ли?), а также несказанную благодарность за доверие, которое, конечно же, оправдаю, и т. д. и т. п., даю согласие.

Рассуждаю так: чем сидеть — пусть на интересной работе — от звонка до звонка, лучше быть свободным как птица, то есть как аспирант. Это только дураки и психи в аспирантуре трудятся. Остальные все гении сбрасывают мини-

мум, как ботинки, придя в дом, а диссертацию создают легко и быстро, поскольку гении. Далее: уж как аспирант я смогу ездить по командировкам от луза. Это точно. Даже наших студентов иногда, а аспирантов беспрерывно, направляют в качестве переводчиков с нашими делегациями за рубеж. Для будущего преподавателя практики побывать в «языковой среде», пусть и недолго, сам бог велел. Тут все помогут — от ректора до кадров в министерстве.

Платят стипендию. Престижно. Нет, аспирантура — это здорово! Да! Я забыл, там же еще диссертацию можно защитить. Всегда пригодится. А уж тему я выберу такую, чтоб потребовалось где-нибудь в Беркли или Оксфорде полгодика в библиотеке поторчать, скажем, «язык Вильяма Шекспира».

И тут я задумывался о причинах столь лестного предложения. Декап, вскормленный на моих детективах, один не решает, решает совет. Отец никому не звонил, я шагов не предпринимал. В чем дело?

Узнаю, что еще троим из нашего выпуска предложили остаться в аспирантуре. Все плебеи, один, по-моему, вообще от сохи, из какого-то села приехал. И уж никаких связей у них. Что ж нас роднит?

Оказывается, способности! А? Просто-таки способности. Мы, оказывается, все четверо получили диплом с отличием, блестяще знаем язык, у нас прекрасные характеристики, мы умеем работать, мы перспективны...

То есть, ни малейшей протекции, никакого блага! Поразительно. Оказывается, у нас можно сделать карьеру без папы, без дарения детективов, просто потому, что ты способный человек. Невероятно! Может, я зря старался, ну, вы понимаете, о чем я? Может, и без этого меня ценили? Как интересно!

Так или иначе, я становлюсь аспирантом Московского государственного педагогического института иностранных языков имени Мориса Тореза.

Значит, это во-первых. Во-вторых, начинаю ездить в загранку. Но об этом мне хочется вспомнить попозже, как самое вкусное оставляют на десерт.

Происходят и другие события, может быть, и не всегда веселые. Но жизнь есть жизнь, и постепенно со всем примираться. Умерла моя мать. Тихо, как-то незаметно. И с тех пор отец изменился очень — весь сразу постарел, сжался, сморщился как-то. Улыбаться вообще перестал, стал рассеянным и раздражительным. И, по-моему, это сказало на работе, на взаимоотношениях с начальством. Он не говорил, но я чувствовал, что у него неприятности на службе, намекают на пенсию, реже стали командировки. Отца я

любил, но, в конце концов, это его проблемы. Что делать, редко родители переживают детей, а мы с их уходом жить не перестаем. Закон природы...

Ушла из жизни Натали. Нет, нет! Не вообще, а из моей. У нее, как пел мой, и ныне любимый, Вертинский, «родились ангелы». Поразительно! Родила двойню. Еще бы, не от кого-нибудь — от футболиста. Он и видится-то с ней раз в полгода, зато вот — двойня. Дочки. Назвала — Вера, Надежда. Это как понимать? А где ж любовь? Она, что, собирается еще одну? И это моя (бывшая) Натали! Как меняются люди. Она теперь в семейном счастье, говорить с ней ни о чем невозможно, кроме как о Вере и Надежде. А о любви, тем более со мной, она и слышать не хочет. Свидания наши стали все более редкими и скучными, а потом и совсем прекратились. Перепоздравляемся по телефону под Новый год или 8 Марта.

Вот кто из моей жизни не ушел, так это Ленка. И хотя она стала еще более красивой, элегантной и почти знаменитой (снялась уже в трех фильмах и в последней в довольно крупной роли. Нет, откуда что берется!), по падею мне жутко. С ней и раньше-то интеллектуальные беседы вести было нелегко, а теперь совсем стало невозможно. Только о кино и киношниках. Как со мной в период моей кинодеятельности. Но, хоть я и продолжаю встречаться со сливками этого общества и подрабатывать переводом, все же я аспирант, так сказать, деятель науки. Еще неизвестно, какую тему я выберу для диссертации. Вдруг — «Выдающиеся советские актеры и режиссеры в кинокартинах совместного производства»? А? Я на это туманно намекал в «тех» кругах. Если откровенно, то выдающихся актеров это мало волнует, да и с кем из них я по-настоящему знаком? Зато второ- или даже третьеразрядных интересует очень. Глядишь, и напишу о них — в этой профессии пренебрегать никакой рекламой нельзя.

Да, так вот. Я все меньше и меньше вижусь с Ленкой, хотя она мне железно верна. Иногда меня это даже трогает. Но она годится только для постели или чтоб показаться с ней к всеобщей зависти в публичном месте. И то при условии, что не раскроет рта. Приходится пробаиваться случайными находками, есть среди них — о-го-го! Но сердца никто не греет.

Хоть и не часто, но регулярно виделся я в ту пору с Андреем Жуковым. Интересная у нас дружба: вроде бы почти нет вопросов, по которым мы придерживались одинаковой точки зрения, и спорили без конца, и подкалывали друг друга, а вот дружили. Что-то связывало нас крепко: детство, школа, возраст, общие воспоминания.

Он поступил, конечно, в свое пограучилище. Еще бы!

За время службы значков нахватал больше, чем иной режиссер государственных премий.

С тех пор, как определился в училище, его не узнать. Веселый, быстрый, старается по театрам, концертам бегать («На заставе буду — оттуда не очень-то побегаешь», — говорит). Я думаю, в Шереметьеве когда служил, он проникался. Проникался, так сказать, серьезностью и ответственностью будущей профессии. Опыта большого не было, чин не велик — сержант, вот и держал себя в строгости. А теперь без пяти минут, ну, без двух лет — офицер. Сам будет другими командовать — иное состояние, иное настроение. Во всяком случае, я так думаю.

— Ну, а с Зойкой как, долго в адюльтере будете пребывать? — спрашиваю.

— Адюльтер — это когда изменяют законным супругам, а мы холостые, — смеется (нет, ты смотри, какой образованный!).

— Вы язык там учите? — интересуюсь. — Не французский, случайно.

— Разные, — отвечает, — кто какой. Я и на службе, и в училище занимался английским. Как ты, конечно, знать его не претендую, но кое-что, как видишь, усвоил.

И все это шпарит по-английски и вполне прилично, не с бронковским, конечно, акцентом, но очень даже прилично (а на кой черт он ему нужен, этот акцент! «Стой, стрелять буду!» можно и без оксфордского произношения кричать).

Но все же я искренне поражен.

— Ну, даешь! — восхищаюсь. — Слушай, хочешь, я тебе мои детективы дам почитать? Там будь здоров выраженьица есть, опять же практика, а? И знаешь, какие способы шпионов ловить описаны, прочтешь — ни один не проскользнет.

— И так не проскользнет, — усмехается, — а по части языка я Хемингуэя почитываю, Драйзера, Джека Лондона тоже. И, представь, все понимаю.

— Молодец, — хвалю, — я вот Драйзера всего так и не удосужился прочесть. Ну, ладно, ты от темы-то не отвлекайся, когда свадьба?

— Скоро, — неожиданно говорит, — очень скоро. Понимаешь, с жильем у нас трудновато — дед, отец с матерью да мы еще, а там, глядишь, еще один Андрей Андреевич появится. Ну, куда? Осталось-то учиться всего-ничего, получу назначение и...

— А если в Москве получишь? — перебиваю. — Опять в Шереметьеве. Может ведь так быть? Только теперь офицером. Ты там два года отбарабанил, все знаешь и в шляне любого шпиона узнáешь (припомнил ему тот случай, ох, и злопамятный же я!).

— Нет, — улыбается, — на заставу поеду.

И столько у него уверенности и желания тоже чувствует-ся, что я подумал — небось все договорено. Или у них так положено после училища.

— Слушай, — интересуюсь, — а не скучно будет? Никого кругом, пичего нет — кино, театров, ресторанов, друзей... Культурной жизни никакой.

— Странно ты рассуждаешь, — пожимает плечами, — словно не в двадцатом веке живешь. Во-первых, начальнику заставы скучать особенно некогда, у него, между прочим, есть кое-какие обязанности. Во-вторых, существует телевидение, и оно, как тебе известно, приобщает людей к культуре в любом месте, есть радио, книги, кинопередвижки, есть спорт, кое-где рыбалки, в горах — охота... Красотища — горы, степи, леса, реки, это куда попадешь, а за службу попадешь всюду. Есть же Зойка, наконец. А с ней я и на необитаемом острове счастлив буду. Так когда ж скучать?

— Убедил, — тяну с сомнением. — Наверное, у каждого свое...

— А ты, вот, почему не женишься? — спрашивает. — Ты небось всех девок перебрал в Москве и сопредельных областях. Что с Ленкой — все? (Про Натали знает, я ему рассказал.)

— Не знаю, — говорю, — разочаровался я в ней. В малых дозах еще ничего, в гомеопатических. А как представлю — каждый день с ней. Брр! Не приведи господь. Умру от скуки.

— Вот видишь, — смеется, — оказывается, скука-то не на заставе, а, так сказать, в сердце Москвы, в центре культурной жизни, — помолчал, встал, потянулся. — Интересной жизнью, друг Борис, можно жить всюду, все от человека зависит.

— Очень свежая мысль, — ядовито замечаю.

— Мысль не новая, согласен, — говорит и смотрит на меня многозначительно, — но для кое-кого недоступная.

Иногда мне кажется, что Андрей старше меня на сто лет, эдакий все знающий и все понимающий мудрец. А я, значит, бегая в коротких штанишках и шалю. Меня это раздражает, потому что я чувствую его превосходство, но не понимаю в чем.

Я ведь еажу по свету, а он дальше Риги или там Черного моря нигде не был, у меня такие чувихи и в таком количестве, что любой султан утопился бы от зависти, а он со своей Зойкой только и тусуется, у меня полтора гардероба костюмов, видик, суперсистема, у него — три комплекта обмундирования... Так у кого превосходство?

Да, согласен, выясняется, что он по книгам какой-нибудь закордонный музей лучше меня, там побывавшего, знает, и читал писателей, которых весь мир (кроме меня) знает, и в

концертах бывал, где музыкант тише ста тысяч децибел играет...

Ну и что? Это основание для превосходства? Словом, скрывать не буду, злуюсь на него. Он единственный из моих корешей, кто не только мне не завидует, а искренно считает, что я должен завидовать ему! Ну не нахальство! Но что самое возмутительное — это то, что еще жалеет меня! Черт знает что!..

Вот так встречались, хоть и не часто, болтали. Иногда втроем с Зойкой в театр или концерт ходили. Мне-то некого было привести. При одной мысли, что скажет Зойка, увидев чужих, с которыми я в тот период знался, мне страшно делалось. Шла жизнь, катила свои бурные волны под мостами... Ах, я уже говорил это? Пардон.

Главным же событием тех лет были мои зарубежные поездки (да будь они прокляты!).

Первое путешествие молодого талантливого аспиранта Бориса Рогачева в Европу имело место быть на кинофестиваль в Сан-Себастьян (для малокультурных сообщаю, что это в Испании, в стране басков. Не знаете, что это такое? Ничем не могу помочь, читайте 123-ю страницу пятого тома издания «Страны и народы», издательства «Мысль», 1983 год, Москва).

Меня опять отвозит в аэропорт папин шофер Петька, я с видом усталого завсегдатая опять минуя таможенную, билетную стойку, паспортный контроль (в стеклянной будке не Андрей, другой сержант, но они схожи, словно родные братья, тот же строгий вид, проникающий взгляд, холодная вежливость; шляпы у меня нет — лето). Едем втроем — известный наш режиссер, кинокритик и я. Четвертый — известный актер — в последнюю минуту заболел, невезуха.

Летим, делаем остановку в Берлине. На аэродроме Шёнефельде транзитных пассажиров бесплатно угощают пивом. С удовольствием выдуваю кружку этого глубоко противного мне напитка.

Мы снова в воздухе, и через три часа — приземление в мадридском аэропорту Бараес. В Мадриде мы должны остановиться на два дня на обратном пути, а сейчас погружаемся в машину и едем в отель «Мелиа-Кастилия», один из лучших в испанской столице. Оттуда с еще одной группой гостей и участников фестиваля автобусом отправимся в Сан-Себастьян.

В машине я, к неудовольствию нашего руководителя, Известного режиссера, явно пренебрегаю своими переводческими обязанностями. Я рассеян. Я невнимателен. К счастью, с нами едет лишь какой-то второстепенный сотрудник фестивального комитета, и Известный режиссер не очень-то удостаивал его беседой.

А я не мог оторваться от окна. Эта оживленная толпа, красивые дома, некоторые с садами на крышах, окаймляющие широченную авениду Генералиссимуса (когда-то — Франко). А какие машины! Какие машины! К сожалению, я не успеваю разглядеть женщин, но они наверняка все красотки, ничего, еще разгляжу.

Приезжаем в отель. Ну и ну! Я никогда не думал, что бывают такие отели, даже миллионеры из моих детективных романов в таких живут не часто. Я брожу в ожидании автобуса по холлу отеля, по коммерческой галерее (какие вещи! какие вещи!), захожу в туалет (какой туалет — кафельный дворец, а не туалет!). Наш руководитель, Известный режиссер, отыскивает меня у входа в бар (какой бар!) и шипит:

— Где вас черт посит? Пришел Фернандес (какой-то местный кинобосс), а я не могу с ним и словом обменяться. Очень прошу не отходить от меня. Мой английский для ответственных бесед недостаточен.

«Его английский!» С его английским он не сможет заказать в ресторане чашку кофе. Этот напыщенный болван начинает меня раздражать. И чем он известен? Какими-то дурацкими картинками, в которых полным-полно доярок, трактористов, шахтеров, строителей... Хоть бы один интеллигентный персонаж. Как же!

К счастью, подходит автобус (какой автобус! С уборной, цветным телевизором, эркондишеном). Мы рассаживаемся, я откидываюсь в кресле и впииваюсь в пейзаж за окном. Мне везет — Известный режиссер почти сразу погружается в сон, из которого выплывает лишь в конце пути.

А я слежу за пейзажами. Сначала — городскими, потом — довольно унылыми на выезде из Мадрида: виллы, рестораны, фабрики, плантации чего-то, выжженные солнцем поля, чахлые деревца. Но автострада потрясающая! Оказывается, она платная. Мы минуем огромную перекинутую через дорогу арку, шофер тянет в окошко сидящему в стеклянной будке контролеру руку и берет талон, он сдает его на выезде и заплатит деньги.

По дороге делаем одну остановку, около ресторана, пьем воду, посещаем туалет, разминаем ноги (Известный режиссер продолжает спать в автобусе, к счастью, критик говорит по-французски и в моих услугах не нуждается).

Брожу, рассматриваю книжки в киоске (увы, они все на испанском), бутылки в баре, прицениваюсь.

Едем дальше. Миповав горную цепь, попадаем на другую планету. Красота потрясающая! Горы, покрытые лесом, глубокие долины с серебристыми речками, живописные городочки, обрывистые скалы, виадуки, туннели. (Что-то я сбиваюсь на туристический справочник.)

Смеркается, ночь опускается мгновенно. Шофер включает телевизор. Это, оказывается, видео, и мы смотрим какой-то музыкальный фильм. У шофера хватило сообразительности не ставить серьезную картину, которую высококвалифицированные кинопассажиры наверняка не удостоили бы вниманием. А так пляшут полуголые девицы, поют какие-то жгучие бронежеты, танцовщицы фламенко стучат каблуками. Под конец даже я задремал.

Приезжаем, размещаемся в старинном отеле рядом с дворцом, где будет проходить фестиваль. Очень напоминает наш московский «Метрополь» (бывал я там): мебель прошлого века, потолки — четыре метра, ванна — немножко меньше зала в Лужниках. Все старое, неудобное, скрипучее. Но это я потом сообразил, а в тот вечер (вернее, ночь) я ныряю в постель, даже не почистив зубы, и засыпаю мертвым сном (неужели еще утром я завтракал в нашей московской квартире?).

Сам кинофестиваль в Сен-Себастьяне особых восторгов у меня не вызвал. Фестиваль как фестиваль, у нас не хуже. Конечно, было больше мужчин в белых смокингах и женщин в умопомрачительных платьях, но фильмы слабые. Наш шел вне конкурса. И, насмотревшись секса, крови, слезливых мелодрам и занудных, хоть и пышных исторических эпопей, я даже стал гордиться доярками и передовиками нашего Известного режиссера. А прочтя хвалебные рецензии в английских газетах, понял, что он действительно талантливый (воистину, нет пророка в своем отечестве!). Если б только он не был таким взбалмошным и получил бы английский...

Впрочем, на банкеты я сопровождал его с удовольствием, поскольку благодаря ему знакомился с разными звездами обоего пола (будет что заказать дома в компаньонах!).

Однажды мне подсунула под дверь свое фото какая-то красотка — «старлетка» — актрисочка третьей категории. К фото приложила список фильмов, в которых снималась, творческую биографию, размеры наиболее интересных у женщин частей тела (!), вес, список любимых блюд и напитков, домашний адрес и телефон. Я возгордился... до завтрака. За завтраком выяснилось, что такие же фото она подсунула всем, кто жил в отеле, даже женщинам. Ну, не свиство!

На следующий день еще фото, потом еще. Короче, это у них обычное дело. Жаль, я с той, первой, с удовольствием провел бы вечерок.

В свободное время (оно было, хоть и мало) гулял по городу. По широкой набережной, на которую выходят фасады отелей, ресторанов, пансионатов, по пустынной пляжке (у них купальный сезон наступает, когда температура воды прибли-

жается к кипятку), по прямым, решеткой расположенным улицам. Посидел на сквере возле набережной. Присмотрел — какие-то захудалые старички в ветхих черных костюмах, старухи еще бедней, да и парод помоложе с невеселым видом. В общем, конечно, не все здесь живут фестивальной жизнью. И я подумал, что если жить на Западе, то лучше миллионером, чем нищим (интересная мысль). Но это Испания, в Америке миллионеров побольше.

Сижу, мечтаю. Меня приглашают в Голливудский совместный фильм. Зачем совместный? Приглашают же наших режиссеров, балетмейстеров, скажем, в итальянские, югославские, французские театры... Вот и меня. На три месяца. Нет, на год. Нет, на три года. Вилла, машина, соответствующий гонорар, «старлетки», поездки за натурой по всему миру... А потом «Оскар»! Советский режиссер получает «Оскар»! И тут меня рвут на части все лучшие студии мира, предлагают баснословные деньги, засыпают Госкино просьбами (пишут и повыше, в Госкино-то, как всегда, чешутся). И я мотаюсь по свету, живу как боссы Голливуда: газеты хвалят, деньги сыплются. Со мной красавица-жена... Жена? Да, а почему бы не какая-нибудь французская или итальянская кинозвезда, эдакая Клаудия Кардинале? Только не американка — я ни одной красивой американки не встречал. Кроме Джен. Вот Джен! Чем не жена? Я послал ей открытку в первый же день (она ведь собиралась примчаться ко мне хоть на край света). Но до нашего отъезда вряд ли успеет получить.

И вдруг ночью, часа в три, — телефонный звонок! Вскочил как ошпаренный — что случилось, может, Известному режиссеру пришла в голову гениальная мысль, или Критик хочет, чтобы я ему перевел на английский речь на завтрашнем симпозиуме?

И кто ж это? Сэм! Собственной персоной! Откуда? Из Калифорнии. Вот так запросто звонит.

— Хэлло, Боб, — говорит, словно мы вчера расстались. — Какая досада, открытка твоя Джен пришла, а ее нет, она в горах на лыжах, туда даже связи телефонной нет.

— А?..

— Но я ей скажу. Она все время о тебе помнит. Очень скучает. Я тоже, Боб!

— А?..

— Ты не собираешься в Штаты? Или еще куда? Вот поздно открытка дошла.

Перестаю блеять и говорю:

— Как что-нибудь поматится, я из Москвы напишу...

— Нет, нет, — прерывает, — из Москвы не пиши. Может затеряться письмо. Лучше, как выедешь за рубеж, сразу звони мне. Я оплачу звонок, не беспокойся. Знаешь что, я вы-

шлю сотню долларов в «Бэнк оф Америка» на твое имя. Ты сможешь в любом отделении этого банка в любой стране получить.

— Да зачем... — канючу.

— Ну, мало ли что, вот телефон или телеграмма. Знаешь, Боб, я вышлю двести. Не понадобятся — отдашь. Хочу в Москве побывать зимой, у нас здесь турпоездка.

— Вот это другое дело, — радуюсь, — как приедешь, звони. Буду ждать. Джен привет. Прихвати ее с собой...

Кладу трубку, прихожу в себя. Наутро размышляю: интересно получается — Джен живет в Сан-Диего, Сэм — в другом городе, откуда он узнал, что я послал ей открытку? Потом решаю: наверное, родители Джен ему позвонили, они ведь друзья, что-нибудь в этом роде. Да какая разница.

После фестиваля возвращаемся в Мадрид и остаемся там три дня. И тут, хоть и слегка уязвленный, я получаю радостный сюрприз. Известный режиссер и кинокритик исчезают начисто из моего поля зрения. У них тут друзья в посольстве, среди наших спецкоров, испанские знакомые, я им не нужен (они мне тем более).

С утра до ночи брожу по Мадриду. Где я в те три дня только не побывал! И в музее Прадо, и в парке Ретиро, и в Толедо — не пожалел денег, съездил, и по главным улицам побродил, по Пуэрта дель Соль, по плаза Майор, даже в музее восковых фигур. Распутница нашего там сделали — высший класс! В кино ходил. В последний день гуляю по авенида Генералиссимуса. У меня еще десять долларов оставалось, хотел на аэродроме в «Фришоп» — безналоговом магазине — кое-кому из московских нужных людей виски купить, сигареты, Ленке (черт с ней!) духи. Но теперь решил: а, ну их всех, в конце концов, и в Москве все это можно достать, а сказать, что из Мадрида. Так что захожу в «Банк Бильбао» обменять на песеты свою десятку. Это тоже будь здоров церемония. Сначала нажимаешь на кнопку звонка, охранник изнутри видит тебя и автоматически открывает наружную дверь. Оказываешься в стеклянном аквариуме (стекла, непробиваемые для пуль), наружная дверь за тобой закрывается, и только тогда охранник, предварительно еще раз оглядев, открывает внутреннюю дверь. Эдакая шлюзовая камера. А войдут в нее трое-четверо подозрительных типов, шиих им охранник откроет. Сдаю свою десятку, предъявляю паспорт, иду к кассе. Это тоже аквариум из толстенного стекла, изолированный от всего, даже от газа, если преступники захотят стрелять из газового пистолета. Деньги я получаю в специальном лоточке. Когда кассир их туда кладет, лоточек от меня герметически отделен, потом он нажимает на кнопку, лоточек теперь для меня открыт, зато герметически отделен от кассира. Во как! Да еще вижу под потоло-

ком телекамеры, да охранников двое, только что крылатые ракеты в руках не держат. Да, банки здесь охраняются — будь здоров, за свои сто долларов, которые мне Сэм грозит-ся прислать, я могу быть спокоен.

И тут в голову мне приходит озорная мысль. Я понимаю, что это бред, но, в конце концов, могу я позволить себе поиграть с бредовой мыслью?

Выхожу из банка и захожу в соседний (они здесь понатыканы на каждом шагу) — в «Бэнк оф Америка». Та же процедура проникновения. (Непонятно, как герои моих детективов грабят банки, ладно, им видней.) Подхожу к стойке и небрежным тоном на моем лучшем американском спрашиваю, нет ли мне перевода.

Молодой накрахмаленный клерк, улыбаясь, берет мою краснокожую паспортину, куда-то исчезает, через пять минут возвращается и сообщает с вежливой улыбкой, что сеньору повезло, как раз сегодня утром пришел перевод, благо из одного мадридского банка в другой — это недорого.

Стою ошеломленный, но обрадованный. Сейчас сниму половину — в конце концов, я же потратился на марки, на конверт (вообще-то конверт я взял бесплатно в отеле).

Клерк осведомляется, буду ли я брать часть суммы или все пятьсот долларов.

Пятьсот?! Стою ошеломленный, но не обрадованный. Пятьсот? Это мне уже не нравится. Потом говорю себе: почему я обязан их брать, возьму двадцать, а остальные не мои. Это же Сэм посылал, а если б он прислал сто тысяч или миллион? Мало ли что он придумает. Возьму двадцать, и все!

Беру пятьдесят.

И решаю это отметить (дурацкая идея). Поэтому, посмотрев какой-то эротический фильм (в Мадриде в принципе нравы довольно строгие и порнографии на каждом шагу не увидишь), захожу в бар. Что особенного — на мне ведь не написано, откуда я, а спросят, сразу поймут, что я из Нью-Йорка.

Выпиваю стакан «сангрии». Жутко вкусное вино, типа клюшона, слабенькое — там красное, лимонный сок, всякие ягоды, сахар и т. д.

Заказываю еще стакан, потом графин.

Как же жизнь хороша! Сколько в ней наслаждений! Вот сижу я, элегантный, красивый, в изысканном баре, пью чудесное вино. И где? В Мадриде, в Испании. В кармане у меня шелестят доллары, а захочу, пойду еще сниму со своего текущего счета. Да, неплохо быть миллионером. Легишь куда хочешь, на собственном лайнере — в Париж, Рио-де-Жанейро, Акапулько, останавливаешься в каком-нибудь «Мелиа Кастилия», где рядом с унитазом и то телефон висит, а в ванной комнате, как войдешь, загорается под потолком

кварцевая лампа, где телевизор с дистанционным управлением и холодильник, набитый мини-бутылочками любых напитков. Как же жизнь хороша! Пусть на день, на час, но как же хороша! (Когда есть деньги.)

Я выхожу из бара и с удивлением обнаруживаю, что слегка захмелел, коварная штука, эта «сангрия», а уж если выпьешь графин...

С чувством превосходства оглядываюсь по сторонам, на всю эту фланирующую толпу, на освещенные витрины, на поток машин. Меня охватывает какое-то небесное ощущение эдакой вседозволенности: хочу — иду, хочу — зайду в бар и выпью еще графинчик «сангрии», хочу — дам тому нищему, что пиликает на скрипке, доллар или даже два, а вот тому красномордому болвану, что задел меня локтем, захочу — дам в морду...

Эх, сюда бы Джен или ту «старлетку», что подсунула под дверь фотографию. Я всматриваюсь в женщин. Бросаю на них магнетические взгляды. Эдакий богатый скучающий плейбой. И тут я замечаю на углу и дальше в темноте узкого переулка женщин, ну, тех, определенных. Они почти все в очень коротких, не по моде юбках, некоторые — в кожаных, в туфлях на немыслимо высоких каблучках или в сверкающих сапогах выше колена, тонкие блузки, свитера, майки обтягивают внушительные бюсты. Все намазаны, многие хорошенькие (хоть и потасканные), есть молодые, есть не очень. Они призывно улыбаются, бросают призывные взгляды. Но жестов не делают и слов не произносят. Это запрещено законом. Это называется «раколяж» — заманивание, и за это полиция их хватает.

Особенно мне нравится одна, она чем-то похожа на Мэрилин Монро (или на Джен). Испанка — жгучая блондинка, а может, не испанка... Молодая и, в отличие от других, какая-то свежая. Я смотрю на нее, она — на меня.

И вдруг я чувствую, что совершаю поступки, от меня не зависящие и мной не контролируемые.словно во сне, словно это не я. Неверным шагом направляюсь к ней, останавливаясь, она улыбается, берет под руку, увлекает в глубины темного переулка, в какой-то облезлый подъезд, по скользкой узкой лестнице, в длинный коридор (отель, что ли?) и приводит в комнату, где вся-то мебель — кровать, тумбочка, кресло и умывальник. Грязь, вонь, убогость... Но я всего этого не замечаю, это я вижу потом, перед уходом.

Она что-то бормочет по-испански, по-английски, по-французски, быстро раздевается и падает спиной на кровать. Кровать скрипит, за стеной кто-то громко разговаривает, через окно доносятся запахи кухни.

Поскольку я стою как истукан, она торопливо вскакивает, подходит, обнимает...

Когда я прихожу в себя, меня охватывает ужас. Моя Мэрилин Монро плещается в умывальнике. Она совсем не так молода и прекрасна, как мне казалось — складки на животе, отвислые груди, вены на ногах, крашенные волосы и не очень чистые ногти. Какой кошмар! Весь этот нищенский номер, эти шумы, запахи, духота. Я одеваюсь с быстротой пожарного по тревоге и произношу первое за время нашего свидания слово: «Сколько?» (У меня холодеет затылок при мысли, что не хватит денег, будет скандал, прибежит полиция, на завтра в газетах... Еще немного, и я потеряю сознание.) Продолжая плескаться в нелепой бесстыдной позе, она произносит по-английски: «Тридцать». Боже, какое счастье! Я готов расцеловать ее, горячо жать руку! У меня как раз осталось тридцать долларов! Торопливо извлекаю их, бросаю на кровать (передумает еще!) и, натываясь на кресло, бегу к двери, по коридору, едва не грохнувшись, слетаю по лестнице, выбегаю в переулок, жадно вдыхаю душный воздух, словно аромат альпийских лугов. Чуть не бегом миную по-прежнему разгуливающих «ночных птиц», выскакиваю на улицу Монтеро, все время оглядываясь, стараюсь затеряться в толпе.

Хватаю такси, на последние песеты добираюсь до отеля. Час ночи! Лезу под душ и моюсь, трусь, снова моюсь, стараюсь смыть эту женщину, эту постель, этот номер, переулок, улицу. Эту ночь, саму память об этих кошмарных минутах...

Наконец, залезаю в постель, по долго не могу уснуть. А вдруг какая-нибудь болезнь? Боже! Я тогда повешусь. Надо же было...

Вот так я провел свой последний день в Мадриде. И долго еще та убогая улица, жалкая женщина, облезлые стены номера и вонючая лестница заслоняли в моей памяти роскошный отель, блестящие банкеты, красавиц кинозвезд и фешенебельные бары.

Вот она, изнанка роскошной жизни! Миллионер, мистер Борис Рогачев! Болван!

В Москве я долго благодарил судьбу за то, что все обошлось, и даже пригласил в ресторан Ленку, чтоб отметить это событие (она, разумеется, не поняла, чему посвящен банкет). Вручил ей кое-какие подарки, выслушал слова благодарности и подумал — может, жениться? Постепенно кошмары с улицы Монтеро стали улечиваться, а Ленка снова раздражать меня. И жизнь потекла по обычному руслу: аспирантура, переводы, компашки, бабочки-однодневки, видеосеансы дома и у друзей, дискотеки, теннис... обычная жизнь.

Только отец меня огорчал. Совсем осунулся. Однажды неотложку пришлось вызывать — сердце. Лег в больницу на обследование, потом в санаторий. Ну, что врачи говорят? Что обычно: надо сердце беречь, не волноваться, не огорчаться, не курить (ах, не курить? значит, не пить. Ах, и не пить?). Странно...

Приближался Новый год. Стал размышлять, куда поехать? Предложений-то много. И вдруг звонок. Из Ленинграда. Сэм!

У них тур, как он и предупреждал. По программе в Москве всего один день — встреча Нового года. А наутро — домой. Так вот, могу ли я что-нибудь предложить? Сегодня двадцать девятое, из Ленинграда выезжают тридцатого вечером «Стрелой», перед отъездом позвонит, чтоб узнать, не придумал ли чего. На этом разговор заканчивается, деловой такой разговор.

Начинаю лихорадочно соображать, в какую компанию могу привести Сэма. Есть одна, не лучшая, но ничего ребята... ну, словом, разные ребята, с которыми обмениваемся «теми» журнальчиками, у которых смотрю «те» видеокассеты. Народ надежный, трое со своими чувствами плюс одна — для меня. Договорились у одного на даче (его старики в подмосковном доме отдыха, а дача — будь здоров!). Программа обширная — ужин, прогулка по зимнему лесу, сеанс весьма пикантных фильмов, ну, и римские оргии (на даче есть своя сауна с предбанником и камином). Вот туда потащу Сэма. Только один ли он? И, если один, где взять ему партнершу, а если с ним приятель, так где взять две?

Но все утрясается. Ребята согласны принять его, он придет со своей девчонкой (из их же тургруппы). И мы договариваемся встретиться у метро ВДНХ (они остановились в «Космосе») в девять вечера. Я буду с другом, у него машина, и мы за час запросто доберемся до Николиной Горы. Я рад, что все так хорошо получилось, мне б хотелось проявить к Сэму в Москве максимум внимания. Дело в том (но это я ему не скажу из суеверия), что весной у меня намечается наконец-то поездка в Штаты, в Голливуд — будут идти переговоры о совместном фильме. Едет Известный режиссер. Оказалось, что вопреки моим опасениям он остался мною очень доволен и потребовал меня как переводчика. Особенно радует то, что продюсер, с которым он будет вести переговоры (тот приезжал к нам, и я с ним знаком), прекрасно говорит по-русски, как и его жена, так что большой нужды во мне не будет. Уж в Голливуд-то Джен сумеет приехать! А может, все-таки предупредить Сэма? А то опять она как раз в это время отправится на свои лыжные курорты. Ладно, посмотрю по обстановке.

В условленное время встречаемся, садимся в машину

моего приятеля и катим на дачу. Сэм выглядит немного усталым и невыспавшимся. Еще бы! Их турпоездка проходит в таком темпе, что немудрено ошалеть. Его подруга мне показалась старше, чем он, довольно интересная, но какая-то строгая, молчит, не улыбается, эдакая образцовая секретарша на работе. Тем более, носит очки. Ну, да это ее дело.

Сэму я искренне рад, и он мне, по-моему, тоже. Мой приятель английского не знает, и я начинаю с упреков Сэму: зачем положил на мое имя деньги, да еще так много.

— Надеюсь, они тебегодились в Мадриде? — то ли спрашивает, то ли утверждает Сэм и подмигивает. (С чего бы? Не может же он, черт возьми, знать про улицу Монтеро!)

Едем, болтаем. Воспитанный в лучшем духе моих детективов, регулярно посматриваю в заднее стекло. Чисто. Нас никто не преследует.

Сэм рассказывает, что Джен очень огорчилась, узнав о моей поездке в Испанию, что она не смогла попасть в тургруппу. У нее занятия, но она надеется видеть меня в Штатах. Тут я, конечно, не удерживаюсь и сообщаю о возможной, еще не решенной, маловероятной, гипотетической поездке в Голливуд. Сэм приходит в восторг.

— Это замечательно! Мы с Джен приедем туда, это нам пара пустяков, и уж повеселимся. Ты не представляешь, какие в Голливуде есть местечки и какие у меня там друзья. О деньгах не беспокойся. Я получил наследство — тетка умерла. Денег много. У нас ведь не как у вас — в Америке полно разных богатых тетусек и дедушек, которые очень своевременно отдают богу душу, а наследникам — солидное состояние.

Мы весело смеемся. Неожиданно подруга Сэма — ее зовут Эстер — спрашивает:

— А эта дача, куда мы едем, не расположена в запретной для иностранцев зоне Подмоскovie? (Ну и маера выражаться!)

— Нет, — говорю, — там даже пляж есть, куда летом все дипломаты ездят.

Это ее, видимо, успокаивает, и она опять надолго умолкает. Мы с Сэмом продолжаем строить планы нашей развеселой жизни в Голливуде.

— А фотографировать там можно будет? — опять врзается Эстер.

Я не сразу соображаю, что она имеет в виду.

— Конечно, можно, — наконец отвечаю, — только что? Там нет ничего интересного. Военных баз, например, нет, — остро.

Но она резко прерывает меня:

— Военные объекты меня совершенно не интересуют!

Я мирная туристка. Я хочу сфотографировать зимний лес. Дачу русского человека, обстановку встречи Нового года, украшенную елку, закуски на столе, водку...

(О, господи, она, что, запрограммирована? С изумлением смотрю на нее.)

— Не обращай внимания, — смеется Сэм, — понимаешь, когда мы к вам едем, нас инструктируют, как вести себя, чтобы нас не приняли за шпионов...

— Какая чепуха! — говорю.

Но тут опять выступает Эстер:

— У вас ведь всех американцев считают шпионами. А я мирная туристка и не хочу совершать поступков, запрещенных вашим законодательством.

— Ну, какие вы шпионы, — веселюсь. — Сама я сто лет знаю и других ваших — студентов, Джен, разных режиссеров, актеров, продюсеров, журналистов. Никому и в голову не приходит подозревать их в чем-нибудь. Вы увидите, как вас будут принимать мои друзья на даче. Сэм — тоже мой друг, а вы его...

— Я несу полную ответственность только за себя, — талдычит Эстер, — и меня интересуют только достопримечательности. Встреча Нового года в русской семье — достопримечательность.

— Вы будете довольны, Эстер, — хмыкаю. — Там соберется очень респектабельная семья. (Да, думаю, уж такая семейка, что не поймешь, кто чей муж и чья жена.)

Сэм начинает хмуриться и что-то недовольно шипит Эстер, она надувается. Ну и черт с ней! Неужели у них в группе никого веселей не было?

Сэм угадывает мои мысли и, когда мы приезжаем и идем, чуть поотстав, к даче, говорит:

— Она пемного чокнутая, но неплохая, никого другого не было, всех лучшие наши ребята расхватали, мне вот она досталась.

— Да ладно, — говорю, — не огорчайся. Я тебе свою уступлю, пока мы с Эстер пойдем снимать зимний лес и «дачу русского человека», — смеюсь вовсю.

В конечном счете так и получилось. Предназначенная мне чувиха сразу усека, что к чему, и уделила Саму максимум внимания. Он оказался предусмотрительным, предвидел такой вариант и, по-моему, одарил ее неплохими сувенирами. И всем остальным привез новогодние подарки: ребятам — зажигалки, девчатам — сумочки, прихватил сигареты, пару бутылок виски, пару бутылок джина.

Мы вежливо протестуем. Он говорит:

— Нет, нет, это моя доля.

В ответ мой приятель, хозяин дачи, снимает со стены грузинскую чекашку и преподносит Саму, другую — Эстер.

(Интересно, что скажут его родители, обнаружив пропажу?)

Все идет по программе — ужин (после которого все весьма оживляются, даже Эстер), танцы, опять ужин (в смысле, выпивка), видеосекс. Интересно, думаю, как это воспримет строгая Эстер. Очень нормально воспринимает. Уж не знаю, где раздобыл эти кассеты мой приятель, но даже я (а это кое-что значит!) подобной порнографии не видел! Да, до чего люди додумываются. Все сидят завороченные (иногда кто поглупей гогочет), а Эстер спокойно и тихо, со скучающим видом. Я решаюсь спросить ее шепотом:

— Вас такие вещи не волнуют?

Она отмахивается:

— Надоело, все одно и то же, никакой фантазии. (Вот это да! Вот тебе и строгая Эстер! В ее глазах мы с такими кассетами выглядим средневековыми обывателями, она привыкла к куда более высокому уровню цивилизации. Ох, уж эти американки...)

Когда же мои порядком захмелевшие приятели и их подружки переходят от высокого видеоискусства к грубой практике, я согласно обещанию уволакиваю Эстер в лес.

Мы бродим по лесным тропинкам, меж укутанных снегом елей, вдоль сугробов... От воздуха и лесных ароматов сразу трезвею. Луна серебрится, из далекого далека доносится песня, высоко выводит девичьи голоса. Я настраиваюсь на лирический лад, беру Эстер за руку. Она мягко, но твердо высвобождается.

Фотографирует с блицем лес, замерзшую речку, верхушки елей, меня на фоне деревьев (просит, чтобы и я ее снял). Возвращаемся (оказывается, несколько преждевременно). Эстер так же невозмутимо фотографирует все это свинство, которое мы застаем. Ребятам наплевать, они хохочут, девки визжат, притворяясь, что смущены, но не прекращая своих игр. Честно говоря, все это выглядит довольно мерзко. Могу вообразить, какое представление об «обстановке встречи Нового года» у нас получат друзья Эстер после того, как она покажет им эти фотографии. Во мне нарастает злость: подонки, в каком виде мы выглядим в глазах Эстер и Сэма! (Я не тем возмущаюсь, что она все это снимает, я возмущаюсь моими приятелями. Ну и подонки!)

А, кстати, где Сэм? Ни его, ни моей одолженной ему подружки я не вижу. Начинаю искать и обнаруживаю их на втором этаже, в уединенной комнате сидят, мирно беседуют. Чувиха знает кое-как английский (в этой компании язык, пусть через пень-колоду, но изучили, еще бы — международный коммерческий язык!). Я так и не понял, было у них там что-то или они только и занимались интеллектуальной беседой. Во всяком случае, чувиха всю оставшуюся часть ночи была задумчивой и рассеянной.

К утру все засыпают мертвым сном. Дай бог, чтоб к полудню проснулись.

А вот мои американские друзья и я уезжаем аж в девять утра. Везет нас на своей машине все тот же мой верный приятель, ради меня пошедший на эту жертву. Он даже пил меньше других, хотя для гаишника что стакан вина, что литр водки — разницы нет.

Я хотел отвезти моих друзей прямо в «Космос», но они попросили высадить их чуть пораньше, им захотелось пройтись. Обнимаюсь с Сэмом на прощанье, договорившись, что, если буду в Голливуде, тут же позвоню ему и Джен. Эстер я целую в щеку, она пугливо оглядывается.

На том и расстаемся.

Всю остальную часть дня сплю как убитый, заложив телефон подушкой.

Вечером никуда не выхожу, с удовольствием вспоминаю минувшую ночь — как ели, пили, веселились, смотрели видео, гуляли с Эстер, о чем говорили с ней. На память мне приходит один эпизод из нашего разговора.

Мы болтали о студенческой жизни в Америке, я рассказывал, как познакомился с Сэмом и его «близнецами», об интродукции, о дискуссиях. И вдруг она спрашивает:

— А вы его хорошо знаете, Сэма?

— По-моему, да, — теряюсь немного, — а чего его знать, он — как на ладони.

— Да, как на ладони, — качает головой, — он вам о своем университете много рассказывал?

— Ну, не много, так ведь все университеты одинаковы, что у него особый, что ли?

— Не знаю, — усмехается и добавляет уже сухо: — Впрочем, это не мое дело.

Интересно, что она имела в виду, и почему я вдруг вспомнил этот разговор.

Получил рождественскую поздравительную открытку от Джен. Конечно, поздравили друг друга с Андреем, с Натали (вот, раз в год мы с ней с помощью открыток или телефонного звонка и общаемся, удивительное дело — была едва ли не самым близким человеком, а теперь я с трудом вспоминаю, как она выглядит. Это у всех так или только у меня?).

Минувший год был удачным. Все ладилось тогда. Если б не состояние, а главное, настроение отца, которые все больше беспокоили меня, я б вообще не знал забот.

Аспирантские дела шли отлично, приобрел репутацию едва ли не лучшего устного переводчика фильмов. Мне даже сделали предложение работать синхронистом на большом конгрессе. Но я отказался — долго, скучно и целый день занят. Я и так нарасхват.

А главное, вопрос решен: в начале весны мы с Известным режиссером вылетаем в Голливуд. Возможно, побываем еще в каких-нибудь городах, даже наверняка. Это, конечно, поездка уникальная, все мне завидуют, а сам я живу в предвкушении. Может, удастся задержаться до лета, посмотреть Лос-Анджелесскую олимпиаду, это ведь от Голливуда недалеко. Да, в конце концов, черт с ней с Олимпиадой — наши и соцстраны туда не едут, так что грош ей цена. В Америке и так для меня найдутся дела. Как же я ждал этой поездки! Путешествие в мир, о котором мечтал!

Эх, если б знать... Если б знать заранее, что найдешь, что потеряешь и чем за это расплатишься.

...Я не открываю глаз, слезы текут из-под закрытых век.

Глава VII

ТАМ, ГДЕ ПРОЛЕГЛА ГРАНИЦА

Наверное, мне все-таки не выкарабкаться. Жаль. Так хочется жить. Очень. И я все делаю, чтобы жить. А все, что я могу сейчас делать, это очень хотеть жить. Капают, капают рубиновые капли, и вливается в меня чужая кровь, становится моей. Иногда в шумихе вижу лица врачей, сестер, белые халаты, белые шапочки. Чья-то прохладная рука гладит мой лоб, наверняка это женская рука. И вдруг я слышу шелест высокой травы, вдыхаю аромат сена, откуда-то с небес курлычут журавли, ушедшие в свой дальний перелет, всюду разливается жаворонок, а соловьи поют так, что ушам больно. Но все заглушает запах хвои, и могуче-тревожный нарастающий ветер раскачивает верхушки высоких сосен. И журчит говорливый ручеек, и шуршит песок, и спят мои закрытые глаза снега вершин, и синеют озера меж неподвижных елей...

Все перепуталось, все смешалось. Это все заставы, на которых я был, догнали меня здесь. Вспомнились. Или пришли прощаться со мной. Когда-то я знакомился с ними как с новыми друзьями, проходило время, и я прощался как со старыми. Но помнил все. И вот теперь они вспомнили меня и собрались здесь вокруг моей постели, каждая со своими лесами, песками, горами, со своими ароматами, лесными шумами или речными всплесками, со своим птичьим гомоном, розовыми, алыми, синими, лиловыми небесами. Мой пограничный, мой военный путь. Недолгий путь...

— Товарищ подполковник, лейтенант Жуков прибыл для прохождения дальнейшей службы! — так я доложил коменданту отряда на заставе, куда меня направили.

Седоватый, коренастый, невысокий, загорелый, весь в

морщинах. Если б меня спросили, как его определить одним словом, я б ответил: «опытный» (и как выяснилось впоследствии, не ошибся). Такое впечатление, что он все умеет, знает, все видел, пережил, и для него нет неразрешимых вопросов. Это я так определил, еще даже не услышав его голоса. Жуков — психолог! Он смотрел на меня оценивающе, наверное, тоже определял, и подозреваю — куда точнее. Рядом с ним худой, жилистый, будто его из проволоки скрутили, старший лейтенант начальник заставы Божков (мне уже назвали), мой будущий командир. Впрочем, поскольку я доложил, уже не будущий, а настоящий.

В отдалении возле чемоданов застыла Зойка. После отпуска я хотел поехать к месту службы один, обжиться, осмотреться, а потом уже выписать ее.

— Шиш! — сказала она решительно. — Муж и жена — одна сатана, одна судьба. Едем вместе. Чего обжигаться, на улице не останемся. А выписывать будем мебель.

— Ты что ж, — говорю, — собираешься за нами по всем заставам гардероб возить?

— А почему нет? Наполеон, я где-то читала, всюду возил с собой походную кровать; Суворов, или Кутузов ларец, ну в общем столовый прибор, а ты чем хуже?

— Хуже Кутузова и Суворова? Ничем, — подтверждаю. — Чин только меньше.

— Это дело поправимое, — говорит.

И вот мы прибыли вместе. Доехали с удобствами, самолетом, потом поездом, потом машиной. Здесь тепло, свежий горный воздух. Впрочем, особых гор нет, хотя и высоко.

— Ну что ж, Жуков, — подполковник жмет мне руку, — рад, что прибыли, у нас дефицит офицерский (это он намекает, что должен приехать замполит, второй месяц ждуть). И что не один, а с женой, совсем хорошо, работу ей найдем, она кто по специальности?

— Учитель физкультуры, — говорю, — тренером может работать. По самбо.

— По самбо? — хором удивляются подполковник и старший лейтенант и подозрительно смотрят на меня.

— По самбо, по самбо, — подтверждаю.

— Ну что ж, — улыбается подполковник, — тогда без работы не останетесь. — И вдруг мгновенно меняет выражение лица. — А вы свое дело знаете? — смотрит строго, требовательно, я бы даже сказал, недоверчиво.

И меня охватывает раздражение — два года службы, четыре — училища, диплом с отличием, награжден знаком «Отличник погранвойск», подюжники разрядов, знаю язык... Словом, вспоминаю все свои достоинства. Уж не хуже этого

«гвоздя» (как я мысленно прозвал печальника заставы, не ведая, что и солдаты так его называли).

— Знаю, товарищ подполковник, не беспокойтесь, — отвечаю явно не по-уставному.

— Ну что ж, — после паузы говорит комендант отряда, — хорошо, когда офицер в себе уверен. Вот ваш начальник заставы, старший лейтенант Божков, надеюсь, сработается. Счастливо оставаться.

Подполковник жмет нам руки, садится в свой «газик» и уезжает. У меня остается неприятный осадок. Выказался, товарищ новоиспеченный зам! Этаким самоуверенный петушок! «Свое дело знаю, не беспокойтесь, товарищ подполковник...» (и не задавайте глупых вопросов!).

— Пошли, Жуков, — говорит Божков, — сейчас покажу тебе твой дом, пока жена будет устраиваться, прогуляемся, покажу хозяйство. Женей меня зовут. Тебя Андрей — знаю.

Возникает старшина-прапорщик. Типичный старшина из кинофильмов — немолодой, могучий, усатый, басистый. Он словно пушинки подхватывает чемоданы и решительно движется в неизвестном направлении. Мы за ним.

Квартира превосходит все наши мечты.

В аккуратном одноэтажном домике их четыре. Все двухкомнатные, все с кухнями, террасками. В одной живет начальник заставы (холостой), в другой несуществующий на сегодняшний день замполит, в третьей старшина, в четвертую загружаемся мы с Зойкой. Тепло, светло, уютно, убрано (наверняка к нашему приезду). Есть мебель, везти гардероб из Москвы нет нужды.

— Живем! — радуется Зойка и тут же начинает что-то переставлять.

— Ты живи, — говорю, — а я пойду на экскурсию.

— Не извольте беспокоиться, товарищ лейтенант, — произносит старшина реплику из кинофильма, — все будет в порядке.

И подкручивает ус.

Я нахожу начальника заставы перед домом. Он устремляет на меня вопросительный взгляд. В ответ я показываю поднятый вверх большой палец.

И мы отправляемся на «экскурсию».

Сначала наш участок границы.

Жаркое здесь и в ноябре солнце высоко в небе. Ни одного облачка. Во всю ширину голубизна без конца и края. Ветерок покачивает пожелтевшую траву. Я подхожу вплотную к зелено-красному пограничному столбу. На меня смотрит матовый герб чужой, здесь она называется «сопредельная», страны. А на обратной, невидимой мне стороне столба, наш герб, сейчас он, наверное, сверкает на солнце.

Вправо и влево по холмам, оврагам, по долинам и гор-

ным склонам па десятки тысяч километров протянулась граница. Меня охватывает странное волнение.

Всматриваюсь в эту землю, в эти сухие пожелтевшие травы. Вот эта травинка, что дрожит на ветру, склоняется, гнется, вновь выпрямляется, эта травинка, моя Родина, а вон та, в сантиметре от нее — чужая земля... На той стороне прилепились к склонам холмов узкие делянки, подслеповатые глинобитные бумные домишки теснятся у пыльной дороги, одинокие худые овцы ищут траву, неподвижно застыли, опираясь на длинные посохи, старики пастухи.

Небогатая страна... Вспоминаю, как по дороге на заставу проезжал большое село, все белое, в зелени, оживленное. Грешно, конечно, хвастаться, да и наивно, но уж больно велик контраст: даже овцы у нас мне кажутся чище и жирнее. И только вот тут, рядом, с обеих сторон пограничного столба, одинаковая, пожелтевшая осенняя трава, что колыхается на прохладном ветру. Одинаковая, но не одна и та же. Вот это — моя Родина, а вон та, в сантиметре от нее — чужая земля.

И я подумал — какая же у нас, пограничников, ответственная работа. Шестьдесят тысяч километров границы! Это если на каждом километре поставить на круглосуточную смену человека, так и то полдюжины дивизий потребуется. Конечно, кое-чем мы располагаем, есть кое-какая аппаратура, которая помогает нести службу. Прямо скажем. И все равно задумаешься о масштабах, прямо дух захватывает.

Здесь, конечно, не все иначе, чем в Шереметьеве. Здесь оружие врага не поддельный паспорт, не хитрый тайник в каблуке, не переклеенная фотография. Тут у него пистолет, нож, автомат. Что и говорить, тех, кто пытается перейти границу силой, сейчас наперечет. И к нам и от нас. Уж больно это безнадежное предприятие. И все же случается, помнят старожилы границы за последние годы. Потому и в мирные, нынешние времена вырастают порой на окраине приграничных сел скромные белые обелиски, увенчанные звездой, потому и школа или улица, или колхоз нарекают именем того, кто служил здесь на заставе, прибыв из совсем других краев, но в края свои не вернулся, а остался навсегда под теми обелисками. Да и заставы есть, где старшина выкликает на вечерней поверке имя пограничника, что навечно зачислен в список части. Поколения солдат, старшины, начальники будут сменяться на заставе, а тот, чье имя выкликают, все будет служить на ней, все будет в ее строю...

— Пошли, — говорит Божков.

Я отрываюсь от своих мыслей, еще раз оглядываюсь кругом. Вслушиваюсь. Где-то далеко-далеко тарахтит трактор, лениво лает собака, поближе гудит провод на столбах, мур-

лыкает невыключенный мотор нашего УАЗа... Ветер все такой же свежий, густой и пахучий.

Мы возвращаемся на заставу и продолжаем осмотр. Мне все знакомо: и зеленая вышка, и система, и следовая полоса, и спортивная площадка, и казарма, и вольер, аккуратные дорожки, окаймленные выкрашенными белой краской кусками кирпичей. И не очень искусное панно с лозунгами и изображениями пограничников. Все это я знаю по училищу, по стажировкам. Все знакомо и все вновь.

Потому что теперь это мой дом. Потому что теперь я здесь буду учить, а не учиться. Впрочем, учиться придется всегда, никуда не денешься, такая профессия (а в какой профессии этого не требуется?). И отвечать тоже надо будет не перед преподавателями, а перед страной.

Все это я излагаю Зойке после обеда. Обед прошел в гости у старшины. У него уютная пожилая (на мой взгляд) жена. Она в восторге, что может кого-то нового накормить своим вкуснейшим обедом, поскольку ее супруг к этим обедам давно привык и даже ворчливо крикнул на салат. Вообще я понял, что наш холостой начальник заставы входит в пай к старшине по части питания и столуется у него. Во время обеда Марфа Григорьевна прозрачно намекнула, что скооперироваться можно всем, плюс будущий замполит, и она возьмет все на себя, а то Зойка молодая, будет работать, чего ей мучиться и т. д. и т. п.

— Не выйдет, — решительно заявила мне Зойка, — она, конечно, хорошая женщина и симпатичная, но я для чего стала работать женой, чтоб бездельничать? Скажи, я хуже ее готовлю? Нет, ты скажи?

Я сказал, что подобная крамольная мысль могла прийти в голову только безнадежному дебилу или язвеннику в последней стадии. Потом рассказал о своем. Зойка притихла. Она молодец. Она как-то очень органично вписывается в мои переживания, сливается с ними.

— Ты знаешь, — говорит, — давай так, ты себе ничем голову, кроме службы, не забивай. Входи, вникай. Дом, самообразование, культурный рост, даже я — все побоку. Вот войдешь в курс, станет у тебя все автоматическим — знаешь, как у самбиста — прием, действует не раздумывая, тогда займешься всем остальным.

Эта сомнительная программа вызывает у меня кое-какие возражения, но я их не высказываю. Я ведь не только пограничную науку постигаю, семейной жизни тоже...

Это только кажется, что, поженившись, люди остаются прежними. Черта с два! Они меняются неузнаваемо, только порой это никто, в том числе они сами, не замечают. У нас с Зойкой установилась эдакая шутливая манера разговора, легкое подтрунивание. Мы, наверное, пытаемся скрыть таким

образом, как любим, нет, обожаем друг друга. Стесняемся даже самих себя. Скажу прямо, иногда наш шутливый тон скатывается на шутовской, не всегда удачны остроты, да и вообще порою бывает не до шуток.

Но в конце концов, черт с ним, это так, игра. В действительности мы очень серьезны в наших чувствах.

Вот я, например, всегда гордился тем, что и дед, и отец воспитывали во мне чувство ответственности. Они все время внушали мне: «Перестань ссылаться на нас, на учителей, на ваших комсомольских руководителей (я тогда тыкал им разные статьи из газет). Если ты свалиешь дурака, отвечай за это сам. Неужели надо объяснять подростку, что пить, курить, драться — плохо? Неужели сам не понимает?»

Действительно, эта манера ребят ссылаться на то, что их никто не учил, им никто не говорил, им никто не объяснял... Смех!

Но одно дело ответственность вообще, где все ясно в принципе, как говорит отец. Другое дело, в нюансах. Тут без подсказки не обойдешься.

Скажем, в армии. «Командир за все в ответе» — это мы знаем. Я и отвечаю за жизнь солдата, его боеготовность, за его обед и сон, за шинель и бравый вид. А как быть с его любовью к девушке, беспокойством о больной матери, несуществующей мечтой, желанием писать стихи? Как здесь отвечать?

Вот и я разные ответственности освоил. Теперь появилась новая, к которой не то что школа и комсомол, но никакой сексолог и педагог не подготовят — ответственность за семью.

Хоть в ней пока всего двое нас.

Пусть меня клеймят, но нельзя, например, всегда говорить правду жене. Купила Зойка новое платье — в восторге. Она. Не я. Но не могу же я ее огорчить. Тем более сказать, что пельмени недоварены, а яичница пережарена.

Надо научиться все свои заботы, неприятности оставлять за дверью дома. (Это самое трудное.) Если раньше мне было все равно, куда пойдут служить, то теперь я думаю о климате — не повредит ли Зойке (хотя она здоровей меня в десять раз), пойдет ли ей работа. Я переживаю из-за ее отношений с ее начальством и сослуживцами куда больше, чем из-за моих с моими. Беспокоюсь (ну не дурак!), когда она идет купаться, чтоб не утонула, за грибами, чтоб не заблудилась, лезет на чердак, чтоб не упала.

Словом, ответственность за жену — жуткая штука, хотя многое придумываешь тут лишнего. И все усложняется тем, что эти чувства надо скрывать, все, мол, как было, так и осталось...

Но обмануть жену мне трудно, так же как и ей меня.

Я вижу, как она беспокоится обо мне, ждет допоздна. Когда поздно возвращаюсь, я успеваю увидеть через окно ее напряженное нахмуренное лицо. Через окно, потому что, когда я вхожу в комнату, она, конечно, уже веселая, спокойная, иногда ворчлива — мол, ужин сто раз разогревала.

Она не только должна делать вид, что все у нее хорошо, но еще и делать вид, что она не делает вид...

Мы только и стараемся показать друг другу, как у нас все хорошо, как прекрасно себя чувствуем, как нет забот. Хотя все есть — и заботы, и хлопоты, и огорчения, и, хоть и редкие, недомогания.

Жутко сложная штука — семейная жизнь.

Но какая же замечательная. Если, конечно, любить друг друга...

Знакомлюсь с народом.

Начинаю... с начальника заставы. И, с глубоким сожалением прихожу к выводу, что он мне не нравится. И что сработаться с ним будет трудно. Но совсем не потому, почему обычно подчиненные не срабатываются с начальником — тот строг, придирчив, излишне требователен, неприветлив. А как раз наоборот. Я убеждаюсь в том, что старший лейтенант Божков вопреки своей внешности тюфяк. Он добрый, хороший человек, симпатяга и рубаха-парень, у него все качества, кроме одного, — он никакой не командир. Какая уж там строгость и придирчивость, элементарной требовательности и той у него нет. Как я понял, всем на заставе заправляет старшина. Он мудрый и поэтому делает это, не роняя авторитет начальника. Но солдаты не дураки и прекрасно все понимают. К счастью, младшие командиры на заставе ребята толковые. Мой приезд — великая радость для Божкова, наконец есть на кого свалить работу.

Заставу-то он мне показал, а вот когда дошло дело до людей...

— Товарищ старший лейтенант... — начинаю официально, поскольку сидим у него в кабинете.

— Брось, Андрей, — он как от зубной боли кривится, — ну к чему это! Офицеров раз-два на заставе. При солдатах, уж ладно. А здесь кончай всю эту формалистику.

Я его спрашиваю:

— Ну хорошо, скажи, как получилось, что ефрейтор Пыленкин обнаружил «пассажира» в багажнике машины?

— Пыленкин?

— Да, Пыленкин. Машины мало. Он дежурил у шлагбаума, у всех багажники не проверишь. А тут и документы в порядке, и люди приличные на вид. Нет, именно у них открыл багажник — и на тебе! Начальник отряда объявил благодарность. Солдат вроде нерадивый, и вдруг такая бдительность.

— Пыленкин, Пылепкин, — «гвоздь» задумывается. — Ну, может, и не лучший солдат. А на этот раз оказался молодцом. Бывает.

— Ты его не расспрашивал, как все произошло?

— Чего расспрашивать, — пожимает плечами, — это если ЧП надо расследовать, если плохо, а если хорошо, так зачем?

— А затем, что плохо, — вздыхаю.

И рассказываю своему потрясенному начальнику, что хотя дело происходило накануне моего приезда, я, изучая своих солдат, удивился, как не очень-то старательный парень вдруг так отличился, провел небольшое расследование и выяснил следующее.

Пыленкин томился у шлагбаума, когда к нему примчался на велосипеде пионер из отряда юных пограничников и рассказал, что видел с дерева, как во дворе соседа в красный «Москвич» залез в багажник дядя. Сообщил номер машины. Пыленкин засуетился и, когда через час этот «Москвич» подкатил к шлагбауму, он и проявил бдительность. А о пионере никому не сказал. Я его вызвал, и тут он откровенно во всем признался. Конечно, проступок по службе небольшой, а собственно никакой — получил пограничник сигнал и соответствующим образом поступил. Но если по части этической, как-то некрасиво получилось — благодарность скорее тому пионеру следовало бы объявить, а не Пыленкину. Так что теперь делать?

Старший лейтенант расстроился ужасно. Неужели надо поднимать шум, сообщать в отряд, взыскивать с Пыленкина? Ая-яй, кто мог ожидать... никому нельзя доверять...

Я предлагаю, поскольку с Пылепкиным разговор у меня уже состоялся, просто поехать в школу и наградить того пионера, подарить ему ценку, как раз недавно завелись.

— Ну ты голова! — приходит в восторг Божков. — Простого гения! Так и сделаем. Завтра же поеду. Или... знаешь... поезжай ты, тем более ты новый, пусть тебя увидят. Да, лучше поезжай ты.

В этом небольшом эпизоде весь Божков.

Разумеется, на комсомольском собрании мы этот случай обсудили (на собрании присутствовал, конечно, не Божков, а я — «ты новый, пусть тебя увидят»).

Вот так учу людей.

Но и сам учусь.

На стенде боевой истории части, в лепинской комнате, вижу фотографию сержанта Гарбатенко. Спрашиваю старшину:

— Какой подвиг совершил этот сержант? Кого задержал?

— Никого, — отвечает старшина, — просто был образцовым сержантом.

И я понял. Ведь застава состоит не из одиночек-храбре-

цов. Это сложный, спаянный, слаженный коллектив, где все всегда должно быть наготове, в порядке: и оружие, и оборудование, и приборы, и люди. В состоянии высокой готовности.

На границу редко приходят снайперами, следопытами, инструкторами собак, чемпионами-самбистами. Этому обучаются. А учить, тренировать, воспитывать людей надо уметь. В этом деле тоже есть свои чемпионы. Вот таким был сержант Гарбатенко, секретарь комсомольской организации заставы. Самому ему за годы службы никого задержать не довелось. Но кто знает, сколько задержаний произошло благодаря ему, сколько подвигов совершили те, кого он учил и воспитывал! Гарбатенко давно нет на заставе, он заканчивает юридический институт, секретарь институтской комсомольской организации.

Но фотография его по праву висит на стенде в лепинской комнате заставы.

Идет служба. Она мне нравится. Больше того, я от нее в восторге. Почему-то все книги и фильмы про пограничников постоянно напоминают о том, какая это трудная, суровая, опасная служба. А о том, какая она приятная, не говорится. Представляю, если б я, выступая где-нибудь перед призывниками или школьниками, вдруг заявил: какая у нас приятная служба, сплошное удовольствие! Небось приняли бы за больного.

А между тем, до чего ж она мне нравится. Живу, как на курорте: уютный чистый домик, горный воздух, природа, рыбалка, охота, Зойка рядом, отличные ребята-пограничники, ну сплошное удовольствие. Высказываю эти мысли жене. Она смотрит на меня с состраданием.

— Надо бы ввести закон, — твердо заявляет, — чтобы, вступая в брак, будущие супруги представляли справки из психдиспансера, как при сдаче на водительские права. «Сплошное удовольствие!». А подъемы среди ночи, когда только обниму тебя, а ты уже кобурю пристегиваешь, а перерыв между завтраком и ужином длиною в сутки, а этот псих, которого вчера задержали, оп чудом в тебя железной не попал, а все твои гаврики, «отличные ребята», за каждого из которых ты в ответе, а...

— Стоп, стоп, — кричу, — ты что! Это же служба. Нормальный рабочий процесс. Возьми начальника цеха, возьми главного режиссера, возьми директора магазина — у них что, лучше? И нервотрепка, и деталей не подвезли, и актриса заболела, и покупатель требует жалобную книгу, а квартиры не дают, путевку в дом отдыха не достанешь, колбасу не купишь. Ни тебе горного воздуха, ни рыбалки, ни...

— Стоп, стоп! — теперь она кричит. — Что-то я не слышала о начальнике цеха или главном режиссере, которых

убивают нарушители, которых под трибунал за то, что у них подчиненный напился или заснул на дежурстве, у которых рабочий день двадцать пять часов в сутки, триста шестьдесят семь суток в году!

Наш столь же эмоциональный, сколь и бесплодный спор длится недолго. Дело происходит вечером, и Зойка для победы прибегает к решающему аргументу:

— Пошли спать, в смысле, ты понимаешь?.. Пока тревоги не объявили. Ты все-таки не забывай, что жена у тебя молодая и темпераментная.

Действительно. И это тоже одна из моих главных радостей. А что вы хотите! Это опять-таки только в плохих фильмах и книгах: главное для офицера — служба, а близость с молодой женщиной — дело второе. Погодите, я ведь только что утверждал, что счастлив службой. Противоречие? Или нет? А не может быть несколько «главных»? И обеспечить неприступность границы, и исправить плохого солдата, и избежать ЧП, и помириться после легкой ссоры с женой, и всю ночь с ней заниматься любовью и съесть ею же приготовленный вкусный обед. Счастье в жизни складывается из многого. Как в десятиборье, где-то наберешь больше очков вместо потерянных в другом и все уравнивается. А? Впрочем, это все чепуха, жизнь не десятиборье. Все может идти прекрасно, но узнаешь, что жена тебе изменила, все покажется ужасным. А если она тебя обожает, но на твоём участие прошёл нарушитель, то хоть вешайся...

Из всего этого я делаю совершенно новаторский и поразительно мудрый вывод: лучше, чтоб всюду все было хорошо, чем в чем-то хорошо, а в чем-то плохо! А? Мыслитель.

В конечном счете я доволен службой, женой, едой, погодой, словом, всем на свете.

Мне нравится вставать ни свет ни заря. Выбегать на прохладный горный воздух, делать такую зарядку, что килограмм долгой, плескаться под самодельным холодным душем, съесть завтрак, который у других составил бы обед, помноженный на ужин, и идти в «ставку», где сразу же окунаюсь в работу.

Мне нравится, что моя Зойка красивая, веселая, добрая, энергичная, что мы с ней редко ссоримся и часто радуемся, что она хорошая хозяйка и замечательная любовница, что мне не приходится ее ревновать, а ей меня. Мне вообще все больше нравится моя семейная жизнь. Я люблю смотреть на Зойку, когда, очень рано поднявшись, ухожу в ванную, а она продолжает спать, вмявшись румяной во сне щекой в подушку, со спутанными волосами, с высунувшейся из-под одеяла голый коленкой, люблю слушать в эти минуты ее легкое дыхание.

Мне нравится, что ночью в крошечной темноте я иду так

же уверенно и бесшумно, как днем, не скрипнув, не хрустнув, что так же бесшумны «секреты». Я радуюсь, что следовую полосу за ночь не покрыли следы, с вышки не увидели ничего подозрительного, что Чумакова привяли в комсомол, а Зайцева никто больше не застанет с бутылкой пива в кустах.

Ко мне приходит старшина. Он изо всех сил пытается скрыть переполняющую его гордость. Но человек бесхитростный, сделать это не может, он сияет как его сапоги.

Изо всех сил изображая равнодушие, говорит:

— Пипнут люди, пипнут, будто им делать больше нечего...

— Да ну, — удивляюсь, — и что пипнут?

— Да вот, один был у нас, ничего, толковый паренек, весточку прислал...

Старшина перешептывая протягивает помятый листок. Читаю вслух.

«Уважаемый товарищ старшина (кроме как «старшиной» нашего старшину никто никогда не называет). Я не забыл Вас и до сих пор часто мысленно советуюсь с Вами. Я вот смотрю сейчас издали на свою службу у Вас на заставе и только сейчас начинаю по-настоящему понимать, какой удачей было то, что я попал служить к Вам, именно к Вам. Это была не просто служба, это была настоящая ломка всего дурного в моем характере, я начал больше мыслить, стал намного серьезнее и глубже смотреть на жизнь...»

— Да, — говорю, — такое письмо побольше, чем благодарность в приказе.

— Да ну, что вы, товарищ лейтенант, это так, написал небось из вежливости, — заключил старшина, но я вижу, как он доволен.

А ведь действительно, такое письмо — награда. В нашем деле не только с нарушителями границы надо воевать, но и с нарушениями порядка в человеке, в его характере, привычках, мыслях. (Совсем уже стал офицером-педагогом! Так что учу, но и учусь.)

Я ловлю себя на том, что самым трудным для меня на заставе является необходимость спать, да, да. Ведь в отличие от солдат офицеры, нас всего двое, не могут дежурить по сменному. Как «работает» заставка? Как корабль — по вахтам. Одни пограничники ложатся спать, когда другие встают. Вот четверо сидят рубают — те двое ужинают, а эти двое завтракают. Ни днем, ни ночью ни на секунду не остается граница без охраны. Это естественно. Такая служба. Жизнь заставы подчинена сложному расписанию. Тщательнейшим образом продуманному. Потому что при такой вот сменности надо предусмотреть и общие для всех мероприятия — занятия, учеба, комсомольские собрания... И за всем надо

смотреть, все проверить, на всем поприсутствовать, во всем участвовать нам, офицерам. Так что, когда спать, — неизвестно, но приходится. И это мешает.

...Я иду вместе с нарядом. Ночь. Звезд масса, и такие они четкие, что, кажется, любую можно ткнуть пальцем. И ту вон, и эту, что разбежались по черному небу эдаким хороводом. Днем здесь жарковато, а сейчас ночью холодище, все же высокогорье, хлещет ледяной ветер, рот открываешь как рыба на песке, воздух чистый, но редкий.

Это было вчера. А сегодня тем же маршрутом иду уже днем.

Взбираюсь по склону, оглядываюсь на вершине, спускаюсь в балку и снова вверх по косогору. Дозорная тропа не садовым аллея. Я вглядываюсь в сухую пахоту следовой полосы. Для пограничника она что книга — он свободно читает ее. На ней буквы — следы, рубцы, царапины.

Эти оставлены зверем, и точно известно каким, эти птиц, скатившимся камнем, клубком перекати-поля... А эти — человека, и тогда тревога, и тогда оживает граница. В одно мгновение приходит в движение хорошо отлаженный, давно запрограммированный механизм. И нарушителя не уйти. Хотя их становится все меньше. Честно говоря, я не представляю себе серьезную разведку, которая бы переправляла к нам мало-мальски стоящего агента таким вот способом — через пограничную линию. Да и от нас этим путем может попытаться уйти разве что совсем уже отчаявшийся уголовник с «вышкой» в перспективе или начитавшийся о Джеймсе Бонде кандидат в диссиденты. И все же бываю случаи...

Бывают драматические, бывают комические.

Однажды наркоман убил в поселке аптекаршу, чтоб забрать разные лекарства, бежал, когда его начали преследовать, украл где-то лошадь (он конюхом работал) и пытался на ней перескочить систему. Упал. Сломал себе шею.

Другой раз задержали какого-то дурачка, решившего бежать за границу. «Зачем?» — спрашиваем. Оказалось, парень (молодой) страдает импотенцией. Так он где-то вычитал, что во Франции есть стопроцентно надежные лекарства, а у нас нет. Ну! Как вам это нравится? Посоветовали обратиться к сексологу и почитать соответствующую литературу.

Чего у нас только не посмотримся...

Старшина паряда сержант Бовин, отличный пограничник, учит напарника — молодого старательного парня. Уж на что я тренированный, и то весь вспотел, даром, что ветер ледяной. Парень здоровенный, но еще не привык. А Бовин порхает прямо как балерун: неслышно, легко, без видимого напряжения. Ни один камушек не всколыхнется под его ногой, ни одна сухая веточка не скрипит.

Порой он останавливается и указывает запыхавшемуся

напарнику на какую-нибудь ямку, бороздку, объясняет, откуда она и надо ли на нее обращать внимание. Тот напряженно хмурит вспотевший лоб, напоминает. Неожиданно сержант Бовин замирает надолго. Он что-то внимательно разглядывает у самого края следовой полосы. Задумчиво смотрит на меня. Я в его педагогические действия не вмешиваюсь, просто, так сказать, присутствую. Он мнется, наконец спрашивает, то ли меня, то ли себя, то ли вообще:

— Была та цепка или не была?..

Я подхожу. Действительно в крохотной щелке между краем следовой полосы и подбежавшей сухой травой затаился еле видимый обгорелый кончик спички. Как он его углядел, непонятно, по вот углядел. И теперь вспоминает, был ли этот кончик при прошлом обходе.

— Не был, — наконец твердо констатирует он и, уже с тревогой глядя на меня, задает вопрос: — Откуда взялся?

Сержант Бовин вынимает из кармана пакетик (у него запас, причем нужного размера, всегда с собой) и, словно энтомолог бабочку, с величайшей осторожностью укладывает туда злополучную спичку.

— Кто-то из ребят бросил, не иначе, — Бовин неодобрительно качает головой, — безобразия, курил на обходе, да еще спичку бросил.

Мы доходим до вышки. Сержант и его напарник продолжают путь без меня, а я поднимаюсь на вышку. Отсюда, с высоты, как с крыши многоэтажного дома, вернее, верхушки высоченного дерева и без бинокля далеко видны зеленые холмистые перекаты полей, белые постройки нашего села и бурые приземистые села заграничного, видна узкая извилистая речка, то исчезающая в оврагах, то снова видная, под солнцем она местами взрывается серебристым взрывом.

А еще дальше видны горы, бурые, желтоватые, черные, похожие на верблюжьи горбы, за ними еще дальше над низкими облаками синеют вершины, покрытые белыми сверкающими шапками. Ох и красотища! Часами могу любоваться. Зойку бы сюда — то-то порадует.

Тут воздух горный, прозрачный, видно замечательно. К горизонту уходит вереница пограничных столбов, они петляют по склонам, чем дальше, тем, кажется, чаще. Если посмотреть на нашу сторону, видна дорога — по ней пылит грузовик, «уазик», мчится белая «Волга». Это, я уже знаю, секретарь райкома. Он начинает, по-моему, свой рабочий день в пять утра, а заканчивает в четыре ночи. Когда этот человек спит и ест, неизвестно. Он наш частый гость. Наверное, потому, что сам бывший пограничник, и двое сыновей у него тоже пограничники, служат в Заполярье. Некоторое время слежу, как сержант Бовин со своими подолечными возвращается обратно. Неугомонный Бовин так же лег-

ко, словно танцую, а подопечный, спотыкаясь, замучился, наверное, вконец, но держит фасон. Ничего, привыкнет. По началу все так.

Перевозжу взгляд за кордон. Вот, великолепная картина! Там тоже пограничный паряд — систем, вышек, постов у них нет, ходят парочки не часто. Эти двое с удобством улеглись под кустом, пояса расстегнули, автоматы отложили и спят. Мне даже кажется, что я слышу их храп. А чего? Никто их не проверяет, «советские шпионы» к ним не бегают, а если от них к нам кто пойдет — скатертью дорога, меньше ртов останется. Между прочим бывали случаи: совсем отчаявшийся нищий перебегает — накормите, просит. Или пастух овец не туда загонит. Кормим, конечно, и возвращаем. Порядок есть порядок.

Эх, стоял бы тут и стоял под этим голубым небом, на этом свежем ветру.

Возвращаюсь «домой», да нет — домой без кавычек, застава — мой дом. Редко место службы или работы и место жительства совпадают у человека. Так, наверное, у писателя, композитора, художника. У заместителя начальника заставы тоже.

После похода по горам зверски хочется есть. А такие походы я проделываю каждый день не один и не два. И за моего начальника старшего лейтенанта Божкова Женю тоже.

Прекрасный человек! Ни с кем не ссорится, ни с кого не взыскивает, никому не мешает жить. Лишь бы ему не мешали (потому, наверное, и не женился до сих пор). Очень много работает над повышением своего культурного уровня. Например, слушает музыку. У него множество кассет и записей, которые он делает во время передач по радио и телевидению разных концертов. Классики я, правда, у него не слышал, зато много эстрадных песен, рок-ансамблей, ВИА и т. д. Однажды он объяснил мне, что как воспитателю ему необходимо знать, чем увлекается молодежь, ведь пришедшие на заставу солдаты — та самая молодежь. Солдаты, конечно, тоже слушают эстрадные песни и рок, но, между прочим, кое-кто и русские песни, и народные, и классическую музыку.

К нам прибыл служить призванный прямо из музыкального училища парень. Не барабанщик, не гитарист (на гитаре у нас играет чуть ли не каждый третий), а, представьте себе, — скрипач! И вот в личное время он уходит в сторонку, чтоб не мешать тем, кто отдыхает, и играет себе. Он, конечно, не Ойстрах, но и мы не музыкальные критики. Так вот репертуар у него классический дальше некуда, но собираются вокруг чуть ли не все свободные от службы, а иные и сном жертвуют. Зойка моя слезу пускает. Не видел я на этих импровизированных концертах только начальника

заставы. Он, видимо, как раз в это время слушает записи, которыми, как он считает, увлекаются его солдаты, или читает. Кстати, библиотека у него довольно своеобразная — только приключения, только детективы, фантастика. Я за, я сам люблю эти жанры. Но не только. А вот «не только» он не читает. Как-то разомлевшие от угощения Марфы Григорьевны сидели мы с ним под едва ли не единственным деревом на нашей заставе, и я взял да и спросил:

— Женя, ты чего пошел в пограничники, а?

Долго молчал, наконец пожал плечами:

— А что, в артиллеристы лучше или, скажем, в инженерные войска?

— Ну тянуло же, раз решил свою жизнь связать с армией навсегда. Наверное, думал, прикидывал.

И тут, уж не знаю с чего, с обеда ли того, или солнышко разморило, или подперло наконец перед кем-то исповедаться — бывает такое, начал он рассказывать:

— Понимаешь, Андрей, в общем-то, мне все равно, куда было идти, лишь бы в училище. В школе я был круглый отличник, хотя, заметь, — лентяй жуткий. Но такой уж способный. Меня отец-мать куда только не прочили: и доктором физики, благо второе место на городской олимпиаде занял, и просто доктором, и чемпионом — в девятом классе первый разряд по стометровке выполнил, и артистом — в самодеятельном театре Гамлета играл, и поэтом — стихи всем девочкам класса писал. Словом, универсальный будущий гений. Отца-мать любил, я и сейчас их люблю, в отпуск — только к ним. А вот уважал больше всего деда, двоюродного, есть у меня такой. Мудрец из мудрецов, скажу тебе. Членкор. На него, между прочим, в смысле моей будущей карьеры родители очень рассчитывали. Нет, Андрей, ты не думай — они не блатники. Они прежде всего надеялись на меня — пу действительно талантливый сын у них. Но все же кое-где, может, и надо будет подтянуть. Заканчиваю я школу на все пятёрки, конечно, и всгал вопрос, куда идти. И тогда состоялся у меня с этим дедом примечательный почной разговор. До сих пор помню. Остался я у него на даче почевать как-то, посидели, поужинали, на террасу вышли и вот чуть не до утра болтали. Он мне много умного сказал. А потом так твердо, словно давю решил, приказал: «Пойдешь в военное училище!» Я удивился — с чего бы? Вот тут-то он мне и объяснил. Объяснил, что я способный, на редкость способный парень, и на редкость тюля и лентяй, что не способен пробиваться в жизни, что привык к родительской заботе и что нужна мне нянька постоянная. «Что-то я не знал, что в армии няnek много», — говорю. «Сама армия для таких, как ты, — нянька, — пояснил, — ну как тебе сказать? Один, понимаешь, едет на машине, на мотоцикле, увидит овраг,

пропасть, поворот, тупик — сам сумеет свернуть, объехать, пайти лучший путь. А другому, вот тебе, нужны рельсы. Нет, ты честный парень, машинистом будешь неплохим, только рельсы нужны, по которым тебе ехать, чтоб все время тебя направляли, и проблем перед тобой не ставили. — И добавил: — Ты не думай, что в армии поферы не нужны, что там одни машинисты, наоборот, машинистов совсем мало, по уж коли есть, им легче. Там сама система заставляет работать. Ну да ладно — сам поймешь». Теперь-то понял.

Посидели, помолчали, я в себя не мог прийти от этой исповеди, а Божков продолжал:

— Словом, поступил я в училище. В пограничное — собственный ведь, экзамены сдал блестяще. Прочился отлично, и хоть можешь не верить, а с удовольствием. И верно, ведь ни о чем думать не надо, все расписано, только выполнять. Закончил и вот на заставе третий год. Заботиться ни о чем не надо: квартира есть, звания идут автоматически. Ну где ты видел в гражданке, чтоб человек автоматически, без усилий (если, конечно, честно делать свое дело, без ЧП, без проколов) становился кандидатом, потом доктором, потом академиком? Или из продавца — завсекцией, завмагом, начальником торгова? Там работать будь здоров надо, жуткую энергию проявлять, инициативу, конкуренцию выдерживать. А в армии пакатанная дорожка. Повторяю, если нормально служить. Идут годы — идут звания, растет денежное содержание, удобства, положение. Скажешь — и ответственность? Правильно. Но я же свое дело делаю. Тихо, однако, без срывов.

Помолчал.

— Конечно, — продолжал, — мне везет. Везет на помощников. До тебя орел был, теперь сам заставой командует. Потом я же вижу, какой ты, фактически работу мою делаешь. Старшина — цены ему нет. Словом — везет! В этом году капитана получу. Глядишь, в отряд заберут, посижу там — майора получу, а то и подполковника. Как мой дед предвидел — по рельсам для меня путь гладкий.

— А если война? — я спросил, и сам понял бессмысленность вопроса.

— Ты не думай, — усмехнулся, — не хуже других отвоюю и, если надо, жизнь отдам, не пожалею. Я не подопок, Андрей, и не трус, и не саботажник. Я лентяй, я не войны боюсь, а жизненных трудностей, работы, ответственности. Не по силам мне бороться, пробивать карьеру, что-то там соображать. А здесь меня всем обеспечивают, за меня думают. Спасибо. — И словно прочел мои мысли, добавил: — Я тебе все откровенно рассказал, потому что ты честный парень и доверием моим злоупотреблять не станешь. А если уж совсем откровенно, то скажи, разве сам не доволен, что у тебя

такой начальник, что ты фактически командуешь на заставе? Скажи честно.

— Доволен, — признался. Ну что я его буду обманывать. Он прекрасно все понимает. И не боялся прямо так мне и сказать. Для этого тоже надо чуть-чуть мужества иметь. Но до чего же мне его жалко. Честное слово — вроде он мне какое-то увече свое скрытое показал или в тайной стыдной болезни признался.

Да, вот такие в армии тоже есть. А что поделаешь, армия, и погранвойска в том числе, состоит из людей, а люди бывают всякие...

Думал сохранить навек великую тайну старшего лейтенанта Божкова. Например, от Зойки. Оказалось, что никакая это не тайна.

— Андрей, — говорит она мне как-то, — ты знаешь, что командир отряда собирается нагрянуть?

— Странно, — замечаю, — если бы ты это знала, а я нет.

— Это я к тому, — учит меня жена (вот что значит работать учителем), — чтоб ты все проверил, отвечать-то тебе придется.

— Почему мне? — смотрю на нее подозрительно. — За все начальник отвечает.

— Ты это можешь вон той горке рассказать. Вся заставка знает, кто здесь начальник.

— Погоди, — уже беспокоюсь, — ты что имеешь в виду? Старший лейтенант Божков...

— Старший лейтенант Божков, — перебивает, — парадный мундир заставы, а рабочий — ты. Все знают это, и он в том числе. Хороший он человек, в компании тем более. Но как командир — никакой. И это ни для кого не секрет. Я понимаю, ты должен делать вид перед народом. Но передо мной-то зачем? Так что проверяй.

Сижу, молчу. Может, хоть в отряде не знают...

Этот разговор наводит меня на самокритичные мысли. С Божковым все ясно. А со мной? Я все же тоже не святой, и светящийся нимб не мешает мне спать по ночам. «В чем грешен?» — размышляю.

Ну хотя бы в том, что принимаю своего командира как он есть, он меня даже чем-то устраивает. Но ведь такой командир в армии — это все же трещина в броне. Однако ни на каком, в том числе партийном, собрании я об этом ни слова. Большой мне минус.

Еще. Мало говорю с солдатами. То есть говорю-то много, но все о службе, о делах. Не о книгах, фильмах, чувствах, о жизни на заставе, не о жизни вообще. Так можно превратиться в солдафона.

Текучка заедает. Не расту над собой, так сказать. Недо-

статочно читаю специальной литературы. Зойка утверждает, что много. Я соглашаюсь с ней. Не с собой, потому что я-то знаю, что мало. Конечно, дел невпроворот, тем более при таком начальнике, но все же в каждом деле надо постоянно совершенствоваться. Как? Я переписываюсь с двумя преподавателями из училища, советуюсь. Отец и дед — тоже мне полезные помощники. Но язык, например, почти забросил. Журналы кое-какие полезные не выписываю. Пришел тут ко мне рядовой Панкин, интересную штуку придумал, ловушку там одну, так сказать, дополнение к системе. Я в восторге, чуть не Государственную премию ему пообещал, рационализаторский диплом и т. д. и т. п.

А через неделю обнаруживаю в кое-какой нашей специальной литературе, что изобрел-то мой Панкин велосипед. Вполне искренне и оригинально, но то, что уже давно известно и, кстати, применяется. Вот так!

И еще обнаруживаю один существенный недостаток — не бронзовую ли? Недостаток, проистекающий из качества. Я столько сил потратил, чтобы выработать в себе самообладание, выдержку, чтобы при любых обстоятельствах оставаться спокойным, не повышать голоса, что, в конце концов, мне кажется, я и внутренние отношусь слишком спокойно к вещам и событиям, которые никак не должны оставлять равнодушным. Вот это слово! Не становлюсь ли излишне равнодушным? Даже Зойка что-то заметила. Однажды говорит мне:

— Какой-то ты иногда квелый бываешь, Андрей. Нет, не квелый, я не так выразилась. Скучный, что ли... Спокойный. Раньше ты бы шум-гам поднял, а теперь только смотришь. Вообще-то это неплохо, нервы бережешь, но смотри, не потеряй интереса.

— К чему? — спрашиваю.

— Не знаю... Ко всему. К тому, к чему интерес терять не надо. Я не о себе, Андрей. Ко мне у тебя интерес никогда не пропадет, это моя забота. А к делу, что ли. Не знаю.

Пусть не беспокоится — к делу, моему главному любимому делу, у меня интерес не пропадет никогда, но последить за собой все же надо.

Вспомнил почему-то Борьку Рогачева. Вот ему, например, много ли времени отдавал. Его, так сказать, воспитанию. А почему, собственно, я должен был его воспитывать? Он что, моложе меня, глупей? Может быть, сирота или блажененький? И вообще чего его воспитывать? Вполне разумный, способный парень, делает карьеру, без пяти минут кандидат. Какие могут быть претензии? А вот грызет меня что-то. Не могу объяснить, по чего-то совесть мучает. Будто идем в сцепке по краю, он свалился, а я руки не протянул. Ну да ладно, это я так — уж раз самообразованием занялся, так

удержу не знаю. Это, наверное, из-за писем. Какие-то они у него тоскливые, недосказанного в них много. Да редкие совсем стали.

А Зойке действительно беспокоиться нечего. Ей я уделяю много времени. В этом преимущество пограничной службы. Но статистике, в армии на погранвойска падает меньше всего разводов. Это мне еще мой друг Борька Рогачев говорил (интересно, что он сейчас подслышает, наверное, где-нибудь в Венеции или Монте-Карло, где у них кинофестивали бывают? Давно что-то не пишет). Действительно — все ведь на пятачке у нас. Хотя и отлучаюсь то днем, то ночью, но все равно куда-то рядом и возвращаюсь в наш дом. Я люблю среди ночи возвращаться тихонько, раздевусь, юркну к Зойке под одеяло, она теплая, сонная, от нее пахнет сном, лавандой, чистотой. У нее такая гладкая кожа, такое упругое тело, такие свежие губы... Словом, сон ее на этом кончается. И встаем мы утром, прямо скажем, не выспавшиеся, зато умиротворенные, бодро поднимаемся навстречу дню. Я гордый собой как петух, она гордая мной.

Зойка сообщает мне пикантную новость (новость, конечно, только для меня, все остальные давно знают).

Оказывается, старший лейтенант Божков имеет в райцентре роман! А? Каков? И с кем? С заместителем председателя исполкома — весьма интересной, хоть и старше его, вдовой. На почве того, что он депутат и в связи с «депутатскими обязанностями» частенько заглядывает в исполком и задерживается там надолго. А уж где, в служебных апартаментах замши или личных, — вопрос другой.

— Ну и что? — говорю, блюдя мужскую солидарность. — Он холостяк, она — вдова, дай им бог счастья.

— Да я не осуждаю, — фыркает Зойка, давая понять, что любая внебрачная связь глубоко аморальна. — Можешь заводить роман хоть с председателем исполкома (вот она, женская логика!).

— И заведу, — говорю, — пусть только сначала сбреет бороду.

— Кстати, о бороде, — к ней приходит неожиданная мысль, — почему бы тебе не завести бороду? А? Или хотя бы усы? Тебе бы пошло.

Она внимательно рассматривает мое лицо.

— Я вижу, что это тебе надо завести роман с председателем исполкома, — ворчу.

Вот так болтаем, смеемся.

Но, конечно, не только так болтаем. Это сейчас почему-то лезут в голову наши пустые веселые разговоры, шутки, подковырки.

Мы, например, весьма серьезно строим наши жизненные планы, даже когда форма бесед несерьезная.

Выясняется, что у Зойки целая продуманная программа. Она, оказывается, весьма внимательно читала биографии многих прославленных пограничников, ставших военачальниками или хотя бы пребывающих в высоких чинах. Многие из них заканчивали военные академии. И она считала, что я должен сделать то же. Значит, так: мы («мы»!) служим на заставах, пабираемся опыта, постигаем науку, а когда до предельного для абитуриента останется «разумное», по ее выражению, время, я подаю в академию.

— Так ведь надо готовиться, — замечаю. — Время требуется.

— Готовиться надо все время, — говорит Зойка и, чтоб подчеркнуть значительность разговора, прекращает мыть посуду и садится на табуретку, устремив на меня взгляд. — Надо все время готовиться, — повторяет, — уже теперь.

— К тому времени я все забуду.

— Ничего, как забудешь, начинай повторять. К академии — тебя и ночью разбуди — ты должен все знать.

— Как-то ты примитивно понимаешь подготовку к экзаменам, — говорю с неодобрением.

— Я правильно понимаю, — стоит она на своем. — Конечно, есть предметы, которые здесь изучать труднее. Но не вижу, почему ты не можешь взять учебники, программу и в редкие, согласна, в редкие свободные минуты грызть гранит науки.

— Ну ладно, — вяло соглашаюсь. — А дальше?

— А дальше поступаешь в академию, заканчиваешь ее и едешь служить куда пошлют. Например, в отряд, округ...

— Э, нет, — перебиваю, — штабная работа не по мне!

— Что значит штабная работа! Во-первых, всякая работа интересна. А во-вторых, как ни печально, Андрей, придет время, и по горам и лесам ты уже не побегаешь. Поседеешь, потолстеешь, как и я, — добавляет она с грустью. — Я уже начала полнеть. Видишь?

Я бурно протестую. Это мне тем легче, что она какой была, такой и осталась — стройной, крепкой, спортивной. До чего ж она все-таки красивая!

Конечно, планы наши касаются не только деловых перспектив. Думаем о потомстве. Впрочем, этой темы Зойка почему-то не любит касаться. То ли смущается, то ли считает ее своей прерогативой. Она сразу переводит разговор на что-нибудь другое. Так живем...

Но служба-то идет. И там далеко не все весело. Принимаю, например, участие в малоприятном комсомольском собрании.

На заставе служили два друга. И хотя один был сибиряк, а другой с Кавказа — водой не разольешь. И темперамент, и привычки, и взгляды, и интересы, и уж тем более

внешность — разные, а вот поди ж ты! Если в разные наряды попадают — грустят.

И вот однажды кавказец обнаружил, что копчилились сигареты. Он спокойно зашел в казарму, залез в вещмешок друга, взял сигарету и пошел по своим делам. Что особенного: у друзей, почитай, все имущество общее, как поется в песенке, «все делили пополам». Уж не знаю, каким образом этот, в общем-то, выеденного яйца не стоящий случай стал известен, но факт остается фактом — поставили на обсуждение комсомольского собрания. Да еще какого бурного. Я не вмешивался, ограничился присутствием, так сказать, но прямо диву давался.

Виновный оправдывался тем, что, мол, считает, что все, что принадлежит другу, принадлежит и ему, и наоборот. Сибиряк горячо подтверждал.

— Да он если рубашку последнюю спросит — отдам! — горячился.

Ему возражали так: если каждый будет, даже не предупредив товарища, копаться в чужих вещах, неважно, друга или нет, то какой же это порядок? А если что-нибудь пропадет? Пусть по совершенно случайной причине — сорока залетит и унесет, что тогда? Возникнет подозрительность, недоверие, ссоры, парусится моральный климат... спорили до хрипоты. На первый раз предупредили, еле выговора избежали.

Для меня, честно говоря, это был урок. Урок в том смысле, что не бывает в нашей службе мелочей, что буквально на все надо обращать внимание, и что не всегда то, что тебе представляется простым и ясным, таковым является в действительности. Словом, узелок на память я себе завязал.

Правда, у Зойки, когда рассказал ей этот случай, я поддержки не нашел.

— Интересно, — говорит, — значит, если я приду домой, а тебя нет, я к тебе в стол за сигаретой залезть не имею права?

— Во-первых, — возражаю, — ты не куришь. Во-вторых, ты у меня сигарет не найдешь, потому что я не курю.

— Не занимайся схоластикой. Два друга, все у них общее, в чем вопрос?

Короче, повторилось комсомольское собрание в семейном масштабе, расселись каждый при своем убеждении. Но самое смешное в этой истории, что педели через две аналогичный случай произошел у Зойки в школе: девочка залезла в ранец к подруге, чтобы взять деньги на завтрак, пропажу обнаружили, был шум и крик, девочку все журили, и строже всех, как вы думаете, кто? Моя на редкость последовательная жена! Когда я выразил ей свое официальное удивление, знаете, что она мне сказала?

— А что, я не могу менять свое мнение? Насколько я знаю, даже Эйнштейн его менял!

А? Даже Эйнштейн!

Но как же мы с ней дружно живем! Думаю, потому, что мы вдвоем. Возможно, мы меньше времени проводим вместе, чем, скажем, семья офицера, который служит в Москве, в штабе. В сумме. Но даже когда я не дома, я все равно рядом с Зойкой, потому что вся застава наш дом. Между прочим, застава напоминает дом и той заботой, которую проявляют о ней ее обитатели, то есть солдаты. Уж тут, не вытерев ноги, в казарму не войдут, если увидят бумажку, соринку, валяться не оставят. За всю мою службу не помню, чтобы мне пришлось указать кому-то на оторвавшуюся речечку, облупившуюся краску, покосившуюся раму, расшатанную табуретку... за всем внимательно следят ребята, все держат в порядке, блюдут.

Возможно, так всюду, во всех казармах, не знаю, не уверен. Но у нас так.

С чем только не приходится иметь дело офицеру-пограничнику!

Подходит ко мне солдат Чернобай и неуверенно сует какую-то бумажку.

— Посмотрите, товарищ лейтенант, если, конечно, будет время. Для боевого листка написал. Да что-то сомнение берет — может, очень плохо. Тогда не отдам. Вот подумал вам показать.

— Давай, — говорю.

Наверно, с такими вещами полагается приходить к замполиту, но наш все еще не прибыл. Так что беру, читаю вслух:

Я на смену
Часовому вышел,
За собой
Закрыв тихонько дверь.
На посту
Я каждый звук услышу,
Кто б ни шел там —
Ворог или зверь.
Ветерок пахнул в лицо.
В деревне
Радостно мерцают
Огоньки.
В это время мать,
Уж знаю, дремлет,
В клуб идут
Парнички, земляки.
Я иду тропинкой,
Из-за гор поднялся
Серп луны...

Здесь храню я каждую травинку,
Каждый кустик
Милой стороны.

Молодец, Чернобай! Отличное стихотворение. Но поскольку я где-то читал, что щедрая похвала губит молодые таланты, говорю сдержанно:

— Что ж, думаю, что ребятам понравится, песн в боевой листок.

Маленькая радость, но она улучшает настроение. Что ж, моральный фактор — первое дело. К сожалению, в тот же день имеют место быть и отрицательные эмоции, а именно беседа с инструктором службы собак — Юркиным. Я заметил, что у него с Гримом, его овчаркой, бывают принципиальные, хотя и нечастые, расхождения. Наблюдал. Возникло предположение. И я пригласил Юркина к себе.

Сначала поговорил о том о сем. Но чувствую, он в напряжении, чувствует, что меня интересует не только его аппетит и результаты в прыжках в длину.

Перевожу разговор на службу. Постепенно он оттаивает, потом увлекается, наконец начинает делиться заботами. Доходит до главного (для меня), ради чего я его вызвал.

— Не пойму, — жалуется, — странный стал какой-то Грим. От ноги не оторвешь, по два раза приказание повторять приходится.

— И давно? — спрашиваю.

— Ну, вот месяца два или около того.

Делаю паузу и задаю новый вопрос:

— А вы не бьете его?

— Ну что вы, товарищ лейтенант!

— Подумайте, подумайте. Припомните.

Он долго молчит, наконец выдавливает:

— Ну, может... разок...

— А может, не разок? У вас как с арифметикой?

— Товарищ лейтенант! Если уж очень заслужит. Он ведь тоже своенравный, Грим, иногда...

Я перебиваю:

— Вот что, Грим может быть своенравным, он собака, хоть и пограничная. А вы не имеете права, как раз потому, что человек и не просто, а пограничник. Вот представляете, идете вы по коридору, доходите до поворота, а вам раз кулаком справа, дойдете до следующего поворота, а вам раз — слева! Так когда вы на улицу выскочите, вы наверняка станете жаться да озираться. Вот так! К собакам человеческий подход нужен. Буду следить, повторится, взыщу.

Черт знает что — поднять руку на собаку, надо же!

...На этой заставе я провел год.

Это была хорошая школа. Я когда-то думал, что, учившая стажировки, я все постиг еще в училище. Оказывается,

нет, оказывается, на заставе, на службе познаешь массу нового. Больше того, как я уже убедился, каждая застава учит тебя новому. Наверное, это правильно, что нас, офицеров, периодически перебрасывают с одной заставы на другую. Это дает такой опыт, который иначе не приобретешь. Приобретаю я и опыт семейной жизни. Мы за это время с Зойкой притерлись, что ли, друг к другу, ближе сделались, не то чтоб полюбили больше — это невозможно, а дружнее стали, в общем, не знаю, как объяснить...

Однажды она мне говорит:

— Слушай, Андрей, почему мы не ссоримся? Это ненормально. Все молодожены должны ссориться, а мы пока еще можем считаться молодоженами. Или уже нет?

— Как ты не понимаешь, — возмущаюсь, — молодожены категория не временная, а морально-психологическая. Можно всю жизнь быть молодоженами, а можно еще до свадьбы созреть для развода.

— Ну уж!

— Вот тебе и «ну уж»! Не ссоримся, потому что умные, каждый знает свое место в хозяйстве, не пойдет же на заставе водитель машины водить собаку, например. Так и у нас, я осуществляю общее руководство, а ты замечательный исполнитель, я...

— Ты воображала и одержим манией величия, — перебивает меня Зойка. — «Общее руководство»! Скажите, пожалуйста! Да ты без меня шага в жизни не ступишь, споткнешься!

— Я! Да я...

Мы тогда чуть ли не первый раз в жизни поссорились. Помирились, как сами понимаем, вечером, ложась спать. На следующее утро, сладко потягиваясь, Зойка сказала:

— Понимаешь, никогда не ссориться — это все-таки ненормально. Вот поорали, зато смотри, как сейчас хорошо. Вроде как бы исполнили неприятный, но необходимый долг, и «опять сияют небеса...».

— Замечательный тезис, — ворчу, уплетая завтрак, — давай тогда установим график: ссора по понедельникам с трех до пяти, в четные числа начинаю я, в четные — ты...

— С тобой невозможно разговаривать на философские темы, — вздыхает Зойка и выпроваживает меня из квартиры.

Это были самые счастливые месяцы моей жизни, казалось мне тогда. Потом пришли еще более счастливые.

Наступил день, когда меня вызвали в отряд и сообщили: а) о присвоении очередного звания, б) о назначении начальником заставы, в) о том, что эта застава совсем в другом месте.

Я расставался с ребятами с грустью. Они, по-моему, тоже жалели о моем уходе. Особенно печалился Божков.

— Да, это потеря, это потеря... — горестно вздыхал он, словно провожал меня на кладбище, а не к новому, более высокому назначению. — Где теперь такого найдешь, — простодушно повторял он, и, совсем уж разоткровенничавшись, признался: — Я ведь за тобой, Андрей, как за каменной стеной был.

Мне его жалко стало, но и возмущался я порядком.

— Слушай, Женья, — сказал, — ну нельзя в армии жить, как ты живешь, прости, за чужой счет! Ты хороший парень. Да и офицер неплохой, службу знаешь. Но здесь ведь не профсоюзное собрание, где о директоре говорят, — можно выйти покурить или наклониться посок поправить, когда резолюцию голосуют. Сегодня я, завтра — другой подходящий зам, старшина подходящий, а дальше? Нельзя в армии без ответственности, без решений. И причем мгновенных...

— Да, да, ты прав, — сокрушался Божков, — ну что делать, если у меня такой характер?

— Менять характер, — говорю жестоко, — или профессию.

Такой вот у нас был прощальный разговор.

Старшина прокашлялся и произнес «речь»:

— До свидания, товарищ *старший* лейтенант (подчеркнул), не сомневаюсь, еще встретимся. Я хороших людей всегда хочу еще разок встретить!

Марфа Григорьевна откровенно вытирала глаза платочком, о чем-то шепталась с Зойкой, от чего та краснела и моргала. Бабские секреты. Солдаты, как я почувствовал, тоже жалели о моем отъезде. Вот это меня больше всего и взволновало. Я понял, что главная моя дружба в жизни — будет всегда с солдатами, с подчиненными. С начальниками может сложиться или не сложиться. Они будут меняться, солдаты — нет. Они будут всегда, и неважно, что сегодня это Бовин, Чернобай или Иванов. Теперь это всегда будут мои солдаты, за которых я в ответе, и чье уважение, дружбу, да чего там говорить — любовь — обязан заслужить. Иначе грош мне цена как офицеру! Как ни странно, Зойка, мне показалось, испытала меньше огорчений и сожалений. Ее больше всего беспокоила моя дальнейшая судьба — какие будут начальники, какие офицеры, справлюсь ли с новыми обязанностями и т. д. Сначала удивлялся, потом понял, для нее главное — я. И сколько бы перемен в моей судьбе ни наступило, всегда главным буду оставаться я. Что ждет меня, хорошо ли мне, я, я, я, — вся ее забота и боль. Как же мне повезло с Зойкой. (Повторяюсь? Ну что ж, я сто раз могу повторять.)

В Москву по дороге не заезжали. Было бы странным

ехать тысячи километров на запад, а потом тысячи на восток — посчитало начальство. Оно, паверное, право. А так, трое суток пути, и мы на новом месте.

Вроде бы все как всегда — белые домики за оградой, высоченная вышка, песочная дорожка, огороженная пизким штакетником, не очень искусно положенным, на пятах избображения пограничников, в стороне спортивный городок, льбер... Двое офицеров — заместитель и замполит, один женат, другой холост, толковый старшина, хорошие солдаты...

Обычная служба. Только теперь я — начальник заставы, главный. Эх, спасибо Божкову, что был он таким тьюфком, что фактически я уже был начальником, что научил меня, каким не падо быть. Теперь у меня подготовочка будь здоров!

Зойка сразу обустроилась, с женой зама тут же установила контакты, а через два месяца уже работала в школе. Поселок здесь был поближе и побольше. Что ж, Зойка тоже приобрела опыт в своей нелегкой профессии офицерской жены.

...На этой заставе я пробыл не очень долго. Как выяснил, мои предшественники тоже. Сдается мне, что начальство именно здесь проверяло вповь назначенных начальников застав. Почему — не ведаю. Застава как застава. Но пути пачальства, а равно и высокие его мысли, как известно, неисповедимы...

И вновь наступил день, когда мы с Зойкой собрали пожитки и направились к моему новому месту службы, в Северо-западный пограничный округ.

На этот раз в Москву заехали, совнал отпуск. Поэтому ни па какие моря не поехали, а весь отпуск с удовольствием «плескались, окунувшись в Москву» (выражение Зойки).

Всех повидал, со всеми друзьями повстречался, родителей ублажил. Дед прослезился, увидев внука — бравого офицера-пограничника. Даже пробормотал, что дело свое сделал па земле, воп какого вырастил, можно теперь и помереть. Все его устыдили, и он повинился, сказал, что померет не раньше, чем вырастит моего сына. Зойка, конечно, краснеет. Я ей потом говорю:

— А что, прав дед, пора готовить пополнение нашим родным пограничным войскам.

— А если дочь? — спрашивает.

— Значит, подругу пополнению.

— Ладно, — соглашается. — Давай договоримся, до следующей заставы.

Что-то не видел Борьку Рогачева, звонил, мне туманно ответили, что, мол, за рубежом. Жаль, давно не виделся, но уж такая у него планида — по заграницам болтаться.

Я порой думаю о нем.

Какой разной жизнью мы живем. Наверное, кого ни спроси — каждый скажет: «Что тут сравнивать!» Действительно, один живет в Парижах и Мадридах, весь в роскошной жизни. Другой — в пурге и стуже, в пустынях и болотах, не спит, не ест, ходит под пулями, и вообще кошмар!

Но если серьезно, то ведь мы оба счастливы (надеюсь, во всяком случае, что он тоже). Просто у каждого из нас свое понятие о счастье. При одной мысли, что мне пришлось бы надолго уезжать от моих гор, пустынь и лесов, вести светскую жизнь — меня тоска берет. (Как и Борьку, наверное, при мысли о далеких пограничных заставах.)

Не странно ли — вместе учились, дружили, одно детство, одни компании, один двор, одна школа, а какие разные пути! Наверное, он осуждает меня, как я его. Кто прав? Опять-таки каждый считает, что прав он. А в действительности? Только жизнь рассудит, только годы, люди. Это у Эренбурга «Люди, годы, жизнь»?

Может быть, живи мы вместе в Москве, общаясь, «взаимовлияя», так сказать, многое было бы по-другому. А что? Он бы меня ни в чем не переубедил, а я его? Надо письмо написать, об этих моих мыслях написать. Как-нибудь соберусь. Зойка говорит, что я совсем кореша забыл, что пропадет он без моих мудрых советов.

...На поезд — мы ехали через Ленинград — провожало нас столько народу, что хватило бы гарнизонов на пять застав. Женщины всплакнули, мужчины похлопали по плечу, пожали руку.

И я снова в пути. Снова в моей военной дороге...

Глава VIII

РУБИКОН

Слезы текут из-под моих закрытых век. Я не хочу открывать глаза, я не могу видеть эти серые стены, мне кажется, я тогда сойду с ума. Я не хочу видеть сегодняшний мой день, он ужасен, а завтрашнего я видеть не могу — его не будет. И я опять устремляю свой взгляд во вчерашнее, едипственное, что у меня осталось...

Тогда, в тот памятный день, у меня на глазах тоже блеснули слезы — слезы радости. Я в Америке!

Впрочем, если бы честным, я был немного разочарован. Я не ощутил чувства новизны, открытия. Все было настолько знакомо, даже привычно по фильмам, видеофильмам, по фото, по описаниям в журналах и книгах и, наконец, по собственным мечтам, мне казалось — я вижу даже знакомые лица.

После сложного и долгого перелета, посадок в Шеноне, Гандере, Монреале мы прибыли в Лос-Анджелес ярким летним днем — жара, духота, в своем темном костюме я взмок мгновенно, дышать невозможно, впечатление такое, что тебе к лицу приложили автомобильную выхлопную трубу.

К счастью, нас встречают. Представитель студии запикивает Известного режиссера и меня в огромный «форд», и мы трогаемся в путь. В машине ледяной холод, эркондишен включен на полную мощность. При такой жаре это, конечно, неплохо, но во всем нужна мера. Через минуту мы начинаем чихать. «Форд» мчится со скоростью сто сорок — сто пятьдесят километров в час (здесь все измеряется в милях, но, помнится, я тогда пересчитал).

Нас привозят в отель на берегу океана, в пригороде Голливуда. Отель роскошный, с бассейном (кому он нужен в десяти метрах от побережья?), теннисными кортами, вокруг парк, наполненный разными экзотическими цветами, кустами и деревьями, из которых я знаю только пальмы.

У меня небольшой, но суперкомфортабельный номер с телевизором, лоджией и неизменным холодильником (он же мини-бар). По дороге представитель студии сообщил программу: до вечера — отдых и «прихождение в себя», вечером нас ждет на ужин продюсер.

Мы торопливо обедаем (мой уважаемый шеф — Известный режиссер все делает торопливо) и расходимся по номерам (он наверняка сейчас завалится спать, он столько энергии тратит на съемках, что при любой паузе намертво и мгновенно засыпает).

Я же достаю из холодильника бутылку пива (в последнее время я понял, что как-то недооценивал этот напиток), выхожу на лоджию, рассаживаюсь в шезлонге и начинаю наслаждаться.

За горизонт уходит сверкающий океан. Белые, красные, полосатые паруса яхт прочерчивают его у берега, вдали проплывает какой-то огромный корабль. Перед лоджией покачиваются на легком ветру ленивые пальмы.

Боже, как хорошо! Вот так бы всегда. Сидеть, смотреть за горизонт, любоваться океаном... И ни черта не делать. Как миллионеры. Ну пусть не как миллионеры, как рядовые работники. Не рабочие на заводе «Форда», конечно, или вот тот негр, что подметает возле бассейна, а как солидный служащий, каким я бы наверняка был, если б родился в этой стране.

Здесь же каждый делает что хочет, черт возьми! Чтобы лишний раз убедиться в этом, надеваю шорты, беру фотоаппарат (выпиваю еще бутылочку пива) и выхожу в парк. Ох как пахнут здесь цветы, какие красивые и как много их. Еще бы, тут, оказывается, не один негр, а целая дюжи-

на в синих комбинезонах и каскетках копается в земле, поливает газоны, чего-то подстригает. Я величественно следую дальше, выхожу на маленький пляж, где никого нет — все загорают у бассейна. На пляже сидит лишь какой-то толстяк и жрет бананы. Он тоже в шортах, по жирной отвисшей груди стекает пот. Он с видимым интересом разглядывает девушек в крохотных купальниках, которые периодически проходят взад-вперед по аллее.

Утладев двух, особенно красивых, я фотографирую их со спины (по-моему, женщина сзади выглядит куда красноречивей, чем спереди, особенно с такой походкой, как эти). Когда пойдут обратно, сфотографирую анфас.

— Смелый ты парень, — слышу я сзади голос толстяка. — А если б обернулись? Или ты чемпион по бегу?

Я смотрю на него с некоторым удивлением.

— Чемпион, — говорю, — а что?

— От полиции не убежишь, — он машет рукой, — а от таких стрекоз легко не откупишься. — Сообразив наконец, что я не понимаю, о чем речь, он продолжает: — Ты что, с луны свалился, или у вас там, в Нью-Йорке, другие законы? Если фотографируешь такую вот русалочку без ее разрешения, она ж с тебя по суду за это три шкуры дерет. Как же — посятельство на ее нравственность, или достоинство, уж не знаю как. Знаю только, что в прошлом месяце двое французов здесь на этом попались. В газетах писали. Ты не француз?

— Нет, — говорю на своем лучшем американском, — спасибо за предупреждение.

— А я же слышу — из Нью-Йорка. Так что лучше, парень, делай как я: фотографируй глазами. Дешевле обойдется. Ха-ха-ха.

Он заливается смехом, а я, сделав ручкой, возвращаюсь в отель. Ну их к черту! Чуть не влип, баб, оказывается, нельзя фотографировать. А еще чего нельзя? И что можно?

Включаю телевизор. Попадаю удачно — как раз уголовная хроника. Ну и пу! Там застрелили, тут зарезали, еще где-то изнасиловали (насилоуют направо и налево, это, оказывается, можно, сфотографировать, видите ли, нельзя!). Прихожу к выводу, что если что и можно здесь делать — так это убивать и грабить всех подряд. Впрочем, вывод для меня не новый, я это еще по моим детективам знал. Они, кстати, очень реалистичны, эти детективы, «капиталистический реализм».

Опять вышел погулять и словно погрузился в их мир. Бензоколонки, бунгало, ресторанчики вдоль автострады, гигантские универсамы, окруженные автомобильными стоянками, бесконечные вереницы мчащихся по шоссе великолепных машин, но и какие-то унылые закоулки, мусорные кучи, нег-

ры и негритята возле халуп, белые на веревках, набережные с пляжами и пальмами, какие-то виллы, пе виллы, а прямо дворцы за высокими стенами, неторопливо скользящие полицейские патрульные автомобили с мигалками на крыше — все это собрано вместе и увидено мной за полутора-двухчасовую прогулку. И все точно, как в фильмах, как в детективах. Не хватает только гангстеров с пулеметами. Но эти, наверное, выходят на прогулку по ночам.

Вернувшись в отель, замечаю, что дверь моего номера снабжена глазком и цепочкой. Это в отеле-то!

Вечером за нами приходит машина, и мы едем на виллу продюсера. Ужин при свечах на террасе под шенот океана и тихую музыку, обслуживают негритянки. Вилла большая, обставлена в стиле модерн. На стенах в рамках какая-то чудовищная мазия (словно обезьяны рисовали хвостами). Наш хозяин с гордостью демонстрирует свою «Третьяковку» и каждый раз называет цепу шедевра. Астрономическую!

Какая вилла, какая мебель, какие блюда! И какая дочь у хозяина! Спортивная, красивая (пу, может, и не очень), энергичная. Отец в ней души не чает и ради нее готов на все. Вот бы на ком жениться! Уж о счастье своей дочери этот отец позаботится, уж своему зятю он найдет приличное местечко. Чтoб бедняжка не слишком переутомлялся.

А по вечерам мы с женой сидели бы на этой террасе с коктейлями в руках или принимали таких же благополучных друзей. А может, папа расщедрился бы нам на отдельную виллу? Или яхту? А может...

Ну тут моя семейная идиллия с дочкой чадолюбивого продюсера грубо обрывается: входит какой-то верзила в белом смокинге и увозит ее на вечеринку. Это, оказывается, ее «бой», необъявленный жених. Когда они уходят, родители радостно сообщают нам, что он — сын владельца полотины голливудских универсамов. Будучи объективным, я признаю про себя, что такая партия выгодней, чем аспирант института иностранных языков Борис Рогачев, чей отец всего лишь средней руки чиновник департамента внешней коммерции.

Я оставил его не в лучшем состоянии, что меня беспокоит. Говорю об этом вслух. Наши хозяева проявляют искреннее сочувствие, спрашивают мой домашний телефон, и через пять минут я слышу голос отца так ясно и четко, словно он в соседней комнате. Он старается меня успокоить, но ему это плохо удастся. Он рад за меня, пусть я не волнуюсь, работаю, отдыхаю, совершенствуюсь в языке... А у него все в порядке.

Как же!

Разговор меня огорчает, и в отель возвращаюсь пелесый. Выхожу в лоджию, люблюсь ночным океаном, звезд-

ным небом, подсвеченными пальмами и клумбами, цепочкой огней на дальней набережной. Настроение поднимается. Возвращаюсь в комнату, включаю телевизор и с середины смотрю очередной детектив, полиный крови, воплей и стрельбы. В это время раздается тихий стук в дверь. Час ночи, кто бы это мог быть? Подхожу к двери, смотрю в глазок и вижу... Сама и Джен.

Радостно открываю, она бросается мне на шею, он доволно мурлычет. Я лезу в холодильник, но Сэм останавливает меня:

— Боб, ты сильный, выносливый мужчина. Тебе нипочем перелеты, разница часовых поясов, бессонные ночи... Поедем с нами! Отпразднуем твой приезд. Когда у тебя завтра работа?

— Они пришлют машину к девяти, — машинально отвечаю.

— К восьми ты будешь в номере! Успеешь побриться, сходить в туалет и сделать вид, что ты проспал всю ночь в собственной постели! — Он подмигивает и смеется.

Джен вторит ему. Я пребываю в перешителности и, когда выхожу из этого состояния, то обнаруживаю, что, одетый и обутий, сижу в машине между Сэмом и Джен и мчусь по ночному шоссе в Голливуд.

В окно задувает соленый океанский ветер, из приемника льется дивная музыка, Джен обняла меня за шею, положила голову мне на плечо... Сказка! Меня охватывает какое-то особое чувство — мне все нипочем, на все наплевать, такое не повторяется, надо ловить мгновенье, наслаждаться, наслаждаться!

Я не очень хорошо запомнил эту ночь. Наверное, напился, хотя такого со мной давно не случалось, вернее, никогда. Да и выпил немного. И все же такое ощущение, словно не я собой командую, а кто-то другой, вернее, никто, словно меня лишили воли. Смутно помню какой-то экзотический гавайский ресторан, потом бар, потом подвальный кабачок, где на сцене сначала танцевали обнаженные девицы, а затем выходили пары и выделявали черт знает что, затем какая-то комната вся в диванах и пуфах, зеркалах и свечах, и мы с Джен на диване... А потом вообще уже ничего не помню.

...В отель Сэм доставил меня в семь утра, сам заказал мне в номер черный кофе, развел в стакане с водой какие-то пилюли, заставил выпить, и через полчаса я был в порядке. Правда, когда брился, глядя в зеркало, пришел в ужас — бледный, под глазами мешки, отекий.

— Ничего, — утешил Сэм, — ты же молодой и здоровый, к вечеру будешь выглядеть молодцом. Отдохнешь, отоспишь-

ся, а завтра мы с Джен за тобой заедем, я покажу тебе Голливуд.

— Только, — прошу, — не как этой ночью, я второй не выдержу. А где Джен?

— Джен отдыхает. Ты ее окончательно замучил. Она говорит, что ты не мужчина, а прямо бог...

— Ну уж... — смущаюсь (но, конечно, доволен).

На том прощаемся. Постепенно прихожу в себя. Известный режиссер подозрительно посматривает на меня, но, поскольку я делаю свое дело, ничего не говорит. Выясняется, что делать-то мне особенно нечего, в основном идут разговоры с продюсером, который, я упоминал об этом, знает русский не хуже меня (если не лучше). К тому же его жена от него не отходит, и она знает русский. Под конец вообще сюрприз: появляется какой-то старый красноносый забулдыга (наверняка эмигрант, бывший полицей или староста, удравший с немцами, а теперь перекинувшийся в Америку). Нам представляют его как переводчика. Так что с каждым шагом по студии, с каждым часом «работы» я все больше чувствую свою ненужность здесь.

Сначала, сославшись на плохое самочувствие, я пару дней не ездил с Известным режиссером на студию, никто моего отсутствия не заметил. Потом, мотивируя необходимостью позаниматься в вечерней библиотеке, стал исчезать вечерами. Все это время мы проводили с Сэмом, Джен и их друзьями — мотались на их яхте, купались, ходили в бары и дискотеки, в, мягко выражаясь, не очень приличные заведения с программой. Частенько мы уединялись с Джен на квартире одной из ее здешних подруг.

Я давно перестал думать, соответствует ли мое поведение нормам высокоинтеллектуального аспиранта, попавшего в «языковую среду». Да, в хорошенькую «среду» я попал.

О чем же я тогда думал? Да ни о чем. У меня совершенно не работал инстинкт самосохранения, воля была парализована, я ко всему относился благостно, всему шел навстречу. Какая-то вялость реакций. Конечно, любовь, выпивка, всякие интересные места, необычные впечатления...

Сэм давал мне деньги на мелкие расходы, обещал взять у меня рубли, когда придет в СССР.

Потом я не раз все это анализировал и пришел к выводу, что меня просто обрабатывали какой-то дрянью, влияли в вино. А может, подсыпали в бифштексы? Ручаться не могу, но думаю, что секрет того, что я превратился в доверчивого и безвольного болвана, именно в этом. А там, кто его знает... Да и какое это сейчас имеет значение и будет ли рассматриваться как смягчающее вину обстоятельство?

Между прочим, Сэма и его компанию не следует обвинять в простодушии. Это были ох какие хитрецы! Они, на-

пример, никогда не вели со мной политические разговоры, не отзывались плохо о Советском Союзе и советских людях (скорей я, браврируя, делал это иногда), не задавали недозволенных вопросов.

Нет, просто веселые ребята и влюбленная девушка стараются как могут скрасить пребывание дорогого друга, приехавшего к ним в страну.

Короче говоря, когда наступил час пробуждения, я был потрясен, и, можете верить, можете не верить, если б не моя ватная воля и расслабленность, я бы тут же утопился в океане. Клянусь! (А может, не утопился?)

Этот час пробуждения наступил за два дня до нашего отъезда. Известный режиссер остался доволен пребыванием в Голливуде и моей «эффективной помощью» (!), как он выразился. Он был так доволен, что не заметил моих постоянных отлучек.

— Ну, Борис, складываем чемоданы, — радостно восклицал он, — мы с тобой большое дело сделали! Огромнейшее дело! И не только чисто кинематографическое, но и политическое. — Он поднимал перед моим носом указательный палец. — Понял? По-ли-ти-чес-кое! Перекинули мост США — СССР. Укрепили культурные связи. Это сейчас ох как важно, najważнейше! А пропаганда? Этот продюсер — голова, и ничего не боится. «Век Маккарти кончился», говорит. Литературный сценарий мы утвердили, с поправками, конечно, ругались, ссорились, но утвердили. Вполне приемлемый для нас вариант. Когда американцы будут смотреть, а уж он у себя сумеет наш фильм разрекламировать, они поймут нашу жизнь. Неважно, что все во времена Петра происходит. Это был великий человек, и великая страна не боится великих реформ! Хотя, скажу тебе между нами, по культурному уровню американский кинопозител у нас ходил бы в лике без. Да, да, кошмарная интеллектуальная отсталость.

Он еще час произносил свой монолог и закончил приятным сообщением:

— Через два-три месяца снова приедем — подписывать режиссерский сценарий.

Я слушал, размышляя о грандиозной прощальной вечеринке, которую намечал в этот день Сэм. Известный же режиссер был приглашен на прощальный ужин в его честь, устраиваемый продюсером. (Я, как обычно, занемог. «Отдыхай, — сказал мне Известный режиссер, — ты что-то плохо выглядишь последнее время». А? Вот это наблюдательность!)

Через час после его отъезда я принял душ, побрился, надушился, надел белый блейзер (купленный на деньги Сэма. На *одолженные* мне Сэмом деньги) и спустился в холл.

Сэм и Джен меня ждали. Поехали за город, на какую-то

роскошную виллу (а здесь не роскошных не бывает), там вся компания в сборе и еще какой-то тип, явно постарше возрастом, — хозяин виллы.

Время провели классно (даже компата нашлась, где мы с Джен горячо простились наедине). Не будь я таким восторженным болваном, заметил бы кое-что, что отличало эту вечеринку от предыдущих, ей подобных. Например, почти не было алкоголя, ребята вели себя сдержанней и опасливо косились на хозяина виллы, Джен неожиданно, когда мы остались с ней вдвоем в той комнате, расплакалась, стала так целовать и обнимать, что я чуть не задохнулся, и все бормотала:

— Боб, ты не будешь обо мне плохо думать? Нет? Я люблю тебя! Я ни в чем перед тобой не виновата! Запомни. Я не хочу, чтоб ты думал обо мне плохо. Я тебя по-настоящему люблю! Ты мне веришь?..

Еле успокоил ее.

К полуночи все начали разъезжаться. Сэм поехал провожать Джен, обещав заехать за мной на обратном пути.

И наступил момент, когда мы остались с мистером Холмером (так он, во всяком случае, представился при знакомстве) наедине. Сидим, смотрим друг на друга, и я чувствую, как меня охватывает паника (нет, я не суеверный, но не говорите мне, что у людей не бывает предчувствий, еще как бывают!).

Наконец он встает и говорит:

— Поднимемся ко мне в кабинет, в этом свиномышнике неприятно разговаривать, а беседа нам предстоит серьезная.

Выходим в холл, поднимаемся на второй этаж, заходим в кабинет (вот уж не роскошный, а какой-то учрежденческий), садимся за стол, он по одну сторону, я по другую. Молчим.

Потом он начинает говорить.

— Вот что, Борис (Борис — это я), я хочу начать нашу беседу с неприятных вещей, чтобы закончить приятными. Потому я попрошу вас соблюдать спокойствие, не нервничать, не перебивать меня, а просто смотреть и слушать. Договорились?

Я молча киваю головой (я уже догадываюсь, что услышу и увижу). И далее в течение часа молчу. Да я бы и не мог ничего сказать, у меня словно ком в горле застрял.

Мистер Холмер демонстрирует мне фото и видеофильмы, где главным героем является звезда экрана Борис Рогачев. Сэм вручает мне деньги. И я их беру. Я получаю в «Бэнк оф Америка» доллары. Я — во всех оргиях, во всех видах, мы с Джен в постели... В Варие, в Голливуде, в виллах, на яхтах. Он вынимает фотокопии моих писем, расписки в банке на пятьдесят долларов, записок Джен, включает магнитофон

с записями наших самых интимных разговоров и отдельно, где я не очень-то лестно отзываюсь о моей родине... Словом, всего хватает.

— Достаточно? — спрашивает он под конец. — Есть еще свидетельства дирекций магазинов, что предъявленные вами доллары краденые, и свидетельства, что вы их получали за определенные услуги, и многое другое, но это уж чистейшие провокации, однако опровергнуть вы их не сможете.

Некоторое время он молчит.

— На этом неприятную часть нашей беседы я хотел бы закончить. Теперь приятная. Вы поступаете к нам на службу. «Мы» — это общественная гуманистическая организация. Не ЦРУ, не ФБР, вообще не государственный орган. Никаких военных тайн мы от вас не требуем и диверсий тоже. Пусть ваша совесть будет чиста. Не спорю, мы отрицательно относимся к вашему правительству, но русский народ ценим и уважаем и хотим, чтобы ему жилось лучше. Он одурочен, и ему надо на многое раскрыть глаза. Вот в этом, собственно, наша цель. И вы можете и должны нам помочь. Определенная, хотя уж не такая большая опасность в этой работе есть. Вы молоды, а молодежь любит риск и приключения, тем более когда читает столько детективов, сколько вы. Тем не менее мы намерены щедро оплачивать ваши услуги. На ваше имя дополнительно к тем пятистам, извините, четыреста пятидесяти — вы ведь сняли пятьдесят — будет положено туда же в «Бэнк оф Америка» еще полторы тысячи. Когда вы вновь приедете сюда в сентябре, кажется, или октябре, вас встретят не хуже, чем сейчас. И вообще при ваших выездах за границу. А со временем, когда вы захотите навсегда остаться у нас, мы гарантируем вам американское гражданство, хорошее место с высоким заработком в любом городе страны. И вы будете жить не хуже, чем Сэм и все эти ребята, с которыми проводите здесь время. Поверьте, вы не созданы для советской жизни, в душе вы американец.

Я сижу и молчу. И размышляю. И прикидываю. Я совершенно спокоен. Мне и теперь непонятно, как я мог в минуту страшной катастрофы, когда вся моя жизнь полетела в пропасть, быть таким спокойным. Может быть, где-то подсознательно я предвидел это, ожидал. А может, хотел? Хотел, но так, чтобы самому ничего не делать, чтоб оно так вышло, без моего участия, вроде бы — перст судьбы... Так вот получилось, ах, ах, я тут ни при чем...

Я стараюсь не думать о плохом, думаю о деньгах, легкой жизни, о какой-нибудь Джен, с «моей» Джен я больше не увижусь, это мне ясно (а вдруг?).

Весь вопрос, чем расплачиваться — это главное. У меня холодок пробегает по спине.

И ясновидящий мистер Холмер говорит:

— Теперь о вашем задании. Вы получите пачку брошюр, вполне невинного содержания: советы русским людям, как обрести свободу, ну, там, пара специальных блокнотов, пара писем. Вернувшись домой, вы разошлете брошюры по адресам, список которых я вам дам. Просто положите в конверты, напечатаете на машинке (желательно не вашей) адреса и опустите в почтовые ящики. А блокноты и письма положите в автоматическую камеру хранения на Казанском вокзале и, позвонив по телефонам, номера которых я вам тоже дам, вы их выучите наизусть, сообщите шифр и номер ячеек. Звоните по телефону, кто бы ни подошел, говорите: «Это Самсонов, мне Ямпольского». Вам ответят: «Это я Самсонов, а вы, наверное, Ямпольский?» Называйте шифр и номер и кладите трубку. Вот все, как видите, ничего особенного.

— А если меня прихватят на таможне? — спрашиваю.

И вижу, как мистер Холмер с облегчением вздыхает. Теперь он понимает, что никаких сцен, протестов, истерик с моей стороны не будет, что я все понял, на все согласен и только боюсь, как бы меня не поймали. Он даже улыбается. А чего он ждал? Что я повешусь у него на глазах? Или попытаюсь его убить? Или позвоню в наше посольство с повинной? Напрасные опасения. Ну кто бы так поступил в моем положении? Кто бы стал бороться? (А может, кто-то стал бы?..)

— Видите ли, Борис, риск всегда есть. Но ведь и журнальчики вы кое-какие провозили, за которые не похвалят, рисковали. Ради чего? Другам показать? Перед женщинами похвалиться? А тут вас какие награды ждут! Так что не робейте, все обойдется. Вы у нас не один, и пока проколов не было. Верите.

Он подходит к шкафу, вынимает оттуда пачку брошюр, конверты и протягивает мне.

— Видите — немного. Можете все спрятать на себе — по карманам, за пазуху, за пояс. Уж личный-то досмотр вам наверняка устраивать не будут.

Я забираю бумаги и встаю.

Он останавливает меня:

— Еще одна маленькая формальность. Я ценю вашу молчаливость и сообразительность. Вы сразу все поняли и сразу согласились. Но все же попрошу сказать об этом вслух, предупреждаю честно — это будет записано на магнитофон. Вы поймите, мы тоже должны иметь гарантии вашей лояльности. Мы вам доверяем, но порядок есть порядок. Прошу.

Он кладет передо мной текст на русском и английском языках: что, мол, согласен на сотрудничество с организацией, представляемой мистером Холмером, под шифром таким-

то, обязуюсь выполнять все ее задания за такое-то вознаграждение, называю свое полное имя, адрес, паспортные данные, число, месяц, год, город Голливуд...

Он отвозит меня в отель. Мы вежливо прощаемся. Я добираюсь до постели, и, как ни странно, мгновенно засыпаю. У меня такое чувство, что все это происходит с персонажами одного из моих детективов или виденных мною фильмов.

Только не со мной. А я хожу как во сне и наблюдаю все со стороны.

На следующий день мы улетаем в Москву...

Вот так все это было.

В жизни радостное не может продолжаться без конца, одно всегда компенсирует другое. У французов есть мудрая поговорка: «Если у вас все хорошо, не расстраивайтесь — это скоро пройдет». Есть и у нас соответствующая пословица: «Беда никогда не приходит одна». В справедливости этих горьких истин я тогда убедился на собственном опыте.

Таможню я прошел нормально — никто моего чемодана не открывал, тем более не лез мне в карманы или за пазуху. В какой-то степени я обязан этим Известному режиссеру — его физиономия действительно настолько известна, что таможенные инспектора всюду рассматривали ее, а не чемоданы. И правильно делали, уж кому-кому, а мне-то было известно, что ничего запрещенного мой уважаемый шеф никогда не возил, как, впрочем, и я (журналичики не в счет).

Но в тот раз я испытал такой страшный страх (врагу не пожелаю!), что вышел в зал ожидания на шатких ногах.

И с тех пор я с этим страхом уже не расставался. Выражение «липкий страх» мне кажется неточным. Страх не прилипает, он не только обволакивает, он просачивается в тебя, наполняет изнутри от макушки до пяток, он — как радиация, его не видно и не слышно, но он есть, он настойчиво ведет свою вредоносную работу, подтачивая тебя изнутри, разрушая мозг, разжывая душу.

Конечно, порой он отпускал меня (постоянно жить с ним невозможно — умрешь), куда-то уходил, заслоненный временными радостями, приятными событиями, легкомысленным самоуготовариванием, что все в порядке, ничего не грозит, нечего опасаться... Но стоило возникнуть малейшей неприятности, произойти какому-нибудь противному событию, да просто приуныть, в чем-то разочароваться, задуматься о будущем (а как без этого?), и страх, как обострение язвы или радикулит, возникал, злорадно подмигивая, и корежил душу, пронзал болью отчаяния, не давал спать, улыбаться, отдыхать...

А беды в то время шли на меня одна за другой. Как цепи атакующего врага.

С заданием я справился быстро. Не успев приехать до-

мой, помчался не в больницу, куда накануне увезли отца с очередным сердечным приступом, а на Казанский вокзал, где я торопливо рассовал по ячейкам конверты с письмами и блокнотами. Выйдя из камеры хранения, лицом к лицу столкнулся с патрулирующим там милиционером, и мне по настоящему сделалось дурно. Во всяком случае, милиционер посмотрел на меня так, что я понял: еще минута, и он поведет меня в медпункт. Я взял себя в руки, улыбнулся дурацкой улыбкой в доказательство моего отличного самочувствия и быстренько слинял.

Некоторое время я приходил в себя, потом спустился в метро, зашел в автомат и набрал номер. Ответил молодой наглый, как мне показалось, голос. «Это Самсонов, — прошептал я, — мне Ямпольского». Последовала пауза, и тот же голос, на этот раз встревоженно, еле слышно произнес: «Это я Самсонов, а вы, паверное, Ямпольский?» Я назвал шифр и номер ячейки, повторил медленно еще раз и повесил трубку. Мне показалось, что я сбросил с плеч многотонный груз. И тут же пронзила ужасная мысль: а вдруг где-то уже определили, из какого автомата я звоню, и оперативная группа мчитесь сюда?

Я стремглав, расталкивая толпу, понесся к эскалатору, пробежал по нему, чуть не споткнувшись о поставленный на ступени чемодан, вылетел к вагонам и в последнюю минуту вскочил в один из них. На следующей остановке, даже не зная, какая она (оказалась «Красносельская»), напел автомат. Тут я взял себя в руки. На этот раз голос был старческий (или мне это тоже показалось?). Он говорил как-то скучно, обреченно и равнодушно.

Еще два звонка из двух разных станций метро, и я, наконец, вздохнул с облегчением.

Конверты с вложенными в них брошюрами я опустил в Соколыньках.

Теперь я окончательно разделался с этим проклятым заданием. И тут же, словно в насмешку, даже поблдепел от страха — ведь адреса-то я напечатал на своей машинке! Я даже застонал. Схватив такси, помчался домой, взял машинку, заметался, куда ее девать? Выбросить — найдут, сдать в комиссионку — установят, чья, в какую-нибудь камеру хранения — так сколько ее будут хранить? Кончилось тем, что я в тот же вечер выбрал момент и бросил ее в Москву-реку, подальше от дома.

Только тогда наконец успокоился.

А потом начались несчастья.

Самым страшным была смерть отца. Он умер в больнице — обширный инфаркт. Ушел как-то тихо, по-деловому (если можно так сказать). Ушел как жил. Честный, преданный делу работника, надежный и добросовестный в службе,

начисто проглядевший подонка-сына (первый раз я тогда назвал себя так).

Только когда отца не стало, я понял, что он значил для меня. Он, вечно занятый, где-то мотающийся, ни в чем мне не отказывавший, во всем потакающий, твердо уверенный, что я ведь разумный, честный, хороший, во всем с него беруший пример.

Я поразился на кладбище, увидев, сколько людей из его министерства пришли сюда, какими нахмуренными были мужчины, как плакали женщины. Его любили, ценили и уважали. И речи об этом были искренними.

Я подумал: не обязательно идти по жизни громко, шумно, с блеском, можно пройти ее и скромно, а оставить куда более чистый и долговременный след.

Ну вот, ушел бы я. Кто вспомнит меня через год? Разве что мистер Холмер. С досадой, как убыточную сделку, в которую зря вложили деньги.

Теперь я остался один в нашей здоровенной пустой квартире. И вдруг осознал, что у меня нет близких людей, ни родственников, ни любимой женщины, ни настоящих друзей. Андрей Жуков? Он кончил свое пограпучилище, получил назначение куда-то на другую планету, по перед тем сыграл свадьбу. Они с Зоей поженились.

Свадьбу сыграли у него дома. Свадебным генералом (хоть и полковник в отставке) был дед. Но пришли и начальники Андрея, и сокурсники, и самбисты из «Динамо» (Андрей же теперь мастер спорта!). Я смотрел на них с завистью, я имею в виду курсантов — красивые, здоровые, какие-то ладные, жутко довольные, что выпорхнут скоро в самостоятельную офицерскую жизнь. «Выпорхнут», как же! Выйдут, печатая шаг, выйдут... Интересно было наблюдать за дедом Андрея, за отцом и за ним. Династия! Наверняка тогда в сорок первом дед был, как Андрей сейчас, а Андрей будет копией деда когда-нибудь. А я чей? Роберта Тейлора? Джеймса Бонда? Казановы? Да, будет чем гордиться...

Уж не знаю, что меня стукнуло, или смерть отца так подействовала (или подсознательно я уже расставался с московскими ценностями), я принес ему в подарок видеомэгнитофон. Андрей смутился, мне показалось, что и товарищи его как-то странно посмотрели на меня, но поблагодарил.

А на следующий день привез мне его обратно.

— Ты не обижайся, Борис, — сказал, — рано мне такие подарки от людей, даже от друзей, принимать. И тебе рано дарить. Ты теперь один, женишься, деньги потребуются, продашь. Не обижайся, я понимаю — ты от сердца, но и ты меня пойми.

Он — единственный, кто в те дни, когда умер отец, и на кладбище был со мной, и дома. И не было у меня в то

время человека ближе, чем Андрей. Всю жизнь буду ему благодарен за те дни — думал я тогда. (Что ж, пришло время, и я отблагодарил его. По-своему...)

Они с Зойкой, теперь Жуковой, уехали. Проводил я их на вокзале, поклялись встретиться при первой возможности, писать друг другу, если удастся, звонить.

Они уехали. А я стал оглядываться — кто ж остался. Ленка? Ленка выкинула номер. Умора!

Никогда не догадаетесь. Моя Ленка выскочила замуж! Да, да, как обыкновенный человек, рядовая женщина-труженица. И за кого? Ну уж тут ставлю новую «Волгу» против вышедшего в тираж билета вещевой лотереи, что не угадаете! За портного! Ну ладно бы еще какого-нибудь там модного, престижного, эдакого Зайцева. Ни черта! Обыкновенный трудяга-портной (правда, красивый малый) в ателье, где шьют этим манекенщицам туалеты, ну, не в ателье, в Доме моделей. Ударник! Секретарь комсомольской организации! А? Представляете? Она же почти звезда экрана, ее уже в третьей картине снимают. Она же красавица, за ней там и режиссеры и актеры увиваются! А она — за портного.

Поступила честно. Позвонила мне, вызвала на свидание, все рассказала и смотрит выжидательно.

Я молчу. Странное дело — я расстроен. Мне больно, мне грустно, мне тоскливо. Много в ней недостатков, в моей Ленке (бывшей «моей», вот и она бывшая), но ведь любила меня, уж какой близкий человек, словно носил ее в жилетном кармане...

— Не жалко? — спрашиваю.

— Чего?

— Ну, того, что было у нас, что могло бы быть?

— Что было — жалко, — говорит тихо, — а быть ничего, Боренька, не могло. Вот, когда поняла, тогда и решила.

— Много же тебе времени потребовалось, — усмехаюсь проницательно.

— Много, — соглашается, — ничего не поделаешь, дура ведь. Что у нас было, — добавляет, помолчав, — у меня уже не будет. Зато будет муж, надежный, любящий, хороший. А я ему буду женой настоящей, — опять помолчала и закончила, — а не игрушкой, как для тебя.

— Разве я был бы плохим мужем? — спрашиваю.

Она машет рукой.

— Ты не можешь быть мужем, ни хорошим, ни плохим, никаким. Ты, Боренька, мужчина для всех женщин, не для одной. Есть такие. Вот ты. Прощай и не сердись.

Я не сержусь. Нет, я не сержусь. Целую ее в щеку и ухожу, не оборачиваясь.

Интересное сделал открытие (запатентовывать не собираюсь, пользуйтесь). Вот все эти чувихи, десятиклассницы, забывшие в девятом, а то и в восьмом свою девственность, все эти, что дня не могут прожить без дискотеки, бара, «ком-пашки», гулянки, для которых «фирма» — цель жизни, та-кой, вот, как я, папенькин сынок — необходимый спутник... Все они в какой-то момент, кто сразу, а кто постепенно, пре-ображаются, начинают работать или служить, как все люди, выходят замуж, становятся заботливыми, верными, хозяйственными женами, рожают детей и гневно осуждают их, если те бегают по дискотекам и гулянкам. А? Не удивительно?

А вот у мужиков иначе. Там, многие, кто в юности валяет дурака, ничего в жизни не добиваются, сворачивают на кривые дорожки, а то и плохо кончают. Вот так. Да здравствует женщина!

Значит, теперь и Ленка ушла из моей жизни по предна-значенному ей пути.

Но и это не все. На этом мои беды не кончаются.

Во-первых, арестовали Рудика. Уж кто-кто опыт имел, осторожничал всегда, сто раз примеривался, никому не до-верял. Когда мы ездили к нему на дачу смотреть порнофиль-мы, это напоминало конспиративные встречи эсеров или бе-логвардейцев, как их показывают в кино. Нужно было про-ехать до следующей станции, вернуться пешком, пролезть на соседний заброшенный участок, подождать в кустах. А он ставил на подоконник лампу... Словом, тысяча и одна ночь. Зато уж собирались люди надежные, что девки, что ребята. Никаких римских оргий он у себя не допускал. Пожалуй-ста, смотрите, вскипайте, а выпускать пары, будьте добры, в другом месте. И вот такой достойный, респектабельный человек попадает на ерунду — ссорится со своей девчон-кой, выгоняет ее, а она в истерике звонит в милицию, и тем же вечером на даче всех накрывают. Меня в тот раз там не было.

Он-то молчит, а вот кое-кто послабей называет других завсегдатаев, и меня в том числе. Вызывает следователь. Особого страха не чувствую. (Из-за этого. Ведь со мной по-стоянно тот, Большой страх, он все подавляет.) Меня спра-шиваю, бывал ли я на даче.

— Бывал, два раза, — чистосердечно признаюсь, — мне обещали знаменитый детектив, а показали какую-то отвратительную грязную киностриптиз. Я ушел, не досмотрев. Второй раз было по-другому — мне заказали обзор для «Со-ветского экрана» на тему «Разращение западной молодежи с помощью кино» (я действительно в свое время сделал та-кой обзор). Ну и хотел освежить впечатления, так сказать,

окупнуться в эту грязь, чтобы бороться с ней со знанием дела. Понимаю, виноват, следовало сообщить об этом, отругать их, но ведь для дела, и всего-то два раза. Каюсь, извиняюсь, больше не буду...

Уж не знаю, поверил ли следователь (сильно сомневаюсь), но махнул рукой. Там и без меня обвиняемых хватало, да еще все папы-мамы стали звонить, нажимать на педали... Словом, для меня обошлось. Но я запомнил — это второй звонок.

С аспирантурой тоже кое-что стало разлаживаться — все же запустил я ее, и мой профессор деликатно, но вполне недвусмысленно напомнил мне об этом.

Но dokonала меня совсем уж идиотская история. Глупее не придумаешь.

Беды бедами, но обходиться без женщин, как вы уже догадались, я долго не мог. Обычно проблем не было. Собирались в компаниях, а то и знакомились где-то, уединялись, а когда остался один, так стали просто приезжать ко мне на квартиру. И каких только среди них не было и сколько! Я сейчас не только имен не помню, я бы встретить на улице — не узнал.

Сказать, что все эти особы отличались высокой нравственностью, значило бы впасть в преувеличение. Так угораздило же меня напасть на порядочную девушку! Она служила машинисткой на нашей кафедре. Тихая, на редкость скромная, небогато одетая, аккуратно причесанная, никакой косметики. Но была она вся какая-то такая юная, чистая (и внешне, и внутренне), что разве такой задубевший пакостник, как я, мог удержаться? Я пригласил ее в театр, через неделю она без памяти влюбилась в меня, через две — отдалась мне, а через два месяца забеременела.

Ну и что? Сколько раз такое бывало. В наше время избавиться от этой неприятности (если уж имела глупость влипнуть) — пара пустяков. У меня отличные знакомые врачи, опытные, умеющие молчать и выдающие любую справку с печатью. О деньгах и говорить нечего. Так что проблема решена, так сказать, еще не возникнув.

Оказалось — не решена.

Эта дура не хочет делать аборт! Ну? Как вам это нравится? Обхаживаю ее и так и эдак.

— Послушай, Люся, — толкую, — ну к чему это все? Мы не женаты, сами еще дети, ну что ты будешь губить лучшие годы своей жизни.

— А почему мы не можем пожениться, — удивляется, — моя мать меня в этом же возрасте родила. Оба зарабатываем, ни у кого на шее не сидим. Квартира вон у тебя какая.

— Да пойми ты, — сдерживаюсь изо всех сил, — не могу я жениться...

— Ты не любишь меня?

— (О господи!) Не в этом дело. Я вообще не могу жениться. Это не в моем характере. Ну зачем тебе муж, который все время отсутствует, который будет тебе изменять...

Она молча плачет.

— Вот что, Люся, давай на этот раз не будем рисковать. А потом поживем, проверим себя, ну, поженимся и тогда заведем ребенка.

— Зачем же ждать, Борис? И что проверять? Я без тебя не могу...

(Какой кошмар! Еще не хватало, чтобы эта божья коровка из-за меня покончила с собой. И оставила записку...)

Мы часами ведем эти бесплодные разговоры, а время-то идет. Скоро уже поздно будет что-нибудь предпринимать. Вспоминаю драйзеровскую «Американскую трагедию». Как я понимаю Клайда Гриффитса!

И вдруг я чувствую, что она переменилась. Сразу. Еще вчера была одной, а сегодня совершенно другая. Холодная, сухая, какая-то твердая. Никогда не думал, что она может быть такой. Пришла, как всегда, вечером, после работы, прошила, не снимая пальто. А уж пальто! Ее одежда всегда меня раздражала, все это не то, ГУМом за версту несет. В приличное место с ней не покажешься. Кое-что я ей дарил, радовалась как ребенок. Но не мог же я ее с ног до головы одевать, черт возьми! А с другой стороны, где ей брать? Родители у нее не миллионеры, отец где-то на железной дороге служит и, между прочим, не директором вагона-ресторана, мать — на почте. У самой Люськи оклад — сто десять рэ. Ну, подхалтуривает иногда — печатает, так разве на это оденешься? И что самое поразительное, я чувствую, что это для нее не главное. Главное — я. (И как меня угораздило с ней связаться! Надо же быть идиотом!)

Да, так вот, пришла она в тот вечер, села, не снимая пальто, и говорит:

— Извини, Боря, я на минутку. Больше приходить не буду, вообще не буду тебя беспокоить, — говорит твердо, четко, видно, сто раз про себя эту речь повторяла. — Ребенка я оставляю. Я его уже люблю. Что ж делать, если у него такой отец оказался, моя вина. Будем надеяться, что в мать пойдет, — усмехнулась невесело. — Хотя и плохой ты, Борис, человек, но так просто из сердца вырвать тебя не могу, — вот тут только платочек вынула, глаза промокнула. — И ребенка оставляю. Но ты не беспокойся, ничего от тебя требовать не собираюсь, ничего никому не скажу. С работы увольюсь, может, уеду куда. И насчет моей матери не беспокойся. Я ее уговорю, она никуда не пойдет. Не бойся. А теперь прощай, Борис, хотела сказать тебе «спасибо» за все доброе, да не получается. Прощай.

И ушла. Я понимал, что уговаривать ее бесполезно. Такие вот тихие, они страшнее самых бешеных, они — как кремень. Если уж решились, их уговаривать бесполезно.

Но самое большое впечатление на меня произвели ее слова о том, что она уговорит мать, и та «никуда не пойдет». А если не уговорит? А если та пойдет? При одной мысли, что меня вызывает ректор, я вхожу в кабинет, а там сидит Люси́на мать, мне делается дурно. Ведь все тогда! Вся карьера! Что делать? Как сбежать от этого?

Сбежать? Я знаю, как сбежать... И снова неясные мысли мелькают у меня в голове. Столько неприятностей — вот взять и разделаться с ними одним ударом. Но я все же решиться не могу. Ну как я расстанусь с моим городом, со всеми этими людьми, пусть не близкими, но среди которых я родился, жил, своими людьми?

Навсегда.

Никогда больше не пройти по Метростроевской, не поваляться на сочинском пляже, не посидеть в «Национале»...

Да, это ужасно. Но еще ужасней, если отчислят из аспирантуры, если не будет больше зарубежных поездок, если отвернется мир киношников, веселых приятелей, шикарных подруг.

А так и произойдет, коли разразится скандал. И буду я, как плебей, сидеть в бюро переводов какого-нибудь НИИ восемь часов в день и переводить спецификацию на импортные унита́зы. Кому я такой нужен? Даже мистеру Холмеру я не смогу быть полезен. А он ведь обещал мне вполне приличное место у себя. Уж там-то я сумею кое-чего добиться! С моей головой и моей хваткой и моим знанием языка... Безработным не останусь. Да еще с такой поддержкой. Я ведь много чего умею. Просто у нас все эти умения не в почете, на них далеко не уедешь. А вот там...

И все же я колеблюсь, мучаюсь, мечусь.

Но наконец произошло событие, которое заставило меня окончательно решиться.

Почему разные неприятные сюрпризы судьба преподносит тебе в самые неподходящие моменты? (Как будто для неприятностей есть и подходящие моменты.)

Десять вечера. Двадцать два ноль-ноль. Как сказал бы мой друг Андрей Жуков (где-то он теперь бережет мой покой, на какой далекой заставе? Как он сейчас мне нужен!).

Я сижу на диване, тихо льется музыка, поет Иглесиас. У меня в руках бокал шампанского (последнее время я явно пристрастился к нему), а напротив в кресле — очередная бабочка-однодневка, уже не помню, где словленная и припшпиленная в моей коллекции. Она столь же красива, сколь и глупа. Но это неважно. Я привел ее к себе не для того, чтобы обсуждать мою будущую диссертацию.

Шампанское, музыка, предстоящая ночь наслаждений... Есть все-таки счастливые минуты в моей нынешней жизни.

Вот в этот момент и раздается телефонный звонок. Трубку беру не сразу и с досадой (эх, надо было выключить!). Какому кретину пришла в голову мысль беспокоить меня в столь сладостный момент? (Да любому — приятелей этих у меня навалом, и все звонят, и всё вечером.)

— Да, — говорю я нарочно ворчливым голосом.

И вдруг слышу:

— Это Самсонов, мне — Ямпольского.

Я молчу, у меня отнялся язык.

— Это Самсонов, мне — Ямпольского, — настойчиво повторяет голос, в котором я улавливаю еле заметный акцент.

— Это я Самсонов, а вы, наверное, Ямпольский, — хриплю в трубку.

— Двадцать три, одиннадцать, пятнадцатая, — четко проносит голос. И еще раз: — Двадцать три, одиннадцать, пятнадцатая.

Щелчок, соединение прерывается.

Я продолжаю стоять с глупым видом, с трубкой в руке.

— Что случилось? — с тревогой спрашивает меня моя ночная подруга. — У тебя такой вид...

— Собирайся быстро, — кричу я, лихорадочно бегая по комнате в поисках пиджака, галстука, ключей, бумажника, — скорей, скорей же.

Ничего не понимая, но заражаясь моим настроением, она быстро набрасывает жакет, хватает сумку, бежит к двери. Мы выбегаем на улицу. Я отчаянно машу руками, останавливаю какого-то левака и с криком: «Десятка, до Казанского» — вскакиваю в машину и хлопаю дверцей. Левак дает газ, а моя остолбеневшая подруга застывает на тротуаре, провожая меня недоуменным взглядом.

Меня лихорадит, я ничего не соображаю. Приезжаем, я вылетаю из машины, бросив водителю десятку. Он кричит мне вслед: «Ничего, успеете». (Думает, наверное, что опаздываю на поезд.)

Я прихожу в себя, стараюсь успокоиться — действительно, успею. Нечего пороть горячку. Лучше проявить осторожность. Заставляю себя спокойно пройти по вокзалу, затем не спеша спускаюсь в подвал к камерам. Осматриваюсь — милиционера поблизости нет. Подбираюсь к пятнадцатой ячейке, набираю шифр, дергаю. Не открывается! Дергаю сильнее — тот же результат. Чуть не реву от отчаяния. Вглядываюсь — не та ячейка. Вытираю холодный пот, разыскиваю правильную. Она рядом, снова набираю шифр, открываю дверцу, вынимаю конверт, сую за пазуху. Захлопываю дверцу. Оглядываюсь... и едва не падаю в обморок: ко мне петоропливо направляются два плечистых парня. Они

смотрят на меня с угрожающим видом, один опускает правую руку в карман. Сердце мое останавливается. Я приваливаюсь к стенке, закрываю глаза. Вот он, конец!

Слышу шепот, щелканье дверцы, какую-то возню. Открываю глаза: парни вытаскивают из ячейки напротив какие-то сумки, корзинки, тихим голосом попрекая друг друга. Пронесло!

Наверное, именно в этот момент я твердо решил бежать. С таким страхом жить невозможно, нет!

Выхожу из вокзала, сажусь в такси, всю дорогу посматриваю в заднее стекло, вылезая не у дома, а в соседнем переулке, крадусь проходным двором, застываю в темных арках, все время оглядываюсь.

Дома в изнеможении валюсь в кресло, рву конверт, читаю: «Приложенный текст размножить на машинке, забросить в уборные в театрах, концертных залах, стадионах». А текст! Господи, что за текст? На кого он рассчитан? Мистер Холмер и его гуманистическая организация — динозавры! Но за такой текст, если его найдут у меня, можно схлопотать десять лет.

И тут я совершаю первый разумный поступок за сегодняшний вечер. Аккуратно складываю письмо, конверт и «текст» на противень, сжигаю, перемешиваю пепел и спускаю в уборной (самое подходящее для них место, тем более велено в уборные и отправлять).

Эту ночь почти не сплю. Что делать? Что делать? Не такой уж я дурак, чтоб не понять — это лишь начало, дальше последуют другие задания потрудней и поопасней. Гуманистическая организация, как же! Но я уже замаран, и как еще! Надо сматывать удочки. Надо любым способом попасть за рубеж, попросить политического убежища, добраться в США, связаться с этим Холмером (Как? Не беда, телефоны и адреса Джен и Сэма у меня есть). Сказать, что меня засекли, и вот удалось вырваться, гоните обещанное место, деньги, гражданство и т. д. и т. п. Они своего поддержат. Все-таки кое-что я для них сделал и еще могу, например, проконсультировать по части молодежи, интеллигенции, киношников, кто есть кто, кто пьяница, кто тряпки любит, у кого порновидео, их можно подцепить на крючок, шантажировать, завербовать. Ну как меня в свое время. Чем они лучше? Вот пусть тоже попотеют. Да.

Господи, господи, помоги! Была б икона, я бы на колени бухнулся.

И господь услышал мои молитвы!

Назавтра меня вызывают и сообщают, что через месяц мы с Известным режиссером летим в Голливуд подписывать режиссерский сценарий.

Ура! Только бы продержаться.

Что сказать об этих тридцати днях? Не дай бог пережить такое. Ночью просыпался, прислушивался к шагам на лестнице, на улицах все время оглядывался, от прохожих ша-рахался. К телефону боялся подходить.

Ничего не может быть мучительней страха...

А впрочем, может, тоска.

Я ходил по родным мне с детства улицам и переулкам, заходил в аудитории института, на стадион... Все это я вижу в последний раз. У меня перехватывало дыхание, я вздыхал так громко, что люди оборачивались. Боролся с этим, старался думать о том, что меня ждет. Садился по вечерам у своего видеомагнитофона и крутил что попало, лишь бы с пальмами, бассейнами, «кадиллаками», светскими приемами, дорогими отелями, фешенебельными резиденциями. Вот, твердил я себе, вот, что меня ждет. Там я буду жить, не жизнь — райское житье. Лишь бы успеть, лишь бы скорей уехать...

Все испортило письмо Жукова. Уж не помню, когда оно пришло. Как всегда в последнее время, я лишь пробежал его и куда-то засунул. А теперь нашел — помятый воинский конверт.

«Знаешь, Борька, — писал мой далекий друг, — я даже представить не мог, сколько на свете всякой красоты. Когда мы с тобой изучали географию и Михал Михалыч («Глобус» мы его звали), помнишь, рассказывал нам о тундре, саванне, тайге, джунглях, мы-то с тобой в окно смотрели. Помнишь, росла там у нас на асфальте такая одинокая береза. Небогатая. Глобус любил свой предмет. Уж как все рассказывал. Ничего мы с тобой тогда не слушали. Себя только. А теперь, когда повидал я эти леса, поля без конца, на заре, в сумерках, под снегом, в тумане, под солнцем, эх, Борис, бледно, скажу тебе, повествовал нам Глобус. На деле в тысячу раз все красивей...»

Да, помнил я Михал Михалыча, Глобуса. Его рассказы, которые действительно не очень слушал. А потом я ведь все мечтал о пальмах, золотых пляжах и вековых га-зонах...

«Я понимаю, — писал Андрей, — ты в своих поездках такого навиделся, что небось посмеиваешься, есть у тебя такая дурацкая манера, над моим письмом. Но, учти, все самое красивое, что есть в других странах, есть у нас! Все! Такая вот страна, брат, что пальмы, и горы, и джунгли, и моря, и реки, и пустыни! Да разве тебе объяснишь? Помню, как ты мне прошлый раз этот твой альбом американский показывал с цветными фото. Не спорю, фотография у них будь здоров. А виды... Посмотрел бы ты на виды, что с моей

вышки открываются! Да ладно, все равно не поймешь. А я тебя. Но захочешь, приезжай, если выкроишь недельку. Я тебя тут устрою. Поверь, всю жизнь потом эти края вспоминать будешь. Приезжай, Борька, советую, вырвись... Не приедешь — пожалеешь...»

Надо же! Найти это письмо в те дни. «Пожалеешь». Слово предупреждение, словно красный свет светофора. О чем предупреждал? Чтоб не плевал в колодец, чтоб знал, что бросаешь. Впрочем, он-то не знает. Это я знаю. Просто напомнил. Конечно, по родным пенатам, по матушке-Расеюшке, я особенно не колесил. Кроме Юрмалы да Сочи, Крыма да Петербурга, ничего толком не видел, но все же представить себе могу, не тот уже лопух, что на уроках Глобуса больше о том думал, как Верку из параллельного потискать, чем о том, какая фауна в Приамурье.

И вот все брошу... Прочел я тогда это письмо и, честное слово, чуть не заплакал. Болван здоровый. Тогда думал. Но в полной мере, какой я необъятный болван, я, к сожалению, понял куда позже. До чего же мы все-таки крепки задним умом.

Письмо Андрея моего настроения, как вы, может быть, догадались, не улучшило. Правильно пишет-то. Эх, махнуть бы к нему подышать тем воздухом. Чистый небось, не то, что этот, которым дышу. В переносном смысле.

Черта с два! Какой там воздух, какие родные просторы! Бежать, скорее бежать! Успеть бы...

Кошмарное это было время. Кошмарнее не придумаешь. (Так я тогда думал, наивный, паивный болван.)

Наступил день отъезда.

Я ничего не взял с собой, что могло бы выдать мои планы, договорился о разных делах и свиданиях сразу после приезда, всем сказал, что уезжаю ненадолго... Словом, хитрил вовсю.

Когда проходили таможенку и паспортный контроль, я так боялся, что хоть рубашку выжимай — весь обливался холодным потом. Никогда я не забуду взгляд того пограничника — внимательный взгляд, рептенковский, словно он меня насквозь видит, как Андрей Жуков тогда. Долго смотрел. Потом поставил штамп и вернул паспорт. «Просмотрел ты меня, братец», — подумал злорадно. А потом сказал себе: «Да нет, не ты, меня многие просмотрели, ох многие». Ну да ладно, мы в самолете. Я жил это время в таком напряжении, что проспал всю дорогу, не хуже моего шефа.

Наконец выходим в Лос-Анджелесском аэропорту, который, кажется мне, мы покинули вчера. Та же машина, тот же представитель студии, тот же отель.

Только я — другой.

Глава IX

КРАЙ ОЗЕР И ТРЕВОГ

Как много у нас в стране красивых мест! И все, почти все увидит офицер-пограничник за свою службу. С кем ни поговоришь, кто служит хоть пяток лет, а уж столько повидал! Если же с каким-нибудь полковником — у кого за спиной десятка два-три пограничных годков, тут уж заслушаешься, ни один геолог с ним не сравнится.

У каждого, конечно, свои привязанности, кому милей снега, кому морские берега или тропики. А я москвич, люблю леса, поля, перелески. Карелия, озерный край, прямо покорила меня. Я и раньше любил ту песню: «...будет долго Карелия снится, будут сниться с этих пор — остроконечных елей ресницы, над голубыми глазами озер...»

— Говорят, она умерла, — печально бормочет Зойка, она имеет в виду Клемент, певицу, которая пела эту песню. Молодая красивая Клемент умерла от саркомы. С тех пор песню никто не поет.

Мы летим с Зойкой на вертолете. В Ленинград прибыли поездом, сразу на аэродром, самолетом еще кусок пути, и вот теперь попутным вертолетом, удача.

Почти всю дорогу молчим, не можем оторваться от окна, такая внизу красотища! Меня охватывает какое-то грустно-волнующее настроение. И мысли лирические. Возвышенные. Красиво мыслю.

Куда хватает глаз — протянулись леса и леса. Ели, сосны, береза, ольха.

И озера.

Озера голубые, словно купается в них опрокинутое над тобой пронзительно-голубое небо. Озера коричневые из-за руды, похожие с высоты на шоколадное желе, посыпанное по краям миндальной пудрой кувшиночных листьев. Озера свинцовые, и застыли на них неподвижно, будто скопища серых цапель, сухие камыши. Озера, смахивающие на чернильное пятно, на серебряное блюдо, на синюю эмаль. Огромные, крохотные, круглые, вытянутые, извилистые, как реки, прямоугольные, как спортивные площадки. А на озерах всех размеров и форм — острова. Вот этот подобен зубной щетке: ручка-коса и щетинка из остроконечных елок. Тот, другой, словно гребная восьмерка — тонкий вытянутый, и на нем строго в затылок восемь одинаковых деревьев. Порой на озере остров, на нем озерцо, а на нем еще островок, эдакая матрешка. Или вот совсем крохотный остров, собственно, просто дерево, да и то корни в воде...

А меж лесами залегли желто-зеленые проплешины болот,

похожие на маскировочные комбинезоны, разложенные для просушки. Или луга, поляны, лиловые ковры иван-чая.

В лесах выются широкие желтые дороги — то прямые, как стрела, то хитро и бесконечно петляющие. Их окаймляют светлые пятна лесоповалов, усеянные уже очищенными, но неубранными еще стволами. Из окна вертолета они напоминают беспорядочно разбросанные спички.

Изредка на дорогах, похожий на пучеглазого муравья, тянущего во много раз длинней себя травинку, движется лесовоз.

Все ближе Заполярье. Вот уже тут и там возникают лесистые сопки, совсем близко вырастающие под вертолетом. Белеют сквозь леса белые поляны ягеля, мшистые камни, большие валуны. Меньше озер, зато то тут, то там сверкнет быстрая юркая речка.

Я посмотрел потом в энциклопедии — Мурманская область. Миллион населения, сто тысяч озер. По десять человек на каждое озеро! И сто четырнадцать видов рыб. По виду на почти девять тысяч человек. Это по видам. А если по количеству, наоборот. Такого изобилия рыбы не часто встретишь.

Да разве только рыбы! Потом, когда на машине колеса я по бесконечным километрам тех самых, ровных с высоты и не таких уж ровных под колесами, дорог, какой только жизни не видел окрест! Вон пестрые куропатки, неторопливо прогуливающиеся, что подружки по бульвару. Вон лось, настороженно поглядывающий на нас своим влажным нежным глазом, весельчак заяц, мчащийся куда-то сломя голову. Быстрые, скорые ласки...

Бывают и медведи, доставляющие немало хлопот пограничникам своим нежеланием считаться с пограничным заграждением.

А сколько здесь грибов, черники, брусники, морошки...

До чего богатая, до чего ж красивая земля!

О многом размышляешь здесь у окна вертолета, пролетающего вот так над лесами, лугами, реками и озерами этой моей земли.

С чего начинается Родина? — думаю. Все же, наверное, не с букваря и буденовки. Она начинается с самой себя — с огромного необозримого пространства советской земли, на которой и я и мои предки родились, выросли, которая, как сказано в песне, всегда в тебе и в которую ты когда-нибудь уйдешь, оставив ее потомкам.

Охватить взглядом эти пространства, не говоря уже о поезде, и с самолета невозможно. Современные лайнеры летают на такой высоте, что земля скрыта облаками или почти не видна.

А вот когда смотришь из низко летящего вертолета, да

еще когда три-четыре часа в пути, ощущение совсем иное. Эти бескрайние просторы, эти бесконечные леса, эти светлые дороги и голубые озера, все это необозримое пространство, без единого селения на многие десятки километров вызывает у меня стихийную гордость от того, что все это мое — моя земля, мой край, моя родина, ощущение величайшего могущества.

Наверное, если б это было возможно, следовало с ранних лет сажать наших ребят в вертолеты или самолеты-тихоходы, чтобы вот так прокатить. Чтобы навсегда запомнили свою Отчизну такой вот беспредельной, прекрасной, зримо величественной. Запомнили и навсегда от сердца, от души, еще не от разума гордились ею.

Это позже, когда познают они ее историю, ее людей — своих сограждан, многое познают, они будут гордиться иными достоинствами своей Родины. А вот сначала — пусть ее необъятностью.

...Наконец воздушный отрезок нашего пути заканчивается.

В окружении лесов и озер, сверкая на солнце белизной домов и зеленью палисадников, раскинулся городок, где помещается штаб части.

Медленно, все реже и реже рубя свет за окном на тенивые промежутки, затухает вращение вертолетных лопастей, открывается дверь. До чего здесь свежий, настоящий на аромате близких лесов и лугов воздух! По лесенке спускаемся на землю, еще ошавевшие от долгого перелета.

Нас ожидает «уазик», мягко урча мотором. Дальнейший путь на заставу пролегает по тем самым дорогам, что так гладки и ровны с высоты.

Еще там, в Москве, я изучил историю округа. Я всегда так делал перед очередным назначением. А как же — спросит солдат, а я ни бе ни ме.

Так что вот вам краткая справочка, сухая, конечно, зато многозначительная: Краснознаменный Северо-Западный пограничный округ, охватывающий тысячи километров сухопутных и морских границ, раскинулся, как говорит само его название, вдоль северных и части западных границ Советского Союза.

История округа — славная история. Она показана в музее в Ленинграде, где я успел побывать.

Недаром округ награжден орденом Красного Знамени, педаром семь из входящих в его состав частей орденосные, а восемь застав именные — им присвоены имена пограничников, в том числе прославленного Коробицына, про которого сложена знаменитая песня.

Во время Великой Отечественной войны пограничники стойко встретили врага, отошли лишь по приказу и героич-

чески воевали в составе Карельского фронта. Возникшее в начале войны Кандалакшское направление так до самого начала контрнаступления и продержалось. Гитлеровцы никак не смогли овладеть этим северным городком.

Застава, на которую лежит мой путь, носит имя знаменитого пограничника, Героя Советского Союза.

Этого звания он удостоился в те ледяные дни января 1940 года, когда на границе было тревожно. Провокации белофиннов следовали за провокациями, не прекращались стычки со шпионами и диверсантами.

В ночь с 24 на 25 января рядовой связист находился в боевом охранении в составе небольшой группы пограничников. Их окружил отряд белофиннов. Силы были явно неравные. Пограничники отстреливались до последнего. Связист находился в избушке и передавал по телефону ход боя командиру и не прекращал при этом вести огонь. Он остался последним живым в своей группе. Избушка полыхала, кончились патроны, гранаты. Осталась одна. Тогда пограничник спокойно передал в трубку свое последнее донесение и добавил: «Привет родине. Прощайте!» Потом снял с чеки эту единственную оставшуюся гранату, выпрыгнул из окна в толпу подбегавших врагов и взорвал их вместе с собой.

Застава, которая носит теперь его имя, возникла почти рядом с местом его гибели в апреле того же года. Недолго длилась спокойная жизнь. Началась Отечественная война. Застава вступила в бой 22 июня 1941 года и отбивала все атаки до 3 июля, когда получила приказ отойти. Много подвигов совершили бойцы заставы — ходили в тыл врага, осуществляли разведывательные операции.

Около четырехсот пограничников части было награждено орденами и медалями, в том числе двадцать четыре человека орденом Ленина.

Война ушла с нашей земли, покатила на запад. И 10 октября 1944 года застава приняла под охрану свой прежний участок границы.

Когда проводится боевой расчет и звучит приказ: «На службу заступает Герой Советского Союза...» правофланговый громко отвечает: «Герой Советского Союза... погиб смертью храбрых при защите государственной границы СССР!» Это тоже традиция. В казарме первой справа стоит на возвышении особо тщательно заправленная койка, на которой уже никто никогда не будет спать. В ногах лежит фуражка пограничника, на стене плита и подпись, гласящая, чья это койка. Это тоже традиция.

Завидую доброй завистью. Ведь не умер солдат, живет, живет до сих пор.

...Прилетевший со мной начальник отряда представляет меня и тут же улетает.

Его ждут срочные дела.

А я начинаю знакомиться с заставой и окрестностями. Снова и снова восхищаюсь, как же здесь красиво! Какие леса — ели, березы, сосны. И поляны — лиловые ковры иван-чая, ягель — мох платинового цвета, что облепляет валуны в лесу. Гудят жуки, ветерок шелестит в ветвях... Здесь бывают и медведи и лоси. Вот лоси эти доставляют много хлопот, они, особенно если самка по другую сторону, бросаются на систему, ломают ее, ранят себя, вызывают сигнал тревоги. Если б не пограничная зона, тут небось охотников побольше, чем комаров собиралось. А так зверью раздолье. К сожалению, и комарью тоже. В их сезон просто не знаешь куда деться.

Был случай, когда задержали нарушителя, связали. Так его не столько будущее наказание пугало, сколько встреча с комарами. Но наши пограничники ведь гуманные — смазали ему лицо и руки антикомарином.

Меж деревьями извиваются ручьи, узкие речонки, а есть пошире — на моем участке речка как раз и разделяет государства, в одном месте граница по ее середине проходит. Но сколько же в реке этой рыбы! Помните? Сто четырнадцать сортов (простите, видов)! Только что руками не бери.

Люблю я такую природу, хоть весь день по лесу броди, собирай чернику.

Это все вокруг.

А вот сама застава. Как всегда новая и совсем привычная.

Я почему-то чаще всего вспоминаю именно эту, хотя все они похожи как родные сестры.

Вот большой, сразу как минуешь ворота, зеленый фонарный щит, и на нем красными буквами: «На всех этапах становления и развития Советского государства пограничные войска, созданные по ленинскому декрету, воспитанные Коммунистической партией, надежно стояли и стоят на охране священных рубежей нашей социалистической Родины. Ю. В. Андропов».

Застава, как всегда, ограждена забором. В центре, как всегда, белый приземистый дом. Как войдешь — справа дежурный со всей своей аппаратурой, дальше — казарма, ровные ряды коек, заправленные под линейку синие одеяла. Окна зашторены — ведь всегда кто-нибудь да спит, рядом с казармой «кинозал» — здесь демонстрируют фильмы, которые аккуратно доставляет на своем зеленом грузовичке веселый и болтливый «военный киношник» Костя. Слева от входа — канцелярия, здесь мой штаб. Напротив — ленин-

ская комната. В конце — столовая, кухня, бытовая комната, туалетная, сушилка... Сопровождаемый моей многочисленной свитой — зам, замполит, старшина — я направляюсь в ленинскую комнату. Она опытному командиру (каковым я теперь себя считаю) расскажет о заставе больше, чем десять папок документов.

Вот награды — почетные грамоты, спортивные кубки, сувениры и адреса шефов — алюминиевого завода. Вот стенд — «Наследники боевой славы», фотографии лучших. Сержант Николай Заведенко, командир отделения, член комитета комсомола, отличник боевой и политической подготовки, ефрейтор Валерий Рудаков, лучший водитель заставы, тоже кругом отличник, ефрейтор Сергей Николаев, кандидат в члены КПСС, заместитель секретаря комитета комсомола, связист. И он отличник. Какие они? Это мне предстоит еще узнать, как узнать и остальных солдат заставы. А что значит узнать? Возраст? Семейное положение? Образование? Какие имеет разряды по спорту? Это все я могу узнать, не выходя из канцелярии. Любит ли жену или девушку? Как несет службу? Веселый или мрачный, играет ли на гитаре, шутник, простофиля, склочник, умница, зануда, как преодолевает полосу препятствий, курит ли? Как насчет того, пивца, а то и хуже? Это все мне расскажут мои помощники — замполит и заместитель (если они, конечно, хорошие помощники). И все же главное — надо выяснять самому, самому надо, как говорил наш замполит в училище, «постигать солдата». Вот это офицерская наука — четко знать, что у каждого твоего подчиненного на уме, на сердце, в душе. И наука эта куда сложнее, чем устав, тактика, строевая или спецподготовка...

На стендах фотографии, плакаты, на столах брошюры, подшивки газет. Отдельный стенд посвящен жизни, такой короткой жизни и подвигу Героя Советского Союза, чье имя носит застава. Он родился в 1918 году, погиб в 1940-м, но жить-то продолжает. Сейчас ему было бы под семьдесят. Какая же это прекрасная жизнь!

В ленинской комнате роскошный цветной телевизор, подарок шефов, умельцы-связисты соорудили какую-то сложную антенну и через спутник ловят любые программы. Молодцы!

Застава имеет прочное хозяйство: баню, прачечные, даже коров, свиней, огород. Очень хорошая спортплощадка с полюсой, шестами, канатами, с помостом, на котором укрытые брезентом штанги, гири. В глубине участка традиционный домик на четыре квартирки для меня, замов, старшины. У меня такое впечатление, что, перенеси меня во сне с предыдущей, да вообще любой заставы на эту или любую дру-

гую квартиру, я бы ничего не заметил, так эти квартиры похожи.

У входа меня встречает щекастый пограничник лет трех от роду. Он одет в маскировочный костюмчик и такую же каскетку, в руках деревянный автомат, требовательный взгляд устремлен на меня. Это Боб, сын старшины... «Куда идешь?» — строго спрашивает Боб, автомат в его руках не дрожит.

— Домой, — отвечаю.

Боб озадачен, такого ответа он не ожидал, но тут же следует другой вопрос:

— Ко мне домой?

— Нет, к себе, — говорю.

Боб совсем теряется. У него пропадает ко мне интерес, и он не очень уверенно ковыляет на спортплощадку, примывается к гире, которая доходит ему едва ли не до плеча.

А я вхожу в дом, туда моя деликатная свита меня не сопровождает, оставив на пороге.

В доме царит оживление. Зойка, разумеется, уже со всеми познакомилась, чтоб не сказать подружилась. Со всеми? Их не так уж много. Моя, жена старшины, на этот раз отнюдь не киношного, а молодого, щуплого, веселого. Люся похожа на мужа, как на брата — тоже молодая, веселая, худенькая (неизвестно, в кого толстячок Боб). Вторая «офицерская дама» — Катя, симпатичная серьезная молодая женщина. Ее муж приходится мне замполитом.

Замполит лейтенант Хлебников Александр Сергеевич — такое вот поэтическое сочетание. У него совсем детское лицо, розовощекий, часто смеется, и тогда на щеках возникают ямки. Прямо как соседские ребята в бытность мою на Арбате — херувимчик. Он тоже москвич, даже сосед — живет на улице Воровского. Жил. Теперь вот на заставе. К нему надо будет присмотреться — уж больно у него юный вид. Пользуется ли он авторитетом? И сам-то достаточно серьезен? Почему оказался пограничником? (Впрочем, выясняется, что, как и я, пошел по стопам предков). И почему так рано женился (жена старше его на два года — тоже подозрительно, к чему бы?)? Вопросов много. И как ни важно изучить своих солдат, изучить офицеров, ближайших помощников, — важнее.

Например, зам мой, лейтенант Георгий Георгиевич Семёнов (тоже потомственный пограничник), здоровенный парень с румяным круглым лицом, для меня стал ясен в первую же минуту. Он фанатик военной службы: его библия — устав, его мечта — маршальский титул, солдат с незастегнутой пуговицей подлежит военному трибуналу. Пока мы обходили заставу, он каждому встречному сделал несколько замечаний, а старшине надавал столько указаний, что даже у меня

голова заболела. Три месяца до моего приезда он исполнял обязанности начальника заставы и, как простодушно рассказывала жена старшины Люся моей Зойке, до того засел у всех в печенках, что «аж глазам больно». Солдаты, когда увидели меня, просто сияли от счастья. Не потому, что я такой хороший (меня они еще не знают), а потому, что начальник теперь станет не Семенов. Наверняка у него есть и достоинства, но пока они мне не ведомы. И еще вопрос — интересно, как они ладили с замполитом?

Первая встреча проходила по традиции за коллективным столом. Три наши женщины постарались — стол ломился от местных яств — рыбы, солений, компотов, березового сока, каких-то конченостей. Люся и Катя, авторы этих роскошных произведений, как и положено настоящим хозяйкам, все время оправдывались — то не получилось, что-то не досолено, что-то не дожарено, и с удовольствием выслушивали наши опровержения. Обедаем вшестером. Единственный холостяк, Семенов, попросил разрешения нас покинуть, многозначительно прошептав мне:

— Надо кому-то на заставе подежурить.

Этим он сразу дал мне понять, что, во-первых, удивлен моим легкомысленным поведением — сел обедать вместо того, чтобы включиться в работу, во-вторых, я могу обедать спокойно — есть он и он всегда на посту.

После обеда возвращаюсь в канцелярию и застаю там лейтенанта Семенова, он читает нотацию сержанту, уже по выражению лица сержанта я вижу, до какой степени ему надоел мой зам со своими правоучениями. Увидев меня, Семенов вскакивает, но никак не может закончить свою речь:

— ...так вот, товарищ сержант, надо не три, а пять раз проверить, как же так, идет в парад в грязных сапогах. Понимаю, дождь, все равно, испачкается, придет, почистит. Все правильно, но идти-то надо в чистых сапогах. А кто проверит? Вы, товарищ сержант! Потому что кто отвечает за внешний вид солдата? Его непосредственный командир. В данном случае вы, товарищ сержант! Ясно? Потому надо проверять и проверять...

Семенов косит на меня глазами, замечает мое нетерпение и наконец произносит:

— Идите, товарищ сержант, и еще раз все проверьте и два, и три раза...

Сержант спешит покинуть канцелярию, а Семенов виновато говорит:

— Ни минуты покоя с ними, товарищ старший лейтенант, ну что вот сделаешь? Третий раз долблю сержанту — проверьте внешний вид, обратите внимание на сапоги! А он — «так ведь дождь, все равно грязь». Ну что с ним сделаешь? Я говорю ему — проверяйте...

Меня охватывает паника: неужели он будет мне повторять все, что говорил сержанту?

— Ладно, лейтенант, — прерываю, — идите обедать. Вы небось проголодались, сколько мы с вами находились.

— Я, товарищ старший лейтенант, каждый день в пять раз больше хожу — служба. Но порубать не мешает.

— Вот, вот, — подбадриваю его, — а я тут пока разберусь.

— Моя помощь не нужна?

— Нет, нет, в случае чего вот старшина покажет (тот только что зашел).

— Разрешите идти?

— Да, да, — я уже изнемогаю, — и приятного аппетита.

Не удивлюсь, если на мое пожелание он ответит: «Служу Советскому Союзу!» Но он лишь прикладывает руку к козырьку и, четко повернувшись, выходит из комнаты.

Я смотрю на старшину, он на меня, мы оба улыбаемся.

— Как вам с ним работается? — задаю вопрос, который задавать вообще-то не полагалось бы.

— Тяжело, — однозначно отвечает старшина.

Я знакомлюсь с аппаратурой, с «расчетом сил и средств» — виды действий, обеспечение, вооружение, бросаю взгляд на доску, где на гвоздиках висят бирки с номерами, мой номер — 1. Оглядываю световые табло, на которых в случае тревоги загорится номер участка, где совершено нарушение.

Оставив старшину, снова иду осматривать заставу. Заглянул на склад, в гараж, в мастерские, в вольер.

Выясняю, что большинство собак доставлено из Калинина, из клуба служебного собаководства ДОСААФ. Собаку покупают за полторы сотни еще молодую — года нет. Затем ее обучают в отряде, где к ней прикрепляют какого-нибудь молодого, здорового парня, через несколько месяцев они прибывают на заставу. Вообще это интереснейшая штука — работа с собаками. Одно время я этим увлекся, все вспоминал нашего Акбара. Решил даже завести своего, да все недосуг было.

Отбирают этих собачек так — суют тряпку, в которую она вцепляется, и смотрят: отпустит, если неожиданно выстрелит у нее за спиной, или нет? А то ставят пять человек, дают ей платок одного из них, и она должна угадать, чей. Это отбор. Потом, после школы, те собаки чудеса творят. Розыскная собака берет след через восемь часов, сторожевая — через два. Все эти Багиры, Дары, Биры, Эфисы, которые весят по семьдесят-восемьдесят килограммов, мчатся с такой скоростью, что, пока она пробежит сто метров, «нарушитель», дай бог, чтоб успел сделать два выстрела. Так ведь еще надо попасть. У нее своя полоса препятствий —

заборы, ямы, рвы, лестницы. Она несется за «нарушителем», прыгает и вцепляется под правую руку, в которой пистолет, или сшибает с ног, вскакивает на спину, треплет загривок, так сказать, находит выход напряжению, а потом садится рядом. Сидит как изваяние и при малейшем движении «нарушителя» впирается в него. Эти «нарушители» обычно ребята из поселка — подрабатывают. Их одевают в толстые ватники, и они изображают диверсантов. Однажды Багира вот так уложила одного, сидит рядом, не шелохнется, инструктор где-то замешкался, отошел, так «нарушитель» три часа пролежал, даже заснул. Багира бдительно стояла на страже.

Когда долго идут по следу, собака устанет, ей к носу подносят «шершень» — такой насосик, в который забран запах, чтоб этот запах обновить для нее. На спине крепят «голиаф», приборчик, который издает звуковой сигнал, кроме того, в него вмонтирована красная лампочка. Это на случай, если собака оторвется от своего вожатого. Приказ собакам отдается едва ли не шепотом, и никогда повторять не приходится. Подчиняются слепо: если инструктор тихо сказал: «сидеть!», то кругом могут бегать хоть сотни «нарушителей», она не шелохнется. Вообще можно без конца рассказывать про пограничных собак. Ходят целые легенды, есть рекордсмены по долголетию, по числу задержанных нарушителей, по уму и хитрости, находчивости и бдительности. По самоотверженности и преданности тоже. Сколько было случаев, когда собака жертвовала жизнью, спасая своего вожатого! Словом, собаки — моя слабость, и я заметил, что они меня тоже любят. Конечно, слушаются они только своего вожатого, но, когда я к ним подхожу к вольеру, они мне симпатизируют. Seriously, я это чувствую.

Ладно, хватит о собаках.

О людях. У офицеров, точнее, у начальника заставы, есть одна особая обязанность — он составляет наряды, дозоры... Это целая наука, превращаешь в шахматиста, сидишь и соображаешь: ведь надо учесть множество факторов, подбирая эту пару людей: их физическую подготовку, психологическую совместимость, характеры, сильные и слабые стороны, боевую подготовку, качества одного, дополняющие качества другого или, чаще бывает, компенсирующие его недостатки, их взаимоотношения, даже время суток, когда у одного человека проявляются одни достоинства, у другого — другие. Этого клонит в сон после еды, а того наоборот, один хорошо видит в темноте, другой плохо, лучше двух молчунов вместе в дозор не посылать, но не намного лучше и двух болтливых (если таковых разыщешь среди пограничников). Словом, рассчитывать силы и средства, целая наука, можно диссертацию по психологии написать. И при этом надо иметь в виду, что пограничники не живут в общепринятом смысле

нормальной жизнью. У них же сутки разбиты на вахты; сон, питание, отдых — все смешивается.

На второй день пребывания на заставе произошел интересный случай. Заходит ко мне Хлебников, мой боевой комиссар, ямочки на щеках обмелели, лоб нахмурен.

— Товарищ старший лейтенант, — говорит, — неприятная история, Десняк...

— Что Десняк? — спрашиваю. — Толком можете доложить?

— Охотником, видите ли, заделался, — в голосе Хлебникова горечь и осуждение.

Я молчу, жду продолжения. Тогда он взрывается фонтаном слов.

— Понимаете, товарищ лейтенант, — оказывается Десняк, а ведь хороший солдат, стрелять стал! Стрелять по животному миру! Он, когда уходил в далекие наряды, охотился там, ну по птичкам стрелял, по мелкому зверю. Из боевого оружия. Патроны на стрельбах экономит, еще где-то взял. А у нас ведь погранзона, охота запрещена, живность ничего не опасается, чего на нее охотиться, она сама в руки идет. Черт знает что!

— Погодите, — говорю, — нечего чертыхаться. Во-первых, куда напарник смотрел?

— Вот! В том-то и дело! Десняк старший, «старичок», авторитет. Так когда с молодыми шел — охотился, а они помалкивали, если старослужащие попадались, он при них свои охотничьи инстинкты подавлял, так сказать. Свинство!

— Надо немедленно разобраться, — говорю. — Во-первых, как смел из боевого оружия, во-вторых, где брал патроны, в-третьих, зачем это делал, куда дичь девал...

— Бросал в лесу, — вставляет лейтенант.

— Наконец, — продолжаю, — почему младшие в наряде молчали? Это, помимо всего, тема комсомольского собрания. Когда проведете? Я приду.

— Собрание уже назначил, — отвечает, — на завтра. Но есть еще один пункт, товарищ старший лейтенант. Едва ли не главный. Ведь он в кого стрелял? В зверушек, которые к нему со всей душой шли, которые не привыкли к охотникам, не боялись. Злоупотребил доверием ефрейтор Десняк! Этого нельзя прощать.

— Чьим доверием? — спрашиваю, честно говоря, немного сбитый с толку.

— Ну, зверушек, — отвечает, — они же к нему без опаски, а он...

— Слушайте, лейтенант, — повышаю голос, — вы о порядке беспокоитесь, о патронах, о дисциплине! Это главное. А вы про зверушек!

— Главное — воспитание человека, — вдруг он мне же-

стоко отвечает, даже осуждающе как-то. — То, что делал Десняк, — безнравственно и подло по отношению к живым. Человек, способный на такое, — плохой солдат, а моя задача, как и ваша, между прочим, воспитывать хороших солдат. Извините, товарищ старший лейтенант. Разрешите идти?

— Идите, — говорю и задумываюсь.

Вот тебе и херувимчик! Как отчитал. И прав ведь. Дисциплина дисциплиной, а нравственность, наверное, все-таки важнее. К дисциплине можно приучить, а вот нравственности научить... Не так-то просто.

На собрании комсомольцы Десняку, конечно, всыпали. Хорошо, что всыпали и «молчунам». Но возник еще один вопрос и как раз из области нравственной. Пока два-три ходивших с Десняком в наряды солдата виновато оправдывались тем, что, дескать, ефрейтор старший, опытный, авторитетный, раз он велел, значит, наверное, так и надо, все шло как полагается, их стыдили, они каились, заверяли, что все поняли, больше не будут.

И вдруг один говорит:

— А как это я про ефрейтора донесу, что я, доносчик, что ли?

Сами говорили, мол, про чувство товарищества, а сами, значит, стучать на товарища! Если б там он воинскую присягу нарушил, тогда другое дело. А так, подумаешь, поохотился маленько, если, значит, мой товарищ сапоги плохо напустил, я бегу к сержанту докладывать? Так, что ли?

Что тут началось! Все разом кричат, навалились на него, он уж сам не рад. Конечно, парень не прав. Но до чего же непросто провести те грани между доносом и сигналом о нарушении, между круговой порукой и товарищеской солидарностью. Вообще непросто, а в армии тем более. Короче, интересный, хоть и бурный, разговор получился.

Однажды Зойка мне говорит — мы пошли с ней гулять, совершить, как она выражается, «моцион» и забрели в лес:

— Ты знаешь, Андрей, я скажу тебе странную вещь, только пойми меня правильно: ты очень изменился.

— А что тут странного, — пожимаю плечами, — все мы меняемся с годами, и ты тоже.

— Нет, я — нет, — мотает головой. — А вот ты, да. Взрослей, что ли, стал, не пойму.

Смеюсь, обнимаю ее.

— Ну, Зойка, ну, родная моя, уже четверть века, пора взрослым стать! Плохо, если это только сейчас заметно.

— Да нет, я не так выразилась. Ты теперь мудрее стал, сдержанней, меньше эмоций, больше трезвого ума...

— Я надеюсь, что хоть кое в чем у меня по-прежнему

больше эмоций, чем трезвого ума, — смеюсь, — если ты сомневался, сегодня вечером я тебе докажу...

— Прекрати свои пошлые остроты, — морщится. — Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Я раньше, когда читала мемуары наших маршалов разных, генералов (она действительно почему-то любит эту литературу), все удивлялась: как это в двадцать лет полками командовали, в тридцать с хвостиком — армиями? Ведь мальчишки в общем-то. А сейчас смотрю на тебя и думаю — не дай бог, что случится, пришлось бы тебе дивизией командовать и, уверена, справился бы. Нет, серьезно.

— Дивизией, не знаю, а батальоном смогу. Это точно. Тойбой вот только не смогу, даже когда маршалом стану.

Обнимаю ее, целую, валю в траву... Лежим, смотрим в небо, слушаем лес, тишина, вечер. Спасибо ей, конечно, за похвалу, но я действительно стал как-то уверенней. Все время надо принимать решения, не буду же я каждые пять минут звонить в отряд: «Товарищ полковник, у рядового Иванова насморк, можно ему носик вытереть, у рядового Петрова пуговица оторвалась — какой ниткой пришить, белой или черной?» Смешно! Я подумал, что в этом смысле пограничный офицер быстрее познает науку жизни. На своей заставе он все-таки оторван от начальства и все время, в том числе и в чрезвычайных обстоятельствах, должен сам, и причем мгновенно, принимать решение. Он не может по каждому конкретному вопросу ходить за советом к начальнику политотдела, за указанием к начальнику отряда. Конечно, мы докладываем, запрашиваем, держим связь, и все-таки начальник заставы по сравнению с офицерами того же уровня в других войсках ощущает большую самостоятельность. А может, мне только так кажется!

Служба идет, забот миллион. Прислали пополнение, в том числе каких-то белоручек. Старшина мне рассказал, чуть от смеха не подавился, как они тут лук сажали корнями вверх! Они его только на тарелках видели. А?

Короче, служат образованные ребята, умные, интеллигентные, но практической, тем более армейской жизни не знают. Приходится многому учить. Я им толкую:

— Товарищи, я ведь тоже не в тайге, не в деревне родился. На Арбате. Почему все умею?

Так мне один нахал говорит:

— Товарищ старший лейтенант, вы же действительно отбарабанили, училище кончили, на заставах офицером служили. Вот всему и научились, а начинали-то вроде нас небось.

Пришлось согласиться.

— Ладно, — говорю, — философ. Вот и учитесь на моем опыте. Приобретайте его ускоренным способом.

Со спортом на заставе не так-то просто, сказывается вахтенная система, нерегулярность сна, отдыха, бояться самбо заниматься, вдруг травма, а на заставе каждый человек, каждая здоровая нога, рука на счету.

Организацией спорта на заставе усиленно занялась Зойка — великий спортивный специалист, незаслуженный тренер республики, сколотила группу. И как вы думаете, чем она с ними занимается? Атлетической гимнастикой! Моя Зойка!.. «Леплю Геркулесов», — говорит. А с Катей и Люсей — ритмической гимнастикой. Вот диапазон! Достала где-то полосатые гетры, кассетофон, и каждый день уходят в лес, «чтобы, — по выражению Зойки, — не смущать эротическим зрелищем молодых воинов». Значит, молодым воинам наших границ смотреть не положено, а Зойке учить «атлетистов» в одних плавках можно? Ребята, надо отдать им должное, крепкие, сложены будь здоров! В пограничники все-таки отбирали.

Каждый вечер уходят солдаты в наряд. Почти каждый вечер я произношу в сотый, в тысячный раз: «Приказываю выйти на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик...» И каждый раз волнуясь. Простая фраза, а что стоит за ней?

Наряд подходит к обелиску — памятнику Герою, имя которого носит застава. На минуту застывает в молчании. Затем выходит за ворота, и маскировочная их одежда сливается с лесом.

Невдалеке от заставы, на месте той избушки, где совершил свой подвиг Герой, стоит еще один, белый, обелиск, вокруг зеленая железная ограда, на белой простой каменной доске его имя и дата жизни: 1918—1940. И все. Вокруг молодые сосенки. Будто караул. Вся полянка покрыта лиловым ковром иван-чая.

Не знаю, почему природа этого края так волнует меня — эти глубокие, иногда прямо черные озера, вросшие в землю валуны, мягкий, пружинистый мох, ели неподвижные, мохнатые, устремленные к небу, как ракеты на старте...

Когда возвращаюсь в дом, Зойка, сосредоточенно нахмурив брови, пишет. Перед ней листок, чье-то письмо. Подходя, она прикрывает письмо рукой.

— Ты чего? — спрашиваю.

— Это не мне.

— А кому? От кого?

— Все-то тебе надо знать, — ворчит недовольно, я ей помешал.

Деликатно ретируюсь. Дело в том, что многие мои солдаты ходят к ней поделиться своими любовными тайнами. Ну тайна не тайна, просто рассказывают о своих невестах. Девушках. А к кому же им ходить с такими делами? Не ко

мне же, черт возьми! Зойка для них выступает здесь в роли матери-постояльницы. Это для меня она девчонка (и вообще), а для них жена начальника заставы. Зойка крайне серьезно и ответственно относится к этой своей роли (однажды я попытался острить на этот счет, ох она мне дала!). Приносят ей письма, спрашивают, что ответить, о чем поведать. Вот и теперь ей принес показать письмо от невесты наш лучший вожатый собака по прозвищу Главпес. И Зойка старательно готовит «проект ответа».

— Ты знаешь, — призналась она мне как-то, — я так за них радуюсь. Как-то мне тепло становится. О нас думаю. Хочется, чтоб у них тоже все хорошо было. Не у всех получается. Я вот читаю письмо. Другое, третье — сами приносят. Он-то еще не понимает, а я уже чувствую, охладела она, нет ничего, что в прежних письмах было. Не могу ему об этом сказать, духу не хватает, да и какое имею право, вдруг ошибаюсь? Но так жалко его становится, прямо сердце щемит. Он-то радуется, планы строит, а она... Словом, скажу тебе честно — мою любовь укрепляют. Нет, правда, ну не надо, Андрей, не надо, говорю...

Она отводит мою руку, а мне так хочется обнять ее сейчас. И еще мне хочется, чтобы это длилось всегда, пусть меняются заставы, гарнизоны, края, звания, должности, только пусть всегда у нас будет так, как сейчас...

Внезапно начинает зловеще выть сирена.

Через три минуты я у дежурного. На световом табло вспыхивает «фланг правый, участок 15». То же передает радио. И минуты не проходит, как тревожная группа — я, решивший возглавить ее, шофер, электрик, вожатый собаки, пограничники, мчимся на 15-й участок. Заслон спешит своим маршрутом, перекрывая путь к границе. Если нарушитель начнет двигаться правее или левее, идущие с собакой по его следу немедленно передадут это по рации заслону, и тот начнет соответственно перемещаться. Прибыв к контрольной полосе, тревожная группа определяет место нарушения и ограждает следы флажками, а сама начинает преследование.

Любо-дорого смотреть, как работают пограничники. Иногда мне кажется — завяжи им глаза, и они будут работать точно так же!

У каждого здесь точно определенная обязанность, строго предусмотренные задачи. И все действуют четко, быстро, почти автоматически, не мешая друг другу и друг друга не дублируя. Между всеми — заставой, тревожной группой, заслоном, наблюдательной вышкой — постоянный контакт по рации. Никто не суетится, не торопится, но в то же время и не теряет ни секунды.

Пушен в ход отлаженный безупречный механизм.

«Нарушитель» применил хитрый способ, он опытен, тренирован, изучил по карте местность, знает каждую тропку. Он только прошел, но успел уже углубиться на нашу территорию сравнительно далеко. Группа начинает преследование, наступает «нарушителя», окружает и захватывает. Вся операция длилась сорок пять минут. Молодцы!

Возвращаемся на заставу: я, тревожная группа и «нарушитель» ефрейтор Дадонов.

Такие тревоги у нас устраиваются сплошь и рядом в самых разных вариантах — один «нарушитель», несколько, вооруженных автоматами или только хитростью, идущих от нас и к нам. Придумываем самые невероятные варианты, самые коварные приемы. Словом, трудно себе представить в жизни ситуацию, которую мы бы уже не «проиграли» во время наших учебных тревог.

Жизнь кипит. Помимо обычной службы — масса других дел. То вызывают в отряд, то из отряда приезжают, то нагрянет корреспондент из газеты, то шефы, дорогие гости с алюминиевого завода, изредка бываем с Зойкой в городке. «Приобщаемся к культурной жизни», хотя жаловаться не приходится — по части телевидения, киноустановки, библиотеки мы обеспечены. С моими замами живем дружной семьей. Только запудренный Семенов иногда переполняет чашу моего терпения своей дотошностью. Службист он, конечно, отличный, но надо же иногда проявлять человеческую теплоту, да просто заинтересованность. Собой я доволен, с солдатами установил контакт, в свободное время беседую с ними, вместе тренируюсь в спортгородке, чувствую, что люблю меня. Но что вообще значит «солдат любит офицера»? Мне кажется, что это когда он видит в нем не просто командира, а старшего товарища, доверяет ему и верит в него. Элементарно? Конечно, а попробуй добейся!

...На этой заставе я прожил довольно долго. Но пришел день, когда, собрав чемоданы, мы с Зойкой снова отправились в путь (знакомый мотив, да?). На этот раз на восток.

Офицеров покидал с грустью, привык. Договорились писать друг другу. Кто знает, может, еще встретимся. Не раз бывало у пограничников: послужат вместе, разъедутся, глядишь, через несколько лет снова встречаются на какой-нибудь заставе или в отряде, в других званиях, в других должностях.

Отпуск, как всегда, пролетает мгновенно, и вот уже в который раз я въезжаю в ворота заставы, начальником которой назначен.

Здесь все то же, все знакомо. Когда мы приезжаем на новую заставу, впечатление такое, словно возвращаемся домой. Я где-то читал, что знаменитый миллионер Онасис не имел постоянного дома, а снимал роскошные апартаменты

в самых дорогих отелях разных стран. И заказывал костюмы, белье, обувь по дюжине. Поэтому, повесив в шкаф пиджаму, например, или поставив почные туфли в своем нью-йоркском номере и улетев в Японию, он, ложась спать, доставал точно такие же из шкафа в номере токийского отеля.

Так и я, с той несущественной разницей, что я не миллионер и речь идет не о Парижах и Нью-Йорках. Но и я, уехав с одной заставы на другую, вхожу в свою новую квартиру, как в старую — то же расположение комнат, та же мебель, те же занавески. Ну почти те же. И те же соседи — зам, замполит. Вот эти все разные. И в то же время те же! Все окончили училище, обычно мое же. Служили на границах, частенько где и я...

Разные со мной служили офицеры. И солдаты. С кем-то из офицеров мы дружили, кем-то я был недоволен. То же с солдатами! И Зойка с кем-то из жен дружила, а с кем-то ссорилась.

Вот с Зойкой мы не ссорились никогда. И в тот вечер, в тот вечер, когда я решил сопровождать наряд в поезде, мы тоже не ссорились. Поужинали. Она, как всегда, проводила меня за порог, как всегда, поцеловала. Нет, поцеловала горячее, чем обычно (или это мне так сейчас кажется?).

Я частенько на заставах сопровождал свои наряды. Ни во что не вмешивался (понимал, что и так люди в напряжении — все же сам начальник заставы с ними), просто смотрел, как несут службу.

А уж разбирал, хвалил или делал замечания позже.

В этих местах железная дорога совсем близко расположена от границы, и наряды нашей заставы несут службу в поездах. В тот вечер в наряде были сержант Дударев и рядовой Шестаков. Поезд — трудный участок, в нем сотни людей. Мы неторопливо идем вдоль вагонов, хлоп, хлоп — щелкают двери, качаются под нами мостки переходов, слышнее грохот колес... Вагон за вагоном проходим мы, интересно наблюдать их вечернюю жизнь. Я фантазирую, стараюсь угадать, кто есть кто, представить себе пассажиров дома, на работе.

Вот, близоруко щуря глаза из-под очков, пытается прочесть прыгающие строки газеты возвращающийся домой инженер. А вот толстый общительный снабженец, поставив на столик бутылку вина, радушно приглашает к ужину соседей по купе. В другом купе едут четверо, но двое из них вдвоем. Они наверняка совершают свадебное путешествие. (Дударев сочувственно улыбается про себя, но сейчас же суровее — он на посту!) В одном из вагонов слышна задорная песня — юноши и девушки едут домой.

Одни пассажиры, разложив обильную домашнюю снедь, солидно и со вкусом ужинают, другие бросают голодные

взгляды на часы, ожидая ближайшей станции с ее буфетом.

В мягком вагоне командированные, отпускники в пижамах с задумчивым видом смотрят в окно. В общем вагоне тоже каждый занят своим делом. Укладывают детей, стелют постели, слышна оживленная речь.

Мой взгляд привлекает еле различимая в тусклом свете затененной лампочки фигура. Ничего необычного в этой фигуре нет, человек как человек. Но все же странно выглядит он среди пассажиров этого вагона: модный костюм в клетку, черная рубашка, яркие носки.

Что сделает Дударев? Дударев подходит к пассажиру.

— Разрешите ваши документы.

Старший паряда очень вежлив. И не менее внимателен.

Человек торопливо достает документы. Взгляд его бродит вокруг да около.

Сержант тщательно изучает паспорт.

Имя, отчество, фамилия. Год рождения 1947-й, русский. Уроженец тех же мест, что и Дударев, земляк.

Паспорт новенький, но подлинный.

Человек достает справку из милиции. Оказывается, он только что из заключения, еще не успел прописаться. Едет домой. Справка в порядке.

Дударев возвращает человеку в клетчатом костюме документы, козыряет и следует дальше. Ни у кого больше в этом поезде он документов не проверил — не нашел нужным. Только у этого. Незнакомец остается на подозрении. С него не следует спускать глаз.

Это не первый такой случай. Бывает, что едет в поезде пассажир, чем-либо привлекающий внимание. Одеждой, поведением, взглядом, манерой говорить. Ему вежливо козыряют, возвращая документы, но на всякий случай глаз не спускают.

Человек сходит где положено или продолжает свой путь. Наряд облегченно вздыхает.

Вот и сейчас сержант идет дальше по вагонам, но солдату Шестакову в тамбуре бросает несколько коротких слов.

Поезд пройден, мы поворачиваем обратно. Снова вагоны, люди, дорожная суета. Проходя общий вагон, Дударев бросает взгляд на то отделение, где тусклая лампочка.

Незнакомца на месте нет!

Сержант ускоряет шаг. Ведь в пройденных вагонах его не было. Значит, он может быть только в следующих.

Или... его уже нет в поезде. Нет, это невозможно. Рядовой Шестаков на посту...

Второй вагон. Человек стоит на площадке. Увидев наряд, он торопливо переходит в третий. Еще мгновение, и Ду-

дарев рядом. Незнакомец, оглядываясь, начинает пить воду. (Может быть, он только за этим и пришел в этот вагон? Может быть, вода во втором вагоне не такая вкусная?).

Человек медленно допивает воду. Мимо нас обратно проходит в свой вагон. Сержант смотрит ему вслед, но человек не оборачивается. Наряд движется дальше, доходит до последнего вагона, поворачивает и снова идет к голове поезда.

Каждый раз, проходя спальный вагон, я слышу английскую речь. И хотя это американцы с их невообразимым акцентом, я многое понимаю. У них круиз, к нам они прибыли на корабле, и вот теперь совершают поездку по нашей стране, по ее республикам. Потом побудут в Москве, в Ленинграде и улетят самолетом домой.

Двери некоторых купе открыты, других закрыты, там, наверное, пассажиры уже легли спать. Многие стоят в коридоре, у окон, обмениваются впечатлениями, радуются новизне, все вызывает у них интерес. Они и нас разглядывают с уважительным любопытством — советские пограничники!

Оставляем Шестакова в проеме открытой двери последнего вагона — так обычно бывает на этом особенно близком к границе участке. А мы с сержантом Дударевым вновь идем по вагонам. Вновь доходим до спального. Теперь здесь в коридоре мало кто остался, небось утомленные туристы отправились спать. Двери почти всех купе закрыты. Свет притушен.

Но вот открывается дверь одного купе, и из него выходит с полотенцем в руках человек. Если б даже я не знал, что здесь едут американцы, я бы догадался по его одежде — вишневые брюки, желтая рубашка, многоцветный галстук, глаза прикрывают темные очки в вычурной оправе, усики, безукоризненный пробор. Необычный для нас вид, чужеземный, и все же... все же я сразу узнаю его...

Это Борька Рогачев, мой товарищ детства, мой одноклассник и верный друг, Борис Рогачев, предатель и подлец, мой заклятый враг...

Какое-то мгновение мы смотрит друг другу в глаза. И я сразу все понимаю.

...Мне кажется, что я и сейчас вижу эти глаза из окутывающего меня ватного тумана беспамятства, из толпы неясных силуэтов, что колышутся и трепещут вокруг, эти глаза видятся мне, как два горящих уголька, как две раскаленных пули, летящих в меня. А сил-то уж нет, где взять силы, чтоб впитаться в него, схватить, держать, пока не потухнут эти жгучие угольки!

Мы смотрим друг другу в глаза...

УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ

Голливуд! Город моей мечты, где было так чудесно, где я получил столько радостей и тот страшный удар. Город Джен, Сэма, веселых гостеприимных ребят. И город мистера Холмера...

Первые два дня не выхожу из номера, жду звонка. Звонка нет. Почему? Ведь они знают, что я приехал. Я уже давно сообразил, что о моем приезде им сообщают сразу же, как только я пересеку границу. Так почему не обнаруживаются? Звоню сам. Джен и Сэму. Никто не отвечает. А телефона мистера Холмера у меня нет.

Решаюсь зайти в «Бэнк оф Америка», чем черт не шутит... И что же? Без промедлений получаю свои тысяча девятьсот пятьдесят долларов. Настроение стремительно взлетает вверх. Я считаю и пересчитываю зеленые бумажки, всемогущие бумажки, которых у меня скоро будет много. Кладу их в сейф отеля. Постепенно меня захватывает работа с этим режиссерским сценарием, возникают какие-то деятели, которые в отличие от Известного режиссера ни бельмеса в русском языке, и я функционирую вовсю.

Только на четвертый день раздаётся звонок. Это мистер Холмер. Он приветлив, но сдержан.

— Здравствуйте, Боб, наверное, беспокоились, что никто не звонит?

— Не скрою, мистер Холмер, беспокоился, но вот теперь слышу ваш голос, и все в порядке, — сам себе становлюсь противен от заискивающих ноток, которые не могу подавить в голосе.

— Надеюсь. Надеюсь, Боб, вы выполнили наше последнее задание, то с листовками?

— Конечно, мистер Холмер, конечно. Сразу. (Может быть, мне кажется, но что-то зловещее звучит в его голосе, неужели он знает, в какой именно туалет я отправил их чертёвы листовки.)

— Как сразу? — спрашивает недоверчиво. — Вы что, в один вечер пошли всюду, куда мы указывали.

— (Ах, черт!) Да нет, мистер Холмер, вы меня не так поняли. Я имел в виду, в первую же неделю. В концертном зале, в Лужниках, в Театре эстрады, в Театре на Таганке... (А вдруг театр был на гастролях — пронзает мысль, по спине катится пот.)

— Ну ладно, ладно, — останавливает он меня, — хвалю. Мы, как видите, тоже свои обещания держим. — Пауза. — Вы ведь получили деньги в банке?

(Быстро у них контрольная служба работает.)

— Да, да, мистер Холмер, спасибо, большое спасибо.

— Ничего, это только начало, будете зарабатывать гораздо больше. — Пауза. — Если будете хорошо работать.

(Может быть, самое время сказать ему о моем решении?)

— Мистер Холмер, — начинаю, — я хотел бы с вами поговорить, тут возникло одно дело...

— Обязательно, — перебивает меня, — мы встретимся. Вы когда уезжаете?

— Вообще-то в следующий понедельник вечером, но я хотел...

— Отлично, я звоню вам из другого города. У нас впереди неделя. Я буду в понедельник утром — на все дела нам хватит. До свидания. — И он вешает трубку.

Как быть? А никак. Дождаться его. Встретимся, в понедельник он отвезет меня к нужным властям, получу паспорт на другую фамилию, американскую (я где-то читал, что так они делают со своими ценными агентами), и все. Пока мой Известный режиссер (пусть уж простит меня) будет в одиночестве лететь обратно. Настроение ему это испортит, карьеру, надеюсь, нет.

Все-таки странно он как-то говорил, мистер Холмер, и про Джен, Сэма ничего не сказал и вообще... Тревожусь. Постепенно тревога проходит.

А может, я вообще напрасно тревожусь? Валяю дурака. Ну что, собственно, в Москве мне угрожает? Эта дура Люська, точнее, ее мать? Ну, откуплюсь, ну, в крайнем случае женюсь и разведусь через год-два. Что, я первый и последний, что ли? С делом этого Рудика покончено, как я понимаю, с аспирантурой уж как-нибудь нагону. Вот только мистер Холмер с его заданиями... Я же понимаю, что, чем дальше, тем опасней. Пока его высокогуманистическая организация будет «раскрывать советским людям глаза» на все наши недостатки (которые мы, между прочим, знаем уж как-нибудь получше, чем они), еще полбеды, но когда гуманисты с помощью Бориса (Боба) Рогачева захотят раскрывать наши военные тайны (которые в отличие от недостатков я не знаю), вот тут хана.

Нет, надо скорей бежать! В данном случае это значит оставаться на месте. Но меня останавливает предчувствие, что мистеру Холмеру вряд ли моя идея понравится.

Вот так мечусь, качаюсь из стороны в сторону...

И, как всегда в жизни, в какой-то момент возникает решающий аргумент.

Неожиданно нам звонят из Вашингтона, что прилетел из Москвы и вылетел в Голливуд советский директор картины. Он после подписания режиссерского сценария останется и будет вести переговоры со своим американским коллегой.

У него свой переводчик, так что мы можем не беспокоиться. Кто переводчик? О, оказывается, Лева Константинов, мой однокашник, тоже аспирант и тоже регулярно привлекаемый к киноделам. Я, конечно, лучший, но все же не единственный.

Мы встречаем директора, привозим в наш отель. И тут возникает трагическая для меня ситуация. Дело в том, что у финансистов свои понятия об удобствах командированных, хоть ты Известный режиссер, хоть ты безвестный переводчик. Прибывшие как бы продолжают нашу командировку, один номер сметы, не хотят просить увеличения квоты и т. д. Короче — те приехали на наше место, и мы должны улетать не в понедельник, а в субботу рано утром, такой рейс.

Известный режиссер рвет и мечет, звонит в посольство, шлет телеграмму в Москву. Но ему отвечают, что два дня, тем более выходных, роли не играют, поздравляют с подписанием сценария, с отличной работой, сообщают, что его с нетерпением ждет председатель... Он тут же успокаивается и начинает собирать пожитки.

А как быть мне? Ведь мистер Холмер придет только в понедельник утром и меня не застанет. Опять звоню Джен и Саму, и опять никто не отвечает.

Я в полной растерянности.

Вечером, пока наши шефы бурно обсуждают свои дела, вожу Леву по Голливуду. Он здесь первый раз, вообще в США, но у него неприятная манера подсмеиваться над всем заграничным и все критиковать (вы не поверите, но за всю свою студенческую жизнь он ни разу не носил джинсов! А? Это все-таки характеризует человека, верно?).

Так и здесь кривит рот — у мужиков, видите ли, у всех глупый вид, бабы все наверняка проститутки, дома претенциозны, виллы безвкусны, «а вот гляди, — тычет пальцем, — негр в помойке роется». (А?) Вот в таком стиле. Еле уговариваю его зайти в бар выпить, что бы вы думали? Кофе. Я забыл, он даже пива не пьет, и не курит, и женат, и ребенка завел. Христос!

— Учти, — говорит, — мне мой дир еще суточных не выдавал.

— Пошел ты к черту, — говорю, — угощаю я, с таким собутыльником не разорюсь.

Сидим, болтаем, доходим до институтских новостей, и вдруг он начинает хохотать и говорит так весело, будто хороший анекдот рассказывает.

— Ну, Сонька (это художница нашей стенгазеты «Советский студент». Сонька — золотая ручка), умора, как тебя изобразила, со смеху помрешь!

Это он со смеху пусть помирает, а мне не до смеха.

— То есть как изобразила?

— Понимаешь, — с увлечением описывает, — летит по ясному небу самолет в виде Бориса Рогачева, руки — крылья, язык в виде пропеллера, а вниз тебя тянет здоровая гиря. И на гире написано: «аспирантура». Ой, не могу!

Молчу потрясенный. Меня! Рогачева! Лучшего знатока английского, суперотличника, общественника, вообще лучшего, наконец, неприкасаемого, какая-то девка (у нее и бюста-то нет и поги как тумбы и...) протягивает в стенгазете!

— Слушай... — говорю.

— Погоди, — перебивает, — там же еще стихи! Стихи. Володька написал (безобразие, Володька — староста! Это уже общественное мнение), послушай. — И читает с завыванием.

В далекие края летает Рогачев,
И только вот одна ему мешает дура.
О нет, не девушка, они-то не в зачет,
А эта, как ее, ну да, аспирантура.

— А! — вопит этот кретин. — Здорово? «Девушки не в зачет»? Здорово. Не в бровь, а в глаз, ну точно про тебя. Кстати, о девушках, — становится серьезным, — Люська от нас ушла. Какая-то смурная последнее время ходила. Не замечал? Ушла. Уезжает или еще что. Может, неприятности какие. Мать ее к ректору приходила...

— Мать приходила? — я неприятно поражен (ведь Люся обещала...) — Зачем?

— Не знаю, видел в приемной, Люська меня как-то давно с ней знакомила.

Он долго молчит, отводит глаза, смотрит по сторонам, чувствую, хочет что-то сказать, но не решается, наконец не выдерживает:

— Слушай, Рогачев, не следовало бы говорить, конечно, негоже тебе здесь за границей настроение портить да еще в последние дни, но ты меня знаешь. Дружба есть дружба (какая у меня с этим синим чулком в брюках дружба!), все-таки лучше предупредить заранее...

— Да можешь ты толком, черт возьми! — не выдерживаю.

— Тихо, тихо, не ори. Понимаешь, повестка в институт пришла. Дома они тебя не нашли, нет никого, в институт прислали, с милиционером. Ректор звонил куда-то. Машка (секретарь ректора, трепачка) рассказывала (всех секретуток, машинисток, уборщиц, дворников в институте знает, буфетниц особенно). Дело, что ли, уголовное, с какими-то кассетами запрещенными. Вроде парня одного прихватили, он молчал, молчал, а как на суде почувствовал, что жареным запахло, стал всех подряд закладывать. Дело на следова-

ние вернули. Ну и тебя он назвал. Да ты не робей, разберутся. Мало кто на тебя бочку катить будет. Может, ты у него когда-то девушку отбил? А? Рогачев, это ведь по твоей части, ха, ха, ха, — и опять смеется как дурак. И что-то говорит.

А я не слышу. Я смотрю на него и понимаю, что вижу последний раз.

Да, здесь, издалека, все мои московские неприятности показались мне мелкими, случайными. Ну что они по сравнению с решением, которое я готов был принять. Теперь принял. Да вот все колебался, ох как не хочется оставаться. Или хочется? Я понимаю, что здесь я буду иметь все, ну почти все, что хочу (в рамках разумного, конечно, во всяком случае, то, на что человек, подобный мне, имеет право, не ваяются все-таки рогачевы на каждом углу!). А там?

Мне не хочется думать о том, что я оставляю там. Да и чего об этом думать? После того, что рассказал мне Константинов, мне ясно: все пути отрезаны.

Да еще этот мистер Холмер, чтоб он сторел! Оп? Ни в каком случае! Он — моя главная, моя единственная надежда. А надежда, как известно, умирает последней, позже человека...

Мы возвращаемся в отель. Я прощаюсь с Левой в холле, крепко жму ему руку (он немного удивлен), что ж, он сослужил мне хорошую службу, иду к себе, вынимаю из холодильника что есть покрепче и выпиваю (интересно, кто будет теперь платить за номер?). Выпиваю еще и начинаю размышлять на трезвую голову.

Значит, так, послезавтра, в субботу, мы должны улетать. С утра. Всякие офисы у них в субботу, наверное, закрыты, в том числе государственные — уик-энд, здесь, в Голливуде, городе бездельников, перегружаться не любят. Только безработные все время работают — читают объявления, не нужен ли где-нибудь кто-нибудь на роль унитаза (очень остроумно! Я делаю успехи, скоро буду писать комедии). Значит, явиться я должен в пятницу. Куда? Надо выяснить. К иммиграционным властям? В полицию? ФБР? ЦРУ? Там меня особенно ждут, принесу сверхсекретный документ: копию режиссерского сценария.

Ну куда подевались Джен и Сэм? Звоню без конца — молчание.

Потом рассуждаю: мистер Холмер возвращается в понедельник, когда наших уже не будет — Известный режиссер в субботу утром отбывает в Москву, а директор с Константиновым, как они сказали, в пятницу вечером — куда-то в другой город на побережье, где будут строить флот Петра Великого (в Финском заливе это, оказывается, сделать невозможно).

Значит, если я исчезну в субботу прямо с аэродрома, мне надо где-то проболтаться два выходных дня и в понедельник спокойно вернуться в отель, сесть в холле и дожидаться звонка мистера Холмера. А уж тогда беспокоиться нечего.

Теперь-то понимаю, каким я все-таки был наивным болваном. При моем-то уме, при моем-то уже немало, увы, теоретическом знании американской жизни и вообще всех этих темных дел. Это теперь. А то было тогда.

Представитель студии провожает нас в Лос-Анджелесском аэропорту. Мы регистрируем билеты, сдаем чемоданы (в моем все равно ничего нет), направляемся к паспортному контролю. У нас еще полчаса, и, чтоб не задерживать представителя студии (все же суббота, выходной), благодарим его и прощаемся. Известный режиссер, как всегда, в последний момент вспоминает, что кому-то не купил сувениров, и устремляется к киоскам.

Я спускаюсь вниз, выхожу, беру такси и еду в город. Останавливаюсь у скромного отеля и снимаю номер (какое счастье, что в Америке никто у тебя паспорта не спрашивает, особенно, если платишь за два дня вперед). Ого-го, ну и цены! Ненадолго же мне хватит моих двух тысяч долларов (минус пятьдесят).

Я скромно обедаю в мотельном ресторанчике (скромно, ну и цены!), возвращаюсь в номер, включаю радио и застываю в напряжении.

Странно, я не испытываю никаких бурных чувств. Словно так и должно быть, словно продолжается моя командировка, словно я не совершил самого важного шага в своей жизни. Рокового? Не знаю. Непоправимого? Наверняка.

Я потом не раз анализировал это свое спокойствие и пришел к выводу, что то был результат чудовищного нервного напряжения последних часов. А может быть, дней, недель...

У меня просто не было больше сил на переживания — радость, сожаление, страх перед будущим. Я лежал в полудреме и слушал рекламные вопли, песни, речитативы, призывы покупать консервы, мыло, автомобили, кукурузные хлопья, ботинки, ракетки, мастику, табачи, виски...

Слушал последние известия, в которых необходимая доля помоев изливалась, как обычно, на мою родину (мою? Бывшую мою! Бывшую!).

В шестнадцать часов наконец я услышал по местной сети очень коротко: в Лос-Анджелесском аэропорту не явился к самолету советский гражданин Борис Рогачев. Он прибыл в аэропорт, чтобы лететь в Москву, зарегистрировал билет, сдал багаж и исчез. Никто, в том числе второй советский гражданин Известный режиссер, у которого Рогачев был переводчиком, и также представитель киностудии, по приглашению которой они приезжали в Голливуд, ничего сообщить

не смогли. Самолет был задержан на двадцать минут, после чего улетел. Советское посольство поставлено в известность. Полиция ведет розыск. Все. Никаких комментариев. Интересно, слышал ли это сообщение мистер Холмер?

Продолжаю осуществлять свой план. Залезаю в своем мотеле, как медведь в берлоге. Целый день сижу в номере (только перекусить выхожу), слушаю радио, читаю газеты. Поскольку суббота и воскресенье, мною, видимо, никто особенно не занимается. Однажды в тех же местных новостях в понедельник утром сообщают, что поиски пропавшего советского гражданина продолжаются, но пока безуспешно.

Распачиваюсь, покидаю мотель и направляюсь в Голливуд. Уже не на такси, а пехом (городского транспорта в Лос-Анджелесе, по нашим понятиям, нет).

Невозмутимо вхожу в холл, киваю знакомому портье и говорю как ни в чем не бывало:

— Мне должны позвонить, не знаю точно, когда, позовите меня, я буду здесь в холле или в баре. (Черта с два я пойду в бар, уж в этом отеле я цены знаю.) В зависимости от разговора я, возможно, сниму номер.

Портье смотрит на меня с изумлением, но говорит только:

— Конечно, мистер Рогачев, будет сделано. Вы мистер Рогачев? Я не ошибаюсь? Именно вас будут спрашивать?

— Да, — говорю.

Иду в холл и сажусь в кресло с журналом в руках. Надеюсь, что мистер Холмер не заставит себя ждать и вскоре обнаружится.

Но обнаруживается не он, а два штангиста-тяжеловеса. Они сразу направляются ко мне.

— Вы мистер Рогачев? Паспорт!

Протягиваю паспорт. Они быстро листают и говорят:

— Поехали.

— Куда? — спрашиваю. — Мне должны...

— Поехали, вам говорят.

Они без всякой деликатности подхватывают меня под белы ручки, выволакивают и заталкивают (чтобы не сказать забрасывают) в машину. Привозят в полицейское управление, ведут по коридорам и приводят в кабинет. За столом — человек в форме. Полицейский офицер, я в их формах разбираюсь.

Он долго внимательно разглядывает меня (не буду утверждать, что с восхищением).

— Слушаю, — говорит негромко, — слушаю вас.

У него настолько скучающий вид, ему, судя по всему, настолько неинтересна моя персона, что мне делается очень тоскливо. Зачем я здесь? Почему? Что вообще происходит?

— Так я слушаю, — говорит он чуть громче, теперь в его голосе раздражение.

И тут меня прорывает как нефтяной фонтан.

— Я — советский гражданин Борис Рогачев. Я желаю остаться в Соединенных Штатах Америки, свободной демократической стране. Прошу политического убежища, американского гражданства, обязуюсь уважать законы и...

Он останавливает меня жестом руки.

— Это ваше дело, меня оно не интересует. Я из полиции, мое дело было вас найти. Вот нашел. А дальше — работа иммиграционной службы. Посидите подождите, я их вызову.

Выхожу в коридор, жду. Час, два, три. Через три часа меня ведут в какой-то другой кабинет. Там сидят трое, и явно не полицейские — серьезные, элегантные, средних лет. Один обращается ко мне на русском языке и, поскольку все остальное время мы говорим по-русски, два других тоже, наверное, им владеют. Мой паспорт перед ними на столе.

— Если нас правильно информировали, вы — Рогачев («мистер» уже исчезло) и хотите остаться в Соединенных Штатах. На что намерены жить, чем заниматься? У вас здесь есть друзья?

Я торопливо объясняю, что да, вот есть доллары (лезу в карман, показываю), даю адреса и телефоны Джен, Сэма, называю их, добавляю, что мне должен был позвонить мистер Холмер в отель, но меня привезли сюда.

— Кто это мистер Холмер?

Я молчу: действительно — кто? Пускаюсь в какие-то путаные объяснения. Они недоверчиво смотрят на меня. Тогда опять запеваю свою песню: хочу жить в свободной стране, свободно работать все равно кем — могу переводчиком, знаю кинематограф, знаю... (а что еще я знаю, что я вообще знаю, кроме никому не нужной ерунды да английского языка, который в этой стране, представьте, знает каждый ребенок!). И тогда я набрасываюсь на нас, на советских людей, на нашу страну, на наши порядки, на наши учебные заведения, кино, молодежь, искусство, законы, продукты, улицы, дома. Не помню, на погоду, наверное, тоже. Все поливаю помоями, ругаю почему зря, преувеличиваю, вспоминаю, что я у них читал, слышал в их радиопередачах и говорю это от себя.

Они не перебивают, молча слушают. И на лицах их я читаю все ту же скуку и равнодушие.

Тяжело дыша, останавливаюсь.

— Ну что ж, — говорит тот, видимо, старший, — незаконного пребывания в нашей стране пока нет — ваша виза действительно еще две недели, требуемое количество денег у вас есть, они ваши, вы приложили справку из банка. Заполните анкету, напишите заявление с просьбой о предостав-

лении вам политического убежища. Еще тут разные бумаги. Хорошо, если б вы написали письмо о вашем решении в советское консульство. Не обязательно, но желательно. А если советский консул захочет с вами встретиться, вы подтвердите ваши слова?

— Хотя сейчас, все подтверждаю, все, абсолютно все... Я...

— Ну, садитесь, пишите, — останавливает он меня, — с вами останется наш работник. Если будут вопросы, он вам подскажет.

Высунув язык, как школьник, чуть не дотемна занимаюсь писаниной. Господи, каких там вопросов только нет! (А еще говорят, что у нас длинные анкеты.)

Когда я наконец заканчиваю, «работник» все забирает и говорит:

— Прошу вас завтра к десяти утра быть здесь же, возможно, возникнут новые вопросы.

Я униженно благодарю и, чуть не пятась, покидаю полицейское управление, или комиссариат, или участок, уж не знаю что. Запоминаю адрес.

Что теперь? Стою в растерянности. Что делать-то? Бреду, как лошадь в знакомую конюшню, в «мой» отель. Портье окидывает меня презрительным взглядом. Я теперь не клиент, а неизвестно что.

— Извините, — спрашиваю заискивающе, — мне никто не звонил?

— Вам? — Он глядит на меня так, будто я спросил, не звонил ли мне президент Соединенных Штатов, моя паглость глубоко возмущает его. — Ну кто *вам* мог звонить?

— Мистер Холмер...

— Никто вам не звонил и звонить не будет. И вообще идите-ка отсюда. Нам своих безработных хватает.

Я покидаю отель, захожу в дешевый бар и только тут вспоминаю, что целый день не ел. Съедаю огромный бутерброд с горячим мясом, запиваю пивом (бар-то дешевый, а вот цены будь здоров).

Внезапно меня обжигает мысль: «безработный», портье сказал «безработный». Это же я! Я действительно безработный, да и бездомный. Все мне обещал, мне должен, мне обязан предоставить мистер Холмер! Но где он? Где он, черт возьми! А если он вообще не появится, может, поезд его переехал, самолет, на котором он летел, упал... Не знаю (лишь об одном я категорически запрещаю себе думать, что он просто забыл про меня). Да нет, ну не позвонил, так позвонит, узнает, что к чему, газету прочтет. Да, наконец, уж если их «общественная организация» так быстро засекает мой приезд, она наверняка осведомлена о моем местонахождении, о том, что меня вызывали и вообще... Наверняка она связана с мистером Холмером,

Из бара выхожу очень поздно, бреду по улицам в поисках самого дешевого отеля в этом самом дорогом городе США. Голливуд живет поздней жизнью. Из баров и ресторанов доносится музыка, немислимой красоты (и стоимости) машины дремлют у дверей, ожидая хозяев. Иногда я вижу и этих хозяев — ослепительных жепщин в ослепительных туалетах, холеных мужчин... Но я вижу и какие-то неясные тени, скользящие вдоль домов в темных переулках, и тогда судорожно ощупываю бумажник с моими долларами...

Наконец нахожу какой-то захудалый, но сравнительно недорогой отель. Равнодушный негр равнодушно берет у меня плату за два дня вперед и, не вставая со стула, протягивает ключ. Вслед он хриплым голосом бросает:

— Девок води, но чтоб травки или еще чего в номере ни-ни!

Поднимаюсь по скрипучей лестнице. Номер — пол квадратных метра. Какая-то не кровать, а койка, стул, столик. Туалет и умывальник в коридоре. Окно выходит на покрытую сажей стену соседнего дома, вентиляции нет, белье в заплатах. Валюсь на койку и первый раз в жизни плачу.

Потом я еще не раз это делал...

Много чего было потом. Страшно вспоминать.

Наутро являюсь в полицию или, как ее там, иммиграционную службу. Теперь за столом сидит молодой парень, и говорит он со мной по-английски. Веселый, шутит, улыбается, чем-то напоминает Сэма. Сначала расспрашивает о моем здешнем житье-бытье, потом о московском, о московских друзьях, об институте, спрашивает, почему решил остаться, что бы хотел делать, кем работать. Симпатичный парень. У меня просыпается надежда: не будет мистера Холмера, может, этот чего-нибудь для меня сделает. Он велит все это написать. Мы расстаемся друзьями. Он просит завтра снова прийти к десяти утра.

А на завтра меня встречает какой-то визгливый грубиян, который все время жует резинку, задает дурацкие вопросы, особенно его интересуют мои отношения с женщинами, иногда он гогочет, отпускает сальные шуточки, все время похлопывает меня то по плечу, то по колену, то по руке. Он не скрывает, что перспектива моей жизни в Соединенных Штатах ему видится весьма мрачной. И что ему на это наплевать. И тоже велит записать все мои рассказы и прийти завтра. Ухожу в подавленном настроении. Ну что, повеситься, что ли? Но на следующий день мой собеседник снова тот молодой симпатяга. Я успокаиваюсь. А... на третий день опять эта скотина.

Не такой уж я умный, оказывается. Проходит пять дней, пока я соображаю наконец, что это душ Шарко — то ледяной, то горячий, что это метод допроса, имеющий целью

расшатать мне нервы, заставить осознать, какое я ничтожество, в каком отчаянном положении нахожусь и как должен благодарить «их» за любую милость, страшиться малейшего недовольства.

Теперь характер вопросов изменился. Меня спрашивают, служил ли я в армии и почему нет, что проходит на запятых по военному делу в школе и институте, что знаю о Советских Вооруженных Силах, может, о каких-нибудь лагерях, есть ли среди друзей такие, у кого родители военные, или друзья в армии. Говорю про Андрея Жукова все, что знаю. А что я знаю? О своей службе и учебе он не очень-то рассказывал. Эти вещи из него не вытянешь, да и не интересовали они меня. Где он? На какой границе? И это не знаю. Может, есть знакомый, кто пошел в науку? Энергетику? Ядерную? Авиацию, флот, оборону? Нет? Никого? Никого, я ведь языковой кончал. Так, может, есть друзья в бюро переводов НИИ, в органах, в МИДе? Ну где еще язык нужен.

И тут я с ужасом понимаю, что они теряют ко мне всякий интерес. Я для них просто пустое место. Нулевая отдача. Грубиян на допросах зевает, а «симпатяга» становится все более равнодушным. Он еще порой улыбается казенной улыбкой, но так, для проформы.

Наступает день, когда, явившись утром (привык ходить как на работу), я вижу перед собой того, первого, который по-русски шпарит. Он сух, строго официален.

— Мистер Рогачев (я опять мистер). В первой инстанции ваша просьба рассмотрена. Поскольку виза у вас истекает, вот получите временное разрешение на проживание в США. Пока будут рассматривать другие инстанции. Если решение будет положительное, можете поставить вопрос и о гражданстве. Впрочем, пока об этом рано говорить.

— Извините, — робко спрашиваю, — а сколько может длиться рассмотрение?

— Трудно сказать, — отвечает и углубляется в какие-то бумаги. — Несколько месяцев, год, иногда несколько лет.

— Сколько? — хриплю.

Мой голос заставляет его поднять глаза.

— Разве я говорю так тихо, что меня не слышно за два метра? — спрашивает строго.

— Извините, — бормочу, — извините, я понял, все понял. А быстрее нельзя?

— Нельзя, — отрезает, — позвоните через пару месяцев. До свидания.

— Но как мне жить! — в отчаянии кричу.

Он язвительно улыбается.

— Как все. Как все американцы. Вы же хотите стать американским гражданином, вот и приучайтесь жить как все

американские граждане. — И он опять погружается в свои бумаги.

Выхожу от него ошарашенный. Несколько лет! Да хоть несколько месяцев! Как все американские граждане! А как они живут, эти граждане? По-разному ведь. Как продюсер, как, наверное, мистер Холмер, как Сэм, как все эти голливудские звезды, да как мне обещали наконец — согласен. Согласен обеими руками! А вот как тот негр, что спит на скамейке возле той, на которой я сижу, или белый паренек, что каждое утро норовил нам почистить ботинки, когда мы выходили из отеля, или те небритые старики, что уныло читают газеты за чашкой пустого чая в кафе, надеясь разыскать объявление с предложением хоть самого завалящего места — не согласен! Нет! Ведь место президента крупного банка никто им почему-то не предлагает.

Как и мне.

Звоню Сэму. Как обычно, никто не отвечает. Машинально набираю номер Джен в Сан-Диего. Собираюсь вешать трубку и вдруг ясно, четко, словно рядом со мной, слышу ее такой знакомый голос:

— Алло!

— Джен, Джен, родная, это я, я! — ору.

— Боб, ты! — В ее голосе удивление, радость, боль.

Щелчок. Связь прерывается. Лихорадочно набираю номер снова. Жду, ответа нет. Снова набираю, и еще раз, и опять. Трубку снимают.

— Алло, — слышу неведомый мне женский голос.

— Попросите Джен, Джен, пожалуйста!

— Вы ошиблись, здесь нет никакой Джен, — звучит сухой ответ.

— Но я только что разговаривал с ней, она мне ответила! — в отчаянии кричу я.

— Говорю вам, вы ошиблись, — голос непреклонен, — здесь нет таких.

Я называю номер (может, неправильно набрал).

— Да, этот номер, но, повторяю, Джен здесь нет. Извините. — Щелчок.

Набираю снова. Повторяется бесплодный разговор. Я умоляю, кричу, начинаю грозить. Все бесполезно. «Джен здесь нет и никогда не было».

Со слезами на глазах отхожу от телефона.

Все ясно — о Сэме, о Джен я могу забыть. Они для меня больше не существуют. Вернее, я для них.

Но для Холмера-то я должен существовать! Так что ж он! И мне ничего не остается, как ждать его. Явления Христа народу!

А пока надо жить, «как все американские граждане».

Дельный совет дал мне тот тип. Прав он, я ж сам этого хотел.

Что ж, попробую.

Как описать мне эти долгие-долгие месяцы, самые долгие месяцы моей жизни?

И едва ли не самые страшные.

Ох как не хочется их вспоминать (что-то уж очень многое мне вспоминать не хочется).

И сейчас стоят передо мной отрывочные картины, они путаются, смещаются во времени, размываются, я не помню начала событий, их конца. Какие-то черные пятна на и без того темной бетонной стене моей камеры, черные, черные пятна в той темной проклятой жизни...

Вот, например, помню, как растягивал оставшиеся деньги, как перебирался из отеля в отель, из плохого в еще худший, потом в ночлежку, помню, как ел три раза в день, потом два, бывало и один. С обедов перешел на горячие бутерброды — «собачьи сосиски», даже не постыдился ответить похлебке в приюте Армии спасения. И чем я только не занимался.

Грузил какие-то бочки. Шел по окраине — грязь, банановая кожа, банки из-под «пенси» и пива, бумажки — чего тут только не валяется, все стены исписаны, похабные рисунки, даже свастики есть. Бродят полудохлые собаки (дохлые тоже иногда попадают), пыль, лужи вонючие. Окраина...

Смотрю, грузят бочки в каком-то дворе. И вдруг одна скатилась на ногу парнишке. Тот взвыл, ногой трясет. Товарищи подхватили его, понесли куда-то, а старший, или не знаю, который распоряжался, в досаде — грузить некому. Я шасть к нему, предлагаю свои услуги. Он обрадовался, десятку заработал, а потом сутки выпрямиться не мог.

Другой раз приноровился стекла у машин протирать, видел, как это делают, когда меня самого в машинах возили (неужели это было когда-то?). Подобрал тряпку, подошел к месту, где их собралось, этих машин, с полсотни, кожу, тру. Человека три мне мелочь подкинули, а потом шпана, мальчишки так «подкинули», что еле ноги унес, это, оказывается, их «сектор», их бизнес, я у них хлеб отбиваю.

По пляжу ходил, всякую дрянь собирал, какому-то мелкому «боссику» сдавал, нас много таких было. Вот уж не думал, что доведется утильсырье собирать. Академик Рогачев, светило лингвистики — старьевщик, ударник капиталистического труда!

Становится прохладно. Калифорния Калифорнией, но, оказывается, и здесь зимой дожди, ветры, мой плащ самолет унес в Москву, и нечем согреться.

А что еще унес тот самолет? Мои мечты? Желания? На-

дежды? Да нет, они-то как раз все были здесь, в сверкающем Голливуде. А вот надежность, заботу обо мне, мою, пусть не безгрешную, но развеселую московскую жизнь, уют родного дома унес.

И нечем согреться...

Как иностранец, я не получаю даже того жалкого пособия, которое получают безработные-аборигены. С одним разговаривал. Я не стал представляться. Не в церкви, не в исповедальне. Вышел просто к океану, сижу на траве, смотрю, как белоснежные корабли проплывают на горизонте, огромные, как мечты, и такие же далекие, и ни о чем не думаю. Рядом присаживается такой же оборванец, как я, вынимает из пакета огромный сэндвич и жует. Я слглатываю слюну, стараюсь смотреть в другую сторону. Он косит глазом, отламывает кусок и протягивает мне. Хватаю, запихваю в рот, жую, спешу, пока назад не отнял. Оба молчим. Наконец спрашивает:

— Давно?

— Что давно? — не понимаю.

— На курорте, — смеется, — давно? Без работы?

— Уже несколько месяцев, — отвечаю.

— Э! Не срок, я — третий год.

И он рассказывает мне свою невеселую историю (в таких случаях люди охотно свою жизнь выкладывают, неудача куда крепче сближает, чем удача). Как работал на заводе, как ввели какие-то автоматы и его уволили, как нашел работу в ресторане, а ресторан прогорел. Потом пробавлялся случайными заработками, даже воровал по мелочам (подмигивает неуверенно — вдруг я из полиции, переоделся специально). Сейчас удачная полоса, на какой-то вилле парк расчищают, и он устроился.

— Понимаешь, — рассказывает, — смех. Один большой босс — у него миллион вилл, особняков, домов по всему свету — заболел вдруг. И врачи ему велели сюда, на побережье. Он в этой своей вилле за десять лет владения ни разу не был. Только сторож и какой-то дряхлый камердинер живут. А тут звонок из Нью-Йорка — через неделю приезжает, надолго, чтоб все было в лучшем виде. Камердинера чуть удар не хватил. Он и забыл, как за этой виллой ухаживать, небось пыль ни разу не вытирал, про сад и говорить нечего. Заметался, засуетился, я вовремя под руку подвернулся. Он готов платить. Горбачу с утра до ночи, вот полчаса выбрал в себя прийти, а конца не видно. Слушай, пошли со мной, там и тебе работы хватит. А?

Соглашаюсь с радостью.

Это было лучшее время. Парк большущий, запущенный жуток, расчищать и расчищать. Поэтому, когда приехал хозяин, работа продолжалась. Месяца три, всю зиму, мы с этим пар-

нем, единственной доброй душой, которую я встретил здесь, работали как черти. Ну а потом, когда мы превратили его в рай, состоялось изгнание из рая. Что ж, видно, райская жизнь всю жизнь продолжаться не может...

Некоторое время мы с тем парнем действовали в паре, а потом произошло неожиданное.

Сидели мы грустно на нашей лужайке — привыкли к месту. Идут полицейские, двое, обход. Они здесь по всем улицам бродят. И вдруг один вглядывается в моего товарища, достает какую-то фотокарточку, присматривается, советуется со своим коллегой.

Подходят к нам и требуют документы. Мои пренебрежительно возвращают, а посмотрев у моего друга, внезапно хватают его за руки и защелкивают на них наручники (не так уж, видно, мелко подворовывал парень, раз на него розыск был). И увели. Но никогда потом не мог я забыть его последнего обращенного ко мне взгляда — сколько же в нем было грустного изумления, тоски, упрека...

«Не я, не я, я ни при чем!» — хотелось мне кричать, да слова застряли в гортани. Так он и ушел, толкаемый полицейскими, убежденный, что я его предал.

Страшное это дело — несправедливое обвинение в предательстве! А если справедливое — разве легче?

Вот встретился бы я лицом к лицу с Андреем Жуковым, лучшим моим когда-то другом. Как бы я держал перед ним ответ? Что бы сказал? Чем бы оправдался?

Меня охватывает злость — в чем оправдался, за что ответ? За то, что сам свою жизнь искорежил, что трижды дураком оказался? Что страдаю теперь? Нет уж! Это вы, уважаемый товарищ Жуков, ответ держите: почему не остановили вовремя? Почему не перевоспитали? Почему не предостерегли? У нас же так: все за тебя в ответе — родители, школа, комсомол, институт, только ты сам ни за что не отвечаешь. И почему не убил? А еще друг называется! Боец со шпионами и диверсантами! А я кто?

Вспомнил я тогда то письмо его, где писал он: «пожалеешь». Вот и пришло это время. Эх, махнул бы я в те дни к другу моему лучшему, повалился бы с ним в лугах и цветах, надышался воздухом, о котором он писал, может быть, и вылетела дурь из головы?

Как же до физической боли тоскливо! Как хотел бы я увидеть Андрея, с какой горечью вспоминаю его слова, наши споры-разговоры. Ведь всегда прав он был (так мне теперь казалось). Хоть бы раз его послушался.

Да ерунда все это. И он бывал прав, и я. В разговорах. А вот в жизни, в планах, в мечтах — он. Я все не за тем гнался. Это как финты в боксе. Проводит противник обманный удар — кто поумней, того не объегорит, а кто поглу-

пей, вроде заслуженного мастера дурости Рогачева, тот попадется в ловушку.

Только вот с кем я боксирую, кто мне ловушки устраивает? Не сам ли? Не бой ли с тенью проигрываю?

То ли сам теперь в тень превратился. В собственную тень...

Такие приступы истерии, во время которых, если верить фильмам про уголовников, полагается рвать на себе рубаху, царапать грудь и биться головой о стену, со мной случались все чаще.

Все чаще смотрел я с моста на реку, со скалы на океан, с насыпи на рельсы, из окна на асфальт не для того, чтобы любоваться закатом или прохожими, а прикидывая, как побыстрей и безболезненней расстаться с этой ставшей невыносимой жизнью. А что? Чем так прозябать, лучше уж...

Потом я брал себя в руки.

Старался отвлечься, убежать от этих мыслей, помечтать, что все еще обойдется.

Какое-то время я чуть не каждый месяц звонил в иммиграционную службу, спрашивал, удовлетворена ли моя просьба, и, получив отрицательный равнодушный ответ, приходил в отчаяние.

Но постепенно меня охватила апатия. Ну, удовлетворяет, ну, дадут американское гражданство, я стану гражданином самой демократической страны в мире, страны великого предпринимательства, равных и неограниченных возможностей. Что дальше? Только за то, что ты американец, зарплата, к сожалению, не платят. А как живут эти счастливые граждане, я насмотрелся предостаточно. Так какая разница, с каким документом и в каком подданстве мне голодать здесь и нищенствовать?

Я опускался все ниже.

Был случай, когда я отнял какие-то галеты у собак, съел выброшенные на улицу гнилые бананы, стащил бутылку молока, оставленную молочником у двери. Я не менял белье сто лет, отпустил бороду, чтоб не бриться, спал где попало (к счастью, наступила весна).

Тогда-то и родилась у меня мысль пойти в советское посольство, упросить, чтоб приняли обратно. На все, на все я был готов, пусть ссылают, пусть пошлют дворником, землекопом, мусорщиком, все равно кем, лишь бы разрешили вернуться, простили.

Я снова и снова вспоминал московские улицы и парки, и подмосковные рощи и речки, мой дом на тихой улице Веснина, и институт за тенистым сквером на Метростроевской, арбатские переулочки, и бассейн на Кропоткинской, и столик у широких окон «Националя», и шумные трибуны Лужников...

Но я вспоминал и своих далеких друзей и приятелей, наверняка сейчас завидующих Бобу Рогачеву, живущему сказочной жизнью в Америке! Эх, если б знать тогда то, что знаю теперь, эх, если б вернуться теперь к тому, что было тогда...

Так вот и жил. Если это можно назвать жизнью. Чем бы все кончилось? Чем бы я кончил, продлись это еще год, два, пять? Да, наверное, тем же, чем все эти мои американские «сограждане», я имею в виду, конечно, таких, как я, которым так же «повезло».

Сдох бы от болезней или в драке, в тюрьме или ночлежке. А может, дожил до нищенской одинокой старости. А может, улыбнулось когда-нибудь счастье — устроился бы ночным сторожем, подметальщиком, чистильщиком сапог. Бывают же удачи...

И вот счастье наконец пришло (так подумал я тогда, не сейчас, не в эти минуты).

Однажды вечером, когда я, голодный, промокший по весеннему дождю, сидел в парке на скамейке и тупо глядел в пространство, ко мне подошел парень с мрачной физиономией и спросил:

— Боб Рогачев?

Я кивнул. Не удивился, не забеспокоился, я ко всему был уже равнодушен. У меня даже мелькнула мысль — арестуют за бродяжничество, за мелкое воровство, все разрешится. Так в тюрьме-то кормят, крыша есть, постель, в общем, не столь уж плохо.

— Пошли, — приказал парень.

Я покорно встал. Мне б и в голову не пришло спросить, что за человек, куда ведет. Кто я такой, чтоб посметь спрашивать? Мы вышли из сквера, подошли к спортивному «форду», парень жестом показал, чтоб садился.

Ехали недолго, куда-то за город. Остановились у высокой глухой ограды, перед глухими воротами, ворота открылись, мы проехали еще метров сто. У одноэтажного дома, похожего на барак (тюрьма, что ли?), остановились окончательно. Парень вышел, поманил меня пальцем. Мы вошли в дом, прошли по длинному коридору и вошли в комнату. В комнате — диван, кресла, низкий столик. Парень неодобрительно оглядел мою грязную мокрую одежду, чумазые ботинки, оставлявшие влажные следы на полу, мою небритую физиономию, покачал головой и указал на кресло.

Понимая всю меру своей вины (пачкать такое чистое кресло!), сел, стараясь на самый кончик (не прислониться бы к стенке, не задеть бы подлокотник).

Сидел долго, боясь пошевелиться, чуть не задремал — тихо, тепло, через окно залетают запахи сада, пение вечерних птиц, опускаются сумерки.

Очнулся сразу; кто-то властно, шумно вошел в комнату, хлопнул дверью, щелкнул выключателем, яркий свет ударил в глаза.

Я посмотрел, моргая, на вошедшего. Передо мной стоял мистер Холмер.

Минуту я глядел на него, потом все поплыло перед глазами.

Пришел в себя от чего-то обжигающего, что мне влили в рот. Виски. Закашлялся. Привезший меня парень поставил стакан на стол, сильно похлопал по спине и вышел.

Мистер Холмер сел в кресло напротив, некоторое время внимательно меня разглядывал и наконец улыбнулся.

— Так как вам живется, Борис?

Я пытаюсь ответить, но не могу произнести ни слова. И начинаю рыдать. Рыдания сотрясают меня. Это отвратительно — рыдающий мужчина. Я вижу себя со стороны — грязный обросший оборванец, весь в соплях и слезах. Нашкодившая собачонка, которую в наказание не пускали в дом, а теперь соизволили простить. Надо, наверное, лизать руку хозяину и выливать хвостом. Но у меня даже нет хвоста.

Неужели человек может выдержать такое унижение? И я начинаю рыдать еще сильнее.

Мистер Холмер смотрит на меня с выражением бесконечной скуки. Наконец справляюсь с собой. Вытираю глаза грязной тряпкой, которая когда-то была посовым платком. Перестаю всхлипывать. Осматриваюсь, нет ли графина с водой. Нет.

— Так как вам живется, Борис? — повторяет свой вопрос мистер Холмер.

— Вы же видите, — шепчу.

— Да, неважно, — соглашается он и продолжает настаивать тоном: — Так всегда бывает, когда не хочешь выполнять своих обещаний, когда обманываешь партнера. Мы с вами как договорились, Борис? Вы служите нам, то есть выполняете наши задания, мы же за это гарантируем вам американское гражданство, хорошее место, приличный заработок. Так?

Я молча киваю.

— А вы? Взяли и остались здесь, еще толком ничего для нас не сделав. Без разрешения, не согласовав с нами. А ведь мы вам деньги заплатили, и немалые. Зачем вы обманули наше доверие? Нарушили договоренность?

— Поймите, мистер Холмер, — я чуть не кричу в отчаянье, — так сложились обстоятельства, все сразу навалилось, я мог вообще погореть, меня могли больше не выпустить... Я хотел вам все сказать, предупредить, то есть, просите, просить вашего разрешения, но нас неожиданно ото-

звали, а вас не было, я звонил Саму, Джен, никого не было, вашего телефона у меня нет...

Я торопливо, захлебываясь, стараюсь объяснить ему всю безвыходность моего положения, опасность возвращения в Советский Союз... И чем больше я объясняю, тем несостоятельней мне кажутся мои объяснения. Какая-то забеременная девка, опоздание со сдачей минимума, вызов к следователю по какому-то мелкому делу... Несерьезно. Главную-то причину я ему не могу открыть — страх, этот невыносимый страх, который всегда со мной. О, этот разъедающий страх! Но именно о нем я сказать не могу.

— Послушайте, Борис, — брезгливо морщась, перебивает меня мистер Холмер, — все это меня не интересует, это ваши проблемы, и, если хотите мое мнение, ничтожные проблемы. Уж если вы с такими не можете справиться, то я начинаю задумываться, чем вообще вы для нас можете быть полезны? Вероятно, мы ошиблись.

— Нет! Нет! — кричу. — Я все сделаю, мистер Холмер, вы должны быть уверены. Все! Только скажите! Я готов выступить на пресс-конференции, по «Голосу Америки», я могу написать в газеты все, что скажете. Мистер Холмер, умоляю вас, дайте любое задание!

Он с сомнением качает головой, потом, словно беседуя с самим собой, говорит:

— Пресс-конференция? Радио? Не подойдет: мелковаты вы, Борис, такие у нас никого не интересуют. Были бы хоть завалившим тандором, поэтом, подвергались бы каким-нибудь преследованиям там у себя за подпольные стихи, например, — это бы куда ни шло. А так — студентка, бабник, мелкий спекулянт... Нет, не подойдете.

Он опять умолкает, а я чувствую, что у меня опять начинается плыть перед глазами. Вдруг ему в голову приходит какая-то мысль:

— Вот что, Борис, я вижу только один выход, вы должны рассчитаться с нами, верно? (Я энергично киваю.) Ладно уж, пойдем вам навстречу, забудем о вашей недобросовестности. Значит, так: вы выполняете еще одно наше задание в России, возвращаетесь сюда и получаете то место, которое мы вам обещали. Не беспокойтесь, место хорошее, останетесь довольны. И гражданство тут же получите. Это я беру на себя. Ну, довольны?

Из всего сказанного им я слышу лишь одно: «задание в России». В России? Может, я ослышался?

— В России? — спрашиваю.

— Да, а что? — Мистер Холмер с некоторым удивлением смотрит на меня. — Мы вас переправим туда. Пожалуйста, не беспокойтесь. Это не опасно, не в первый раз. Задание

не такое уж трудное, узнаете перед отправкой. И так же спокойно вернетесь обратно.

— Но граница...

— А что граница? Поверьте, все эти опасности сильно преувеличены. Наши агенты много раз ходили туда и обратно, и ничего с ними не случилось. У нас очень совершенные методы заброски. Увидите. Поймите, мы же сами заинтересованы, чтобы с вами ничего не случилось. Впрочем, — он делает паузу, — вам видней. Я не навязываюсь. Если не хотите, настаивать не буду, расстанемся друзьями.

— Нет! — тороплюсь. — Вы не так поняли. Я согласен! Спасибо, мистер Холмер, я всю жизнь буду вам благодарен! Можете на меня рассчитывать, готов выполнить любое задание. Любое, вы только скажите!

При одной мысли, что мы расстанемся и я вернусь к этой кошмарной жизни последних месяцев, я готов на все — взрывать, убивать, не знаю что! Так мне, во всяком случае, кажется в эту минуту. Только бы не потерять с ними связь, иметь их за своей спиной, получить у них хоть какое-нибудь, черт с ним, с хорошим, место. Вот сторожем в этом доме, садовником в этом парке, не знаю...

— Ну что ж, — говорит мистер Холмер со значительным видом, — я думаю, вы приняли правильное решение. (Я принял! Добровольно! Выбрав из многих предложенных мне вариантов! А?). Сейчас, Борис, вас приведут в нормальный вид, накормят, оденут, вы все-таки поизносились. Поедете в приличный отель, дам вам денег. Сходите в ресторан, только не папейтесь! Найдите подругу, на несколько дней, — он подмигивает, — это ведь ваша маленькая слабость. Дня через три-четыре мы за вами заедем, вам придется кое-чему поучиться, хоть и несложное дело границу перейти, но и оно требует подготовки. Верно?

Я продолжаю кивать. Продолжаю, потому что с первых его слов я только и делаю, что подобострастно киваю. Но все же решаюсь спросить:

— Мистер Холмер, извините, но не могли бы вы дать мне какой-нибудь адрес или номер телефона, по которому я бы связался с вами в случае чего. Мало ли... Вот служба иммиграции или...

— Не беспокойтесь, Борис, — он усмехается. — Никто вас трогать не будет. И я не исчезну. Мы же обо всем договорились. Так что теперь я вас не оставляю, — и уже сухо добавляет: — Все! До скорой встречи.

Я вскакиваю. Не оборачиваясь, он выходит.

Вместо него возникает тот парень с противной рожей, он мапнит меня пальцем. Иду за ним. Он приводит меня в ванную комнату и говорит:

— Одежда — здесь, — показывает на шкаф и исчезает.

Я моюсь бесконечно долго. Не только потому, что стараюсь отмыть накопившуюся грязь, и не только потому, что с грязной водой, чудится мне, утекает и грязь этих минувших месяцев моего червячьего существования, но и потому, что ужасно не хочется покидать этот дом.

Вдруг он меня обманул, мистер Холмер, и опять исчезнет? Может быть, он остался недоволен мной? Эх, надо было говорить поубедительней, чтоб знал — я на все готов! Но не может же быть, что вот оденут, умоют, дадут денег и бросят. И все-таки я еще долго плескаюсь под душем.

Белье, костюм, рубашка, даже ботинки оказываются как раз на меня, «У них что, картотека на всех своих агентов с точными размерами?» — спрашиваю себя.

И вдруг застываю — как я подумал? «Агентов»? Слово сказано впервые. Не ими, мной. Я — «агент». Правильно! А кто же я, почетный академик, член попечительского совета, добровольный активист этой «общественной гуманистической организации»? Да чего там! Все ведь ясно: и чей агент и какой... Так что не надо себя обманывать.

Выхожу из ванной чистый, выбритый, причесанный, благоухающий мылом, шампунем, одеколоном. Костюм не для вечерних приемов, но вполне приличный, не дешевка. Смотрюсь в зеркало. Конечно, синяки под глазами, щеки ввалились, бледный, но в общем вид сносный.

Парень все так же молча проводит меня на кухню, где старая повариха, тоже не раскрывающая рта, кормит меня пусть не изысканным, но обильным ужином. Я уже отвык от таких. Съедаю все, прошу еще, кое-что остается, съедаю остатки. Запиваю молоком. Пива не дали.

Парень сажает меня в свой спортивный «форд» и везет в город, в отель. Не тот фешенебельный, где мы жили с Известным режиссером за счет студии, но и не те клоповники, в которых я ютился. Вполне, вполне — три звездочки.

Он шепчется с портье, потом говорит мне:

— За номер и еду платим мы. Документов предъявлять не надо. Вот, распишитесь, — и протягивает мне конверт.

Я расписываюсь, заглядываю в конверт — там пятьсот долларов. Парень, не прощаясь, уходит, а я заваливаюсь спать. Забыл сказать, что уже три часа ночи, но в Голливуде ночь мало чем отличается от дня. Во всяком случае для отельных портье.

Проснувшись на следующий день едва ли не в полдень, ловлю себя на том, что не знаю, чем заняться.

Я страшно голоден. Спускаюсь в ресторан и съедаю такой завтрак, что даже у вышколенного метрдотеля глаза лезут на лоб.

Потом возвращаюсь в номер, читаю газеты, слушаю радио, смотрю телевизор, в промежутках дремлю.

Прихожу постепенно в себя, возвращаю себе человеческий облик. Американский гражданин!

Вечером выхожу на улицу, словно выздоровевший после долгой болезни человек.

Гуляю, осмелев, захожу в бар, хороший бар. Вызываю же глядя на бармена, заказываю дорогой коктейль, еще один. Но вовремя вспоминаю о предупреждении мистера Холмера и покидаю бар.

Потом забредаю в ресторан, тоже недешевый, в какой-то бурлеск...

Не думаю о переходе границы, мне страшно об этом думать.

Но одно могу сказать твердо — нет более четкой границы, чем та, что существует здесь между богатым и бедным. Вот уж граница так граница!

В барах замечаю женщин вполне определенной профессии. За это время я и думать о них забыл. Что ж, мистер Холмер посоветовал мне подобрать какую-нибудь, и деньги вроде есть. Но я тут же расстаюсь с этой мыслью. Деньги? Деньги надо беречь, и как я только мог их разбрасывать в этих барах, в этом ресторане — ведь в отеле за меня платят. Возвращаюсь в отель, иду в отдельный бар, пью, подписываю счет. В голове шумит. Ложусь спать.

Так проходит три дня.

На четвертый ни свет ни заря появляется мой опекун с отвратительной рожей. Все такой же «многословный», если б я не слышал его голоса, то решил, что он глухонемой или не знает английского. Он делает мне знак вставать. Осмелев, нарочно, чтобы досадить ему, долго моюсь, бреюсь, одеваюсь. И вдруг соображаю, что ссориться мне с ним не с руки. Вот надоест ему сейчас мое копанье, возьмет и уйдет. Заканчиваю свой туалет, как в ускоренной киносъемке, скатываюсь по лестнице. Уф, слава богу, ждет в холле. На его спортивном «форде» едем неизвестно куда. Долго. Наконец приезжаем на какой-то маленький частный аэродром. Таких полно в Америке. Стоят пять-шесть чьих-то личных самолетов, два-три спортивных.

Прямо на машине подъезжаем к белой «сесне», залезаем в кабину. Думаю, сейчас придет летчик. Черта с два! Этот удивительный парень сам садится за управление, прямо какой-то универсал. Взлетаем. Летим. Все время молчим. Постепенно начинаю дремать. Просыпаюсь от толчка. Оказывается, приземлились. На такой же маленький, затерянный в лесу аэродром. Смотрю на часы (я забыл сказать, что их мне дали вместе с костюмом, свои я давно заложил) — телефи без малого два часа.

Выходим. Возле небольшого деревянного барака дремлет

старик — сторож, паверное, и стоит спортивный «форд» — близнец оставленного в Голливуде. Садимся и едем. Куда?

Через час болтания и прыгания по лесной дороге оставаемся перед глухими воротами в глухой стене, въезжаем и подъезжаем к одноэтажному дому. (Может, я того, но у меня впечатление, что мы приехали в ту же резиденцию, в какой принимал меня четыре дня назад мистер Холмер.)

Тот же длиннющий коридор, та же комната. Что за наваждение!

Опять сижу и жду, на этот раз недолго. Открывается дверь, и входит... нет, на этот раз не мистер Холмер, а высокий крепкий мужчина не первой молодости, усатый, в полувоенном костюме. Я встаю. Он машет рукой.

— Садитесь. Меня зовут Смит, вас — Боб. Здесь тренировочный лагерь. Принадлежит нашей организации. Готовим патриотов для выполнения благородных трудных заданий. О вашем — знаю. Соответственно и будете тренироваться. Инструктора у нас опытные. Подготовим хорошо. Обо всем, что здесь услышите и увидите, — никому. Подпишите обязательство о сохранении тайны (сует мне бумагу, я, не читая, подписываю).

Он жмет мне руку и уходит.

Какой-то широкоплечий малый в такой же полувоенной форме отводит меня в комнату, в которой мне суждено теперь жить. Нормальная комната, с туалетом и душем. Телевизора, радио, телефона нет. И еще — на окнах ажурные красивые решетки. Но решетки.

Сколько я прожил в той комнате, чем занимался, чему меня учили и кто — зачем сейчас вспоминать? Завтра, послезавтра я все это расскажу следователю. Все, что знаю. Немного, увь. Буду вспоминать все, что смогу, лишь бы поверили, лишь бы учили.

Хотя какое это имеет значение по сравнению с тем, что я совершил?

Какой суд оправдает за это? Никакой, ни людской, ни суд моей совести. Если была она у меня...

Я снова открываю глаза, выползаю из своего забытья. Я снова в сегодняшнем дне.

Обступившие меня кошмары прошлого расступаются, но им на смену приходят новые — усатые людские морды, оскаленные собачьи пасти, бесконечный лес, грязные почлежки, кривые темные улицы чужих враждебных городов, презрительные взгляды, жалкая похлебка в общественных приютах... И страх, неотступный страх — уродливый призрак, танцующий возле меня. Гнилые разбитые черепки на полу — все, что осталось от былых желаний, от мечты, от надежд...

За железной дверью раздается скрип засова.

Это за мной.

Это наступил мой час. Последний?..

В эту минуту, нет, секунду, передо мной проносятся все, что было в эти последние месяцы.

Школы... школы... Краткий отдых, какие-то пьяные оргии, вереницы женщин, редкие часы просветления, тоска и вечный теперь мой спутник — страх. Переезды, инструктажи, редкие встречи с мистером Холмером.

— Хочу вас поздравить, — говорит он на встрече, которая оказалась последней. — Ваша мучительная для вас бездеятельность (он насмешливо, да и презрительно, чего уж, смотрит на меня) кончилась. Через неделю вы приступите к выполнению задания, а через месяц вернетесь и начнете новую спокойную жизнь. Вам повезло, задание легкое, а способ перехода границы стопроцентно безопасен. Так что поздравляю.

И он начинает излагать мне задание. Оно действительно несложное: позволить в двух-трех городах по двум-трем номерам, сказать несколько условных фраз, выслушать соответствующий ответ. И все. У меня теперь достаточно опыта, чтобы понять — таким образом будут проверены агенты, все ли у них в порядке, мои фразы — указание сделать то-то и то-то, а их ответы — сообщения, что то-то и то-то сделано. Действительно задание легкое. Но я полон недоверия. А вдруг уже там мне подкинут новое, отнюдь не столь легкое? А вдруг какой-нибудь звонок окажется роковым? А вдруг?.. И страх не покидает меня. Утешает способ перехода границы. Оказывается, мне не надо переползать ее грозовой почью с пожаром в зубах, высаживаться из подводной лодки в советских территориальных водах или перелетать границу на дельтаплане. И на том спасибо. Все гораздо проще. С подлинным американским паспортом в составе группы ничего не ведающих обо мне туристов, совершающих круиз по многим странам, в том числе и по Советскому Союзу, я приеду на свою бывшую Родину через ее восточные границы и так же туристом покину ее.

На всякий случай отпущу усы, падену темные очки, хотя с трудом представляю себе, кто бы мог меня узнать. Я во всяком случае ни с кем из бывших знакомых встречаться не собираюсь. И уж конечно, с Андреем Жуковым, часовым границы, моим другом детства. Слава богу, он, по-моему, служит где-то на западе или в Шереметьеве. А мы приедем поездом и улетаем из Ленинграда.

И вот безвкусно и ярко одетый с толстым чемоданом в руках, в темных очках, скрывающих мои красивые очи, я сажусь в Нью-Йоркском порту на туристический лайнер «Майфлауэр» и отбываю в путь.

Быстро промелькнули экзотические страны и острова, вот

и советская граница. Когда проходил паспортный контроль, мне чуть не сделалось плохо, таможенный инспектор, молодая красивая женщина, даже предложила мне валидол (когда-то от таких женщин я получал иные предложения).

Потом сели в поезд. Побывали в Баку, направились в Ереван.

В одном месте железная дорога проходит совсем близко от границы и по вагонам ходят патрули. Как только я увидел вдали, в голове поезда, сидящих в вагон здоровенных ребят в зеленых фуражках, я засел в купе и затаился. Мой сосед бодрый турист, лет под сто (американцы начинают замечаться туризмом, как я заметил, после восьмидесяти лет), все пытался вытащить меня в коридор, но безуспешно. Выглянул как-то — пограничники все ходят. Наконец мне показалось, что они закончили свое хождение. Поздно, почти все наши туристы залегли спать, и тогда я наконец вышел в туалет.

Вот тут-то я его и встретил.

Он шел впереди, за ним еще один, было темновато, и я не сразу понял, что это Жуков! Ну как такое могло случиться? Неужели нет бога на небесах, удачи на земле? Неужели я заслужил такой удар? Сначала я не поверил. Просто не поверил! Не могло быть такого, не могло. На какое-то мгновение я застыл, ну столбняк на меня напал. Я смотрю на него, он смотрит на меня, и я понял, что он понял. Что узнал меня.

...Мы смотрим друг другу в глаза.

Глава XI

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Они смотрели друг другу в глаза.

Поразительны, непредсказуемы, неисповедимы дороги судьбы. В этом огромном мире, населенном миллиардами людей, идущих в жизни миллиардами дорог, именно Жуков встал на пути Рогачева. Единственный из людей, кто сулил ему гибель.

Выйди Рогачев в коридор десятью секундами позже или раньше, вздумай Жуков сопроводить свой наряд накануне или завтра, и встреча не состоялась бы. И спокойно доехал бы Рогачев до Москвы, Ленинграда, Риги, выполнил свое ерундовое задание — подумаешь, два-три телефонных звонка — и вернулся туда, откуда прибыл. А быть может, и попался на одном из своих ерундовых звонков. Отсидел бы срок, вышел и прозябал дальше, а кто знает, вдруг взял бы за ум. Все бывает. И Жуков ни о чем так и не узнал

бы и продолжал службу, и шел бы своим путем, честным, славным путем.

Да вот поди ж ты, встретились...

Ни усы, ни темные очки не обманули Жукова. Несмотря на полутьму отошедшего ко сну вагона, он мгновенно узнал Рогачева, мгновенно все сопоставил и понял.

Их разделяло лишь несколько метров, но этого оказалось недостаточным, чтобы Рогачев с невероятной, какой-то фантастической быстротой повернулся и бросился бежать. Он мчался в смертельном отчаянии, он не в состоянии был думать, он жил в те секунды пещерным инстинктом зверя, спасавшегося от гибели. Он мчался, открывая и с силой захлопывая за собой двери. А Жуков неотступно следовал за ним. И догнал, если б не еще одна из миллиардов случайностей — внезапно вышедшая из купе женщина. Она открыла дверь и сонная, медлительная выползла в коридор, как раз тогда, когда Рогачев промчался, а Жуков только приближался. Он налетел на женщину, та с криком заметалась по коридору, наконец отшатнулась обратно в купе, но время было упущено. Теперь Рогачев опережал Жукова едва ли не на всю длину вагона. А их всего-то и оставалось два до конца поезда.

...Рядовой Шестаков стоит в проеме открытой двери последнего вагона. Одной рукой сжимает поручни, другой автомат. Его взгляд неотступно следит за полотном дороги. В бешеном калейдоскопе несутся за поездом, то сокращаясь, то удлиняясь, световые квадраты окон. В желтом их свете мелькают кусты, километровые столбы, песочные насыпи... Шестаков весь сосредоточен на задании. От ветра слезятся глаза, ветер свистит в ушах, заглушая другие звуки, леденит лоб, щеки.

Рогачев с силой толкает пограничника в спину и, на секунду задержавшись, прыгает в ночную пустоту. Шестаков реагирует молниеносно, он успевает ухватиться второй рукой за поручень и повиснуть в воздухе, но не упасть. А вот автомат летит на рельсы. Шестакову невероятным усилием удается подтянуться, зацепиться за подножку и влезть в вагон. Он бросается к стоп-крану. Тем временем Рогачев, свернувшись в воздухе, сгруппировавшись, по выражению спортсменов, как учили (его многому учили в той школе), на редкость удачно приземляется в рыхлый песок. Несколько секунд оглушенный лежит неподвижно, потом приходит в себя, поднимается, замечает на рельсах автомат и, подбрав его, ковыляет к кустам. Обернувшись вслед поезду, он видит в неясном желтом свете, как кто-то прыгает на полотно... Он не ждет, что будет дальше, и ныряет в кусты.

А прыгал Жуков. С опозданием добравшись до открытой двери, не ожидая остановки поезда, он прыгает в свистящую

ревущую ночь, как это только что сделал Рогачев. Его тоже многому учили, он тоже великолепно тренирован, и он тоже умудряется остаться целым. И вот теперь, придя в себя, он быстро, как может, возвращается назад. Он знает здесь каждую тропку, каждый овражек, каждый кустик.

Он только не знает, что у Рогачева в руках автомат.

Боровшийся за свою жизнь Шестаков не успел ему ничего сказать. Жуков, не задерживаясь, промчался мимо.

Рогачев, тяжело дыша, не чувствуя боли от полученных при падении ушибов, продирается сквозь кусты. В них шелестит порывистый ветер, почные птицы кричат вокруг, могучий аромат лугов, леса, дальних горных снегов заполняет легкие в огне.

Он старается собраться с мыслями. Он знает, что граница рядом, он знает, что придется преодолеть препятствие, что его преследуют, что на пути может быть «секрет». Что, наверное, уже поднята тревожная группа. Но у него нет выбора. Зато есть автомат. Он должен прорваться! Во что бы то ни стало! Любой ценой! Ценой любой жизни, только не своей.

И он продолжает тяжело, упрямо бежать, прорываясь сквозь кусты, спотыкаясь о камни, оставляя на ветках клочки одежды...

А Жуков все ближе. Застыв на мгновенье, он хорошо слышал в ночной тишине треск кустов, тяжелые шаги, точно определил путь бегущего, вышел наперерез и оказался в трех шагах от Рогачева на узкой тропинке, на которую тот выскочил.

— Стой, — хрипло прошептал Жуков, — стой, Борис. Хватит...

— Уйди с дороги, — Рогачев еле произносил слова... — Уйди, Жуков, я за себя не отвечаю... Уйди...

— Не валяй дурака, — теперь Жуков говорил спокойно и твердо, — поворачивайся и иди, у меня пистолет в руке.

— Пистолет... — Рогачев как-то странно рассмеялся, его смех был похож на рыдания, — поможет тебе твой пистолет...

И выстрелил. Пуля попала Жукову в живот, выронив пистолет, он бросился на Рогачева. А Рогачев застыл в недоумении, он не снял пальца со спуска, но очереди не последовало. Он не сразу понял, что переводчик автомата поставлен на одиночный огонь. Когда же сообразил и снова нажал спуск, Жуков уже сбил его с ног и навалился на него. И все же вторая пуля попала Жукову в грудь. Они боролись яростно, отчаянно.

Рогачев должен был вырваться, бежать, бежать быстрее, каждая секунда приближала гибель. От поезда уже бежали

пограничники, от заставы — тревожная группа, он слышал лай собак. В небе гасли зеленые отсветы ракет.

Но Жуков в полузабытии, истекающий кровью, не отпускал его. Рогачев что-то хрипел, завывал, бормотал, его рука тянулась к отлетевшему автомату. И когда он почти нащупал его, словно железный капкан захлопнулся у него на руке, перед глазами близко-близко возникли яростно горевшие зеленые собачьи глаза. Все заглушило близкое рычанье. И тогда Рогачев всхлипнул, откинулся на траву и перестал сопротивляться.

Подбежали пограничники. Борец отпустил Рогачева и припал к груди Жукова. Он тоскливо скулил, поднимая к людям потерянный взгляд, тыкался мордой в окровавленную гимнастерку, приседая на задних лапах.

Рогачева связали и повели на заставу. Жукова бегом понесли в санчасть.

...Так пересеклись в последний раз и разошлись их пути, двух московских ребят, живших в одном арбатском дворе, учившихся в одной школе и выбравших каждый свою судьбу.

Рогачева отвезли в отряд и заперли в изолятор. Жукова вертолет доставил в областную больницу. Поезд пошел по своему маршруту, унося к московским и ленинградским достопримечательностям пожилых американских туристов, так и не понявших, что же произошло. На заставе воцарилась тишина, и только Борец тихонько выл на луну в своем вольере...

По приговору военного трибунала Рогачев Б. Н., 1961 года рождения, был осужден на пятнадцать лет лишения свободы с отбыванием меры наказания в исправительно-трудовой колонии усиленного режима.

Старший лейтенант пограничных войск Андрей Андреевич Жуков был награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Его именем названа школа в небольшом пограничном городке. Он зачислен навечно в списки заставы.

Так скажите, кто ж из них остался жить на земле?..

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I. Силуэты детства	5
Глава II. Золотая пора	22
Глава III. Шереметьево-2	40
Глава IV. Метростроевская, 38	67
Глава V. Училище	85
Глава VI. «Ценности жизни»	105
Глава VII. Там, где пролегла граница	123
Глава VIII. Рубикон	149
Глава IX. Край озер и тревог	171
Глава X. Утраченные иллюзии	190
Глава XI. Последняя встреча	214

Кулешов А. П.

К 90 Пересечение: Роман. — М. Мол. гвардия, 1989. — 217[7] с., — (Стрела).

ISBN 5-235-00393-4

В романе прослеживаются судьбы двух москвичей, друзей детства, чьи пути после окончания школы разошлись в противоположных направлениях: один стал офицером-пограничником, другой был завербован одной из иностранных агентур. В романе поднимаются вопросы об ответственности при выборе жизненного пути, о целях в жизни, о нравственной чистоте.

4702010201—162

К 078(02)—89 175—89

ББК 84Р7

**В СЕРИИ «СТРЕЛА» В 1989—1990
ГОДАХ ВЫЙДУТ КНИГИ:**

**Николай Александров.
МЫ ИЗ РОЗЫСКА...**

Автор книги — криминалист. В своей книге он рассказывает о той сфере деятельности, которую хорошо знает. Главные герои повестей и рассказов — сотрудники угрозыска. Автор не только разворачивает перед читателем череду внешне занимательных сюжетов, но разрабатывает и тему профессиональной психологии работников правоохранительных органов.

**Владимир Гусев.
НЕ ПРОСТО ВЫЖИТЬ.**

В книгу войдут повести о сельском участковом инспекторе, его повседневных заботах. Герои одной из повестей — дети, которые помогли милиции разоблачить шайку преступников.

ИБ № 6684

Кулешов Александр Петрович

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ

Редактор Е. Калмыкова
Художник В. Васильев
Художественный редактор К. Фадин
Технический редактор Г. Варыханова
Корректор Т. Контиевская

Сдано в набор 23.11.88. Подписано в печать 14.03.89. А04720.
Формат 84×108^{1/32}. Бумага типографская № 2. Гарнитура
«Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 11,76.
Усл. кр.-отг. 12,4. Учетно-изд. л. 14,4. Тираж 100 000 экз. Цена
1 р. 20 к. Заказ 2676.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Суцеская, 21.

ISBN 5-235-00393-4

Борис Медовой.

ТАЙНА.

В книгу входят повести «Тайна» и «Путешествие будет опасным». Действие повести «Тайна» происходит на Камчатке, Курильских островах, в сибирской тайге. Благодаря человеческому участию, братской взаимовыручке главному герою Юрию Каштану удастся выйти из жестоких испытаний духовно и физически обновленным. «Путешествие будет опасным» основано на известной легенде 30-х годов. Повести пронизаны добротой и мягким юмором.

Николай Псурцев.

ПЕРЕГОН.

Герой повести, молодой сотрудник одного из НИИ, становится свидетелем преступления. Скрыв на следствии многое из того, что он видел, герой оказывается в положении косвенного соучастника. Повесть написана в остросюжетной форме.

Виктор Пронин.

КРУГИ НА ВОДЕ.

Три приключенческие повести о работе милиции: «С утра до вечера вопросы», «Ночь без вранья», «Иронический детектив»

Леонид Словин.

ЦАПЛЯ ЛОВИТ РЫБУ.

В книге две повести. В основу первой — «Цапля ловит рыбу» — положены обстоятельства одного уголовного дела, освещавшегося на страницах центральной печати несколько лет назад и вызвавшего широкий общественный резонанс. Вторая повесть — «Теннисные мячи для профессионалов» — также о раскрытии преступления. В обоих произведениях автора интересует не только умелое построение версий работниками следственных органов, достижения современной криминалистики, но, главным образом, причины антиобщественных явлений.

Анатолий Степанов.
В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ.

Главный герой повестей «В последнюю очередь» и «Весенние заботы пятьдесят третьего года» Александр Смирнов — бывший фронтовой офицер, сотрудник Московской милиции.

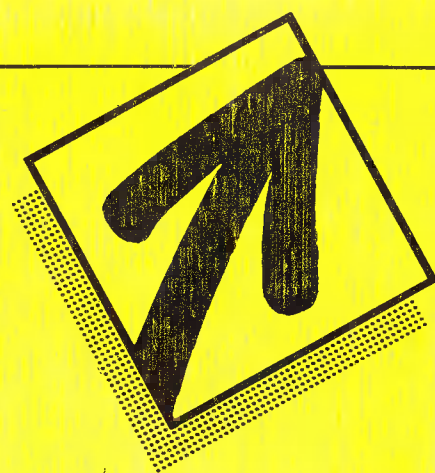
Сергей Устинов.
НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО.

Остросюжетная повесть, в основе которой — расследование убийства молодой женщины. Используя возможности детективного жанра, автор ведет разговор о таком больном вопросе современности, как наркомания.

СЕРИЯ „СТРЕЛА”

В 1989 году в серии «Стрела»
вышли следующие книги:

Н. Александров. Мы из розыска...
Н. Псурцев. Перегон.
Л. Словин. Теннисные мячи для профессионалов.
Сборник «Приключения-89».





Александр Петрович Кулешов родился в Москве в 1921 году. Окончил Военный институт иностранных языков. Был переводчиком, редактором, спортивным обозревателем, журналистом. А. Кулешов побывал в 60 странах, и многие его романы и повести посвящены жизни зарубежной молодежи. Широко известны его военные романы «Голубые молнии», «Белый ветер», «Ночное солнце». Его произведения неоднократно издавались у нас и за рубежом.

А. Кулешов лауреат премии Министерства обороны СССР, премий имени Фадеева и имени Довженко. Он председатель совета по приключенческой и научно-фантастической литературе СП СССР, секретарь правления Московской писательской организации.